

90 3 95 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАНТАСТИКА





!ВНИМАНИЕ—ФЭН—ВНИМАНИЕ!

А Ты подписался
на лучший в России толстый журнал
"ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА"?
Индекс 70956

Подписка на 1995 г.
в любом отделении связи России!

Наш супержурнал, не имеющий аналогов
в России, с каждым полугодием становится
толще, лучше, интереснее.

Конкуренции с Нами не выдерживает
ни одно из фэн-изданий!

ПФ — уверенно лидирует, не имея себе
равных. Им зачитываются люди от 12 до
80 лет. Почему? Потому что **ПФ** — это
до безумия интересно и увлекательно!

**СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ
И ВЫПИСЫВАЙТЕ**
толстый журнал книжного формата

"ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА"

ISSN 0869-2726

Индекс 70956



ад ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФАНТАСТИКА

Литературно-
художественный
журнал

3 95

rutracker.org
новое имя для torrent.ru

Сканирование и распознавание ЗаНЗибар
24 May 11

СОДЕРЖАНИЕ

В. Бахревский "Борис Годунов"	4
"Самозванец".....	45
"Похороненный среди царей".....	106
А. Чернобровкин	
"Были Древних Русичей"	124
С.Стрельченко "Улей"	149
Ю.Петухов "Вторжение из Ада.	
Свержение извергов"	157
В.Потапов "Сны человеческие".....	227
В.Волконский. Рассказы	255
Интервью со зверочеловеком	274

Художник Алексей Филиппов

© Журнал "Приключения, фантастика"

Перепечатка материалов только с разрешения редакции.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Розничная цена свободная.

Рег.номер - 319 от 1.10.90 Госкомпечати

Адрес редакции: 111123, Москва, а/я 40.

**Учредитель, издатель, главный редактор -
Петухов Юрий Дмитриевич**

Подписано в печать 1.01.1995 г.

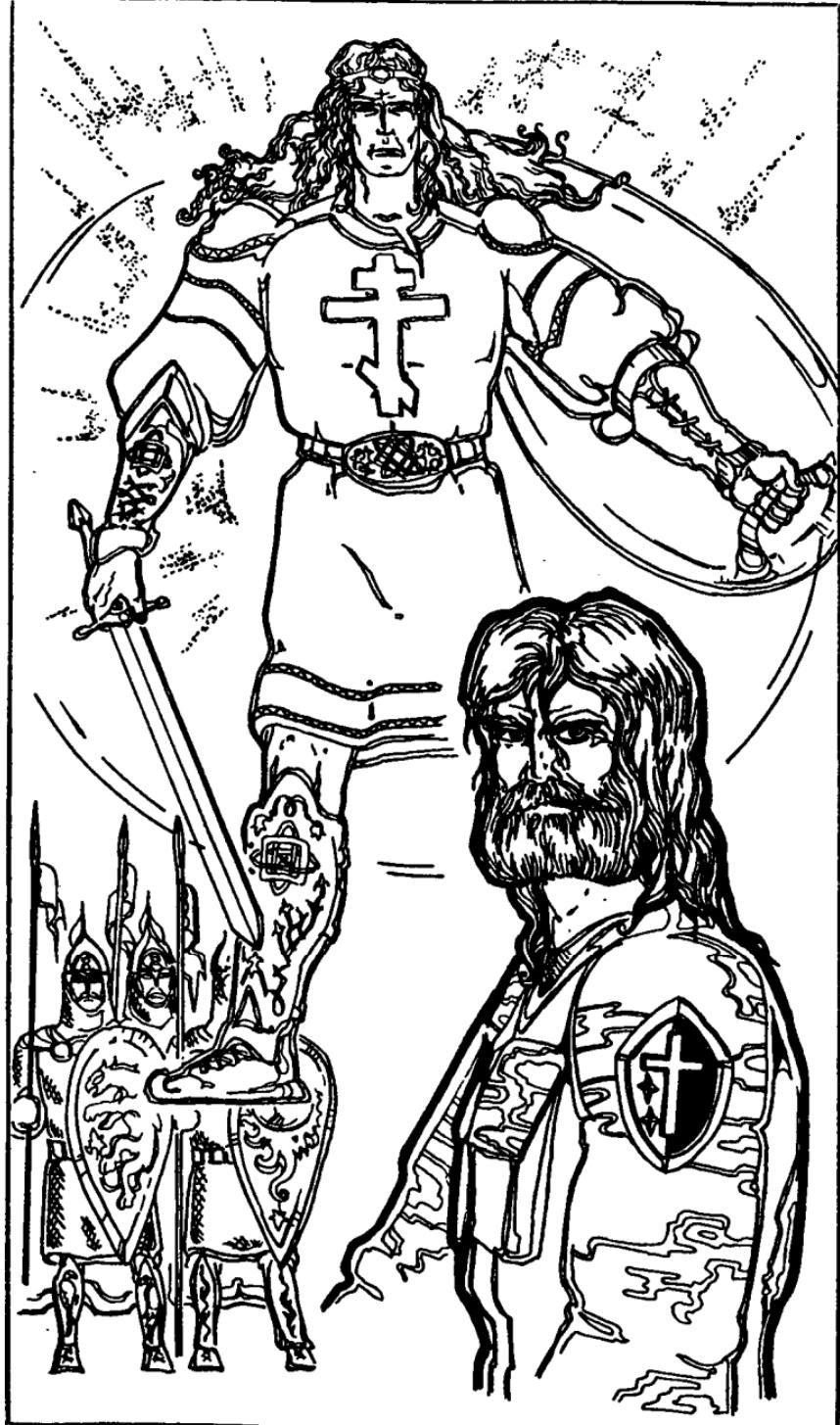
Формат 84x108/32. Тираж 37 тыс.экз.

Заказ № 605

Московская типографии № 13

Комитета РФ по печати. 107005, Москва, Денисовский пер., 30.

Индекс 70956



Владислав Бахревский

БОРИС ГОДУНОВ

1

Свеча пылала, но свет не мог поглотить теней, черных, шевелящихся. Даже от пламени была тень. Чудилось: то горит двойник белой – черная свеча.

Скрючившись, бочком сидел за печкой в простенке на березовых рубленых полешках правитель Борис Федорович.

Печь скрывала от нескромных взоров куцеватую лежанку. Монастырь потому и Новодевичий, что для дев. Все тут складно, махонько... На лежанке было бы удобнее, но печь днем протопили, и кирпичи, отдавая тепло, жгли нестерпимо. Борис Федорович о жаре и тесноте забывал, слушая речи. Ему бы еще щелочку!..

– Вот тебе денюшки! И тебе столько же! – дружески шептала инокиня Александра. – Всего вашего дела – привести людей. Послужите Борису Федоровичу, и он вам послужит.

– Царица, ты всем нам мать! Ради Бориса Федоровича вот так постараемся! – сказал один, и другой поддержал товарища.

– Когда в прошлый четверг Печатник Васька Щелканов выходил на площадь, мы кричали "Да здравствует Борис Федорович!"

– Верно, царица-матушка! Щелкан глазами зыркает, как волк: «Присягайте, так вашу, Думе, боярам великодранным!» А я ему в ответ: «Не знаем твоих бояр! Знаем одну царицу!» Это же я кричал!

— Он, царица! Он! — подтвердил товарищ. — А я тут и возопил:
«Да здравствует Борис Федорович!»

— За такую службу нас имениями наградить не грех. Братик мой добро помнит. Такой уж уродился: зла не держит, за доброе — последнее с себя скинет и отдаст.

— Послужим Борису Федоровичу! Царь Федор Иоаннович был чистый Ангел. Мы разве враги себе, чтоб благодетеля-правителя на плута Шуйского сменять?! Будь, царица, спокойна!

— Не царица я! Нет уж больше Ирины Федоровны, есть инокиня Александра. Не ради брата хлопочу, ради доброго мудрого царя для государыни Москвы! С Богом!

Тени на стене сломались пополам, сапоги затопали и — стали в дверях.

— Мы по сто человек пригоним завтра к твоим окошкам! И по двести! А ты, царица, Борису Федоровичу напомни про именьица, когда в царях будет.

— Постараешься вы для Русской земли, постараюсь и я для вас, — обещала мать Александра.

Борис выбрался из-за печи, спеша распрямиться, размять затекшие руки и ноги.

— Разговорились!

— Ласковый разговор дороже денег. На слова ли жадничать?

— Спасибо, Иринушка! Устала хлопотать, а я ждать устал, но поспешить никак нельзя! Потрафишь нетерпению — угодишь в такие сети, что и за сто лет не выпутаешься. Боярам нужен не царь, а дудка в шапке Мономаховой. Чего они дунут, то царь и гуднет. Не бывать по-ихнему. Не бояре меня на престол посадят, вся земля Русская.

— Шел бы ты спать, Борис. Сбудутся завтра твои сны, утолишь свою жажду. Был первым слугою, будешь первым господином.

Испуг вскинул Борису брови. Кончики пальцев задрожали.

— В чем? В чем попрекаешь меня?

Мать Александра устало потянула ворот черной рясы.

— Боже упаси! Час поздний, вот и сказалось что-то не так. Что сказала-то, не помню?

Борис перелетел келию, растворил дверь, закрыл тихо, плотно.

— По ногам дует... — Пал на колени. — Клянусь! Кладу жизнь мою на Господнюю Судную книгу. Да судимо будет потомство мое Страшным Судом!

— Не надо, Борис! — побледнела мать Александра.

— Нет, я клянусь! Клянусь! Не травил царя Федора Иоанновича. Как можно придумать такое? Я за царем был, как за стеной, от всех

ветров и дуновений защищен и сокрыт! Всем пылом моего благородного сердца любил я мужа твоего, Иринушка. За кротость! За мудрость, недоступную нам грешным! Уж кто-кто, а я знал: простота царя – от великодушия, убогость – от смирения. Он был врач. Душу царства врачевал тишиною.

Мать Александра махнула рукавом по столу, и серебряный колокольчик для вызова слуг упал, покатился по полу, рассыпая звон.

Борис вскочил с колен. Поднял звонок, а в келию уже входили две сестры. Мать Александра сказала им:

– Принесите квасу вишневого да черемухова. А правителю в его келию воды горячей поставьте ноги перед сном попарить.

– Там еще двое пришло! – сказала монахиня.

– Попотчуйте вином и приводите.

Борис сел на лавку, плечи у него опустились, правый глаз ушел в угол глазницы, кося по-татарски.

– А вот не пойду в цари и – живите, как знаете! Дурака сыскали – за все человеческие мерзости быть Богу ответчиком. Клянусь! Трижды клянусь! Царевича Дмитрия не резал! Дочери твоей младенцу Феодосии яду с молоке не подносил. То Шуйские, то Романовы наплодили лжи. Господи, пошли им – утонуть в их же злоречье...

– Борис, не хочу я этого слушать. Чего томишь себя?

– Да потому что никакой правдой, никаким добрым – не отмыться от черных шепотов. Нет! Я завтра же всенародно отрекусь. Царством Годунова взялись искушать!.. Я, Ирина, и впрямь умен: отрину от себя сто забот ради одного покоя.

Сестра молчала, смолк и брат.

– Я уже семь мешков денег раздала, – сказала наконец мать Александра. – Ты бы раньше в цари расхотел.

– Прости, милая! – вытер выступившие на глазах слезы. – У меня дух захватывает, будто хреня хватил крепчайшего.

Взял сестру за руку, прижал к своей груди.

– Слышишь, как стучит? Признаться тебе хочу. Мечтал, мечтал я, Иринушка, о царстве. Но сесть на стол с бухты-балахты или злонамерием – нет! Желал я видеть себя в царях, но не нынче, не завтра. Мне люб был по европейскому счету 1600 год. Новое столетие – новая династия. Новая Русь. Русь, открестившаяся, отмолившаяся от Грозного Ивана. Ах, как много доброго хочу я сделать для русских людей, для всего царства православного!

Мать Александра потянулась к Борису, поцеловала в лоб.

– Ступай спать! Тебе завтра нужно быть румяным и здоровым. Русь соскучилась по здоровому государю.

— Этих послушаю и пойду. Сама знаешь, никакой малости нельзя упустить.

Снял с лавки сукно, бросил на лежанку. Жарко, но терпимо. Лег, поджал ноги, чтоб не торчали. И будто его и не было.

Проснулся, почуя меж лопатками оторопь беды. Ноги вытянуты, и на ноги-то ему и глядели враз смолкшие ночные гости.

— То братец мой почивает, — услышал Борис ровный голос царицы. — Монастырь женский, в другой келии поместиться — сестрам неудобство...

Борис встал, круганул глазами, чтоб проснулись, вышел к сотникам. Те попадали с лавки на пол, на колени.

— Встаньте! — сказал он, трогая их за плечи. — Не слышал, про что вы тут говорили, ночь, спать надо...

Зевнул так сладко, что и сотники зевнули. Выпил квасу из ковша.

— Черемуховый! Пейте! — пустил ковш по кругу. — Одно вам скажу. Буду в царях — будет всем благо. Крестьяне в моем царстве заживут, как дворяне, дворяне, как бояре, бояре, как цари. Утро вечера мудренее, милые люди. Спать я пошел. Скоро уж, чай, заутреня.

Забрался на лежанку, повернулся на бок, задышал ровно, как крепко заснувший человек.

2

Петух пропел зарю, и заря послушно заливала небо и землю ма-линовым золотом.

— Вот мы и встали, — сказал Борис Федорович, дождавшись у окна солнца. — Нынче у нас 20-е февраля.

Морозы, как по заказу, сникли, и окно наполовину очистилось от узоров.

Сел в кресло, положил перед собою руки. Из пяти перстней три снял. Потом снял все. Один, с изумрудом, вернул на средний палец, на безымянный, к обручальному кольцу, присовокупил перстень с рубинами. Богатством не оскорби не оскорби и скромностью.

— Не мало ли дала Ирина сотникам? Не обидела ли пятидесятников? Все ли придут, кому заплачено?

— Господи! Не оставь!

Екало сердце: играй, Борис, да не заигрывайся! Земский собор позавчера на коленях Бога просил в Успенском главном храме царства, чтоб он, Борис Федорович, смягчясь сердцем, принял венец. С восторгом имя кричали. И Шуйские, и Сицкие, Телятевские с Ростовскими да Воротынскими! Перед ними, Рюриковичами, род Годуновых — холопский. Деваться некуда! За него Бога просили, за невавистного им. Говорят, Федор Никитич Романов помалкивал да еще

Васька Голицын. Голицын – Гедиминович, царских кровей. Федор Никитич – племянник Ивану Грозному, двоюродный брат царю Федору... Правду ли сказали о Романове?

В ночь перед собором Борис Федорович тайно был в доме Федора Никитича. Чуть не до зари просидели, отворив друг другу сердца уж так настежь – дальше некуда.

Лобызая Федора Никитича, Борис, озаренный братской любовью, плакал, клялся головой и головами детей своих:

– Будешь ты мне первым советником, Федоша! Наигайнейшим! Без твоего слова не приму, не отрину. А коли память моя будет коротка, да заплатит род Годуновых кровью. Я твоему батюшке. Никите Романовичу, в последний час его обещал быть для тебя и для братьев твоих за отца. Коли изберут меня в цари, в тот же день тебе и Александру скажу боярство, Михайле – окольничего, Иван и Василий войдут в возраст – тоже получат окольничих. Ваньке Годунову – Ирину, сестру твою, высыплю.

Федор Никитич только помаргивал: не привык к бессонным ночам, смаривало.

Вздремывать, когда решается судьба мономаховой шапки?!

– Идут! – всполошенно вбежала в келию мать Александра.

Обида сжимала сердце Годунову. Обида и презрение. – Господи! Да ведь один я во сей Руси только и знаю, что есть такое быть на царстве. Пропасть не мерянная под ногами и такая же над головою и каждое слово – или змей или голубь.

Привскочил со стула, прильнул к окошку. Рыжая от шуб и шапок толпа простолюдья заполняла площадь.

– Пошли, Борис, к моему окну! Народ должен видеть нас вместе.

– Сначала покажись ты!

Он смотрел, как воду хлебал, нажаждавшись... Переодетые в простое платье приставы и сотники толкали людышек, и те, огрызаясь, посмеиваясь друг перед другом, опускались на колени. Зазевавшихся приставы лупили палками...

«Однако ж пришли и на колени встали», – сказал себе Борис, хотя тайно указал взыскать по два рубля с каждого, кто осмелится увильнуть от похода под царицыны окна. Два рубля деньги большие, стрельцам за год службы по пяти платят.

И вдруг похолодел. Где теперь Симеон Бекбулатович? Совсем из головы вышел. Посаженный в цари Иваном Грозным, Симеон Бекбулатович к несчастью своему носил титул тверского царя, и был в родстве с могущественными Мстиславскими, тоже Гедиминовичами. Борис Федорович о Симеоне заранее позаботился – ослепил. И все же где он теперь? Так же тих? Нет ли к нему гонцов, странников?

С мыслью о Симеоне, Борис тер бодяго щеки и, горя румянцем, подошел к царицыному окну.

— Масленица! Гулять бы да гулять, а они к тебе пришли, великая государыня!

— К тебе, Борис, они пришли! Я вместе с ними готова встать перед тобою на колени: прими венец.

— Я клятву дал — не быть на царстве! — он придумал это только что, изумив сестру.

Пришли выборные.

— Я клятву дал — не быть мне на царстве! — повторил им свое слово Годунов и прибавил: — Не смею! Не смею и помыслить на превысочайшую царскую степень такого великого и праведного царя. Простите меня грешного!

— Да как же? Да гоже ли? Что людям-то сказать?! — растерялись, испугались народные посланники.

Кто-то из священства принял выставлять Борису его права на престол, которые были исчислены патриархом Иовом на соборе и которые составил для святейшего сам Борис:

«При светлых очах царя Ивана Васильевича был безотступно с несовершеннолетнего возраста, от премудрого царского разума царственным чинам и достоянию навык»... Государское здоровье царя Федора Ивановича хранил, как зеницу ока. Победил прегордого царя крымского! Города, которые были за Шведским королевством, взял, все Российское царство в тишине устроил. Святая вера сияет во вселенной выше всех!

— Простите меня, грешного! Простите! — твердил Борис, низко кланяясь звавшим его в цари, заплакал, наконец, и удалился.

3

Ночью он был у немцев-астрологов. Троє старцев и юноша вышли к нему и поклонились. На лицах старцев он увидел смятение, на лице юноши страх.

— Звезды не жалуют меня? — спросил он весело и слегка задохнулся.

Старейший из астрологов протянул ему серебряную пластину с гороскопом.

— Мы исследовали все двенадцать домов твоей жизни, великий государь.

— Почему ты называешь меня государем? — спросил Борис и опять задохнулся.

— Мой — язык, воля же — звезд, стоящих над тобою, государь.

— Звезды пообещали мне царство?

— Они не обещают, они утверждают. Ты и сегодня для них царь царей.

Борис отер тыльной стороной ладони выступивший на лбу пот.

— Мне отрадно слышать это, но отчего на ваших лицах неуверенность?

Тroe старцев упали на колени.

Борис взял за руки юношу.

— Что говорят звезды? Не опускай глаза. Не лги!

— Твоему царствованию — семь лет, великий государь.

Борис икнул. Засмеялся и опять икнул.

— Семь лет... Да хотя бы семь дней! Царь — это вечное имя в веках.

Да хотя бы единый день!

Положил в ладонь юноши мешочек с золотом. Другой мешочек положил на стол.

— Возрадуйтесь вместе со мною. И забудьте об этом гороскопе. Да так забудьте, будто его и не было.

Вышел бесшумно, не колебля, кажется, самого воздуха. Со временем службы Ивану Грозному умел ходить, как бестелесный.

Утром 21 февраля братья Шумские, Василий, Дмитрий, Иван, прибежали в Успенский собор и потребовали продолжить избрание царя, коли Борис поклялся не принимать венца.

Патриарх Иов тотчас приказал ударить в колокола и пошел крестным ходом в Новодевичий монастырь с хоругвями, со святой чудотворной иконою Богородицы Владимирской впереди.

С иконою Смоленской Богоматери крестным же ходом и под колокола двинулася навстречу патриарху Борис Федорович.

Будто два золотых облака нашли друг на друга. Пал на колени Борис перед иконой, что пришла с Иовом, и воскликнул во всю силу голоса, рыдая и дрожа:

— О милосердная царица! О пречистая Богородица! Помолись обо мне и помилуй меня!

И укорил патриарх Иов Бориса Федоровича суроно и непреклонно.

— Устыдись пришествия пречистой Богородицы со своим предвечным младенцем! Повинись воле Божией и ослушанием не наведи на себя праведного гнева Господня!

Много еще было затей. Служили молебен, ходили к царице Александре просить у нее на царство брата. Борис, однако, твердил все то же:

— О государыня! Великое бремя возлагаешь на меня, предаешь меня на превысочайший царский престол, о котором и на разуме у меня не было.

— Против воли Божией кто может стоять? — кротко ответила сестра.

И вздохнул Годунов, словно полжизни из себя выдыхал:

— Буди святая твоя воля, Господи!

Великий пост и Пасху Борис Годунов, царь, да все еще не венчанный, миром не помазанный, прожил в Новодевичьем монастыре.

Только 30 апреля прошествовал он в Кремль, держа за руки милых детей своих, Ксению и Федора. Обходил кремлевские соборы, кланялся гробам государей, прикладывался к иконам и кротко просил людей, на звания не взирая:

— Отобедайте нынче со мною! Пожалуйте детей моих, наследников моих.

Федор, девятилетний отрок, смотрел вокруг себя соколенком. Глаза карие, ясные, а в них то вопрос, то восторг: «Любите ли моего отца? — Любите! нет его в мире умнее, доб्रее, могучее! Коли вы его полюбите, и я вас полюблю».

— Царевич-то! Царевич — вылитый Ангел! — громко шептали наяные говоруны.

— Под его бы рукою пожить.

— Окстись! Еще отец не поцарствовал, а он уж о сыне возмечтал.

Улыбался Борис: болтовня, но — драгоценнейшая! Коли в сыне царевича видят, значит, весь род признают за царский.

На Ксению только ахали. Совсем уж невеста. Да какая! Скажешь — лебедь, и не ухмыльнешься. Есть же такие птицы на белом свете! Высокого лета птицы! Не про нашу честь. И ведь гордыни-то в лице совсем нет. Глаза кроткие, горличьи. Темных, мохнатых, как ельник, ресниц не подняла, кажется, ни разу.

Шелестнуло из толпы, будто крючком рыбьим, под губу да в сторону, подсекая:

— Малютино отродье. Ишь идет! Как змея на хвосте.

— Голубица! — крикнула женщина, возмущенная наговором. — Голубица наша!..

Борис все слышал, про голубицу и про отродье. Улыбался. Истинный царь ради истины царствует. Что ему похвала или злоба?

— Отобедайте нынче со мною, добрые люди. Пожалуйте меня, царицу, детей моих.

— Спасибо, царь! Мы твое добroе сердце знаем!

— И впρямь природный царь! Румяный, ласковый!

И это услышал. Нехорошо ворохнулось сердце: за деньги сказано, или само собой сказалось?

Царица Мария Григорьевна, войдя в свои новые покои, обрадовалась свету и тотчас села за рукоделье, не желая быть на глазах и на язычке у боярынь и сударушек. Она и от мужа готова была затаиться, виноватая перед ним не своей виной.

Борис, однако ж, пришел тотчас после всеобщего застолья. Тихо сел на подставку для ног, положил голову жене на колени.

— С переездом, Мария Григорьевна!

Она радостно вздохнула, трогая пальцами жилочки на его висках.

Никогда не забывала эта умная, русской красоты, величавая и нежная женщина, что она дочь Малюты Скуратова.

Иван Грозный почтил любимца в потомстве его. Одну дочь Малютину выдал замуж за двоюродного брата своего Михаила Глинского, другую за Дмитрия Шуйского, третью — за Бориса Годунова. Повязал боярские роды с опричниной кровью, посеял Малютино семя на благодатных огородах, чтоб хохотать из смердящей своей, из огнедышащей тьмы: нет конца воле моей.

— Плечо ноет, помни, погладь! — попросил Борис, расстегивая на груди ферязь.

Боль эта была пожалована ему в страшный день 16 ноября 1681 года самим Иваном Васильевичем.

— Все от Бога! — сказал Борис, задохнувшись от осенившей его мысли.

Поворотился к жене, зная, что и она подумала о том же. И увидел — подумала.

Встало вдруг перед глазами. Царевич Иван, с лицом белым, натянутым на костяк так туго, что, кажется, раствори он рот пошире — кожа на скулах лопнет, заорал на отца, ибо во всем был копия. И во гневе.

— Коли сам бегаешь от врагов, дай мне хоть один полк! Накручу хвост Замойскому, чтоб и дорогу забыл ко Пскову. Он потому и стоит, что погнать его некому. Войско дай, говорю тебе!

Иван Васильевич, откинувшись на высокую спинку низкого стула, немощно загораживался от слов сына левою рукою, как от ударов хищной птицы. Заслонял глаза, темя, слабо отмахивался и вдруг совершенно обмяк, помертвел и принял манить Ивана уж и не рукою, а только шевелящимися пальцами.

Иван смолк, виновато прижал руки к груди, пошел к отцу, опустив по-овечьи голову, раскаиваясь в недержании обидных слов.

Тогда-то и полыхнули навстречу овну змеиные, сожравшие человеческое счастье глаза. Иван Васильевич изогнулся и, выхватя правою рукою из-за спинки стула костяной жезл, принял бешено тыкать сына, метя в голову.

— Мятежник! Выкормыш Захарьинский!

Борис, обмиравший в стороне, почуя собачьей натурой своей, что пришел час жертвовать жизнью хозяина ради, кинулся между отцом и сыном, и подлый царский жезл с копьем на конце не раз и не два вошел в его тело. Но поздно! Поздно! Царевич, обливаясь кровью, гулькал что-то по-голубиному, невнятно и примиряюще, рухнул на колени, завалился. И последнее, что видел Борис: глаза, подернутые пеленою.

— Не жалей меньшого Ивана, — утешала мужа Мария Григорьевна, — он бы творил тоже, что и отец! Тебя первого во грех бы ввел.

Борис согласно покачал головой. С Марией Григорьевной поговорить всегда интересно. Первые годы с ужасом в груди и жил, и спал. Но привык. Коли с Грозным было привычно, чего же к красавице Марии Григорьевне не привыкнуть... Пробовал тишайше сбивать ее со своего подколодного следа, куда там! Читает в душе как написанному, лучше уж не сердить.

— Помолимся? — сказал он ей.

— Помолимся, — глазами в лоб ему уперлась, будто пестом тюкнула: до слез разжалобился. Мужик в слезах, как баба в соплях. С души воротит.

Зажег свечи перед образами, принял шептать молитвы, глуша в себе былое. Но знал: обернись он сей миг — за спиною его, ухмыляясь, стоят двое: Иван Васильевич и Малюта.

— Приложился бы ты ко святыням, что привез патриарх Иеремия, — посоветовала Мария Григорьевна.

Он обрадовался и совету, и самой тревоге за него: не все-то ему пучься о доме своем, о царстве, о народе. Он-то хоть единой душе жалобен? Ах, умница Мария Григорьевна! Мильй человек, с душою, как гладь колодезная. Урони песчинку, и от песчинки круги пойдут.

Взявиши жену за руку, повел ее Борис Федорович в заветную сокровищницу, где хранились не золото, не жемчуг, не светоносные каменя, но святыни.

Константинопольский патриарх Иеремия, вчистую разоренный турецким султаном, приехал в Россию за милостыней. У патриарха за долги и дом взяли, и храм. Привез он с собою панагию с мощами и с крестом, сделанным из дерева Иисусова креста. В ту же панагию были вшиты часть одежды Христовой, часть копья, коим кололи римские солдаты тело Иисусово, части трости и губки, на которых было

поданы Иисусу питие, называемое отцом – желчь с уксусом, – часть тернового венца и три пуговицы с одеждой Богородицы.

Поцеловал Борис Федорович святыню, будто к самим Христовым страданиям приложился. Но в тот самый миг, когда растворилась его душа Божеству, померещилось ему лицо князя Тулупова, опричника и советника царя Ивана Васильевича. В ушах залаяло, хуже чем наяву, и понеслась любимая царская потеха – травля собаками зашитого в медвежью шкуру обреченного на муки человека.

– Что ты бледен стал? – перепугалась Мария Григорьевна.

– Новгородского архиепископа Леонида вспомнил, – косноязычно пролепетал Борис Федорович, о Тулупове помянуть не смея.

– Крест целуй! Древо креста Христова! – прикрикнула на супруга Мария Григорьевна, и он был послушен. Прикладывался по порядку ко всем мощам, привезенным Иеремией: к левой руке по локоть святого Якова – одного из сорока мучеников, к малому персту с руки святителя Иоанна Златоуста, к частице мощей мученицы Маринны антиохийской, к кости из глазницы мученицы Соломенеи.

– Ну что ты раздумался? – угостила, дыша женским добрым теплом, добрая жена. – В такой-то день поминать разное... А уж коли худое вспомнилось, вспомни и доброе. Не знаю другого в русской земле, кто был бы Щедрею тебе в милостыне. Помнишь, посыпали подарки вселенным патриархам? От царя Федора царыградскому Иеремии убрuseц в жемчуге, а от Слути, от Бориса от Федоровича – сорок соболей, да кубок серебряный, да ширинка в жемчуге. Ерусалимскому Софонию от Федора – убрuseц, да четыре сорока соболей, а от Слути от Бориса Федоровича – хоть и сорок соболей, да ценою четырех сороков дороже. От Марии Григорьевны – ширинка, от Федора Борисовича – кубок, от Ксении – Спасов образ в дорогом окладе... И антиохийскому патриарху, и Александрийскому: то же самое. Бела твоя душа, все отмолено, открешено. Не томись, не казнись – вольно живи. Уж не Слуга ты боле, царь!

– Царь! – улыбнулся Борис Федорович и погладил жену по щеке. – Царица ты моя! Умница! Государыня!

– А коли так, пошли за царский стол царские кушанья кушать.

– С охотою, – сказал Борис Федорович, но тотчас встало посреди потемок его души смурная, пьяная харя князя Тулупова.

Всего-то и шепнул Борис царю Ивану Васильевичу – упаси Боже! – не оговаривая, истинную правду: «Князь сегодня нож точил, к тебе собираясь». Кто ножа не точил, идя к Грозному: тупым ножом человечью шкуру не обдерешь, а в те поры царев двор был не хуже живодерни.

Царь Иван поместья Тулупова, старого любимца, молодому любимцу пожаловал.

— Я ведь все монастырям отдал, — сказалось вслух само собой.

— Ты про что? — не поняла Мария Григорьевна. Борис Федорович, осердясь на свою оплошность, ответил в сердцах:

— Не поцарствовать мне, как Федору царствовалось. Он, блаженный человек, думами себя редко обременял, а тут и на миг единый отдохновения нет. Муха прожужжит, и мууху держки в голове.

— Зачем тебе царствовать, как Федор царствовал? Что полено, что Федор! Царство ему небесное!

Борис в ярости чуть было не затопал ногами, в горле булькнуло, хотелось орать одно только слово: Дура! Дура! Улыбнулся.

И за столом улыбался, хрустел заморскими миндальными орешками да еще плавничок от карасика жареного отщипнул.

— Нет, Мария Григорьевна! Нет, моя царица! Не благородство царствует, не ум, но кровь, — свою навязчивую думу. — Федор мог быть поленом, ветром, инеем, и все же царство липилось к нему, как банный лист. Он Богу молился, а золота в казне через край. Он в колокола бил, а царство прирастало не по дням, а по часам.

— Потому что и чихнуть было нельзя не по-твоему! Все! Все свершалось премудрым твоим разумением.

— Иные пробовали своим-то жить, — и снова татарское преступило в лице Бориса. — Ты права, царство стояло так, как я хотел. Но мне оттого не легче, Марья! У Федора Ивановича был Борис Федорович, а у меня, Бориса Федоровича, Борис Федорович только и есть.

И подумал: «Чего же это я теперь на жену не посмел крикнуть? Малюта, чай, уж в прах рассыпался».

4

В царских палатах, в царской постели спать бы, как на облаке. Но не шел сон к Борису.

Не хуже летучей мыши слухом и всею чутью своей осязал он кремлевский терем. Каждый темный закуток, каждую дверь, каждое окошко. Не выдержал. На цыпочках прокрался к потайному глазку, проверил стражу, не дремлет ли?

Лег, ухнул в сон и тотчас выскоцил из него, как из ледяной проруби.

— Господи! Что же это я? Какого татя жду? За какое зло? Какие ковы мне уготованы? Да кто посмеет даже подумать о Борисе дурно, когда на царство призван народом от всех русских земель?! Стены крепки, стража надежна, войско со мной и Бог со мной, ибо разве не я, Борис, дал русской церкви патриарха?

Принялся перебирать, как четки, добрые дела. И дела эти великие и малые, воистину милосердные, незамутненные и прямые, как лучи небесного света, бились о серую стену Тщеты, которая тайно, но неизблемо стояла в его душе, разгородив душу на две половины.

— Царь я, о Господи! Твоим промыслом царь! — шептал Борис и выставлял Богу ум, дородство, прозорливость, величие помыслов! Богатство! — Ты меня, Господи, всем наградил и одарил! Царь я! Царь! Для всех желаний, жданый, всеми призванный.

Как звезда, переливалась живыми огнями живая сторона души, а за стеною, за Тщетою было глухо, темно и ледовито. За той стеной, коли с Грозным равняться, пустячки, полутрехи. Своей волей своих рук даже в крови животины не замарал. Но сама стена убивала в нем царя. Иван Грозный творил Содом и Гоморру у всех на виду, творил и каялся. А тут всех грехов — Тулунов... От кровопийцы освободил Землю Русскую.

— Ни единого золотника нет в тебе царской крови, — сказал Борис со злым удовольствием и успокоился.

И встала перед ним Поганая лужа.

Летний июльский день. Ему нет двадцати лет, но он уже совсем неподалеку от царя. Царь на коне, и он, Борис, от желания исполнить любую волю государя, тоже на коне, и с ними еще полторы тысячи конных, жаждущих царской воли. Поганая лужа под стенами Кремля, день рыночный, людный. Видя, что площадь берут в тиски, народ кинулся врассыпную. Да поздно! Куда ни повернуться — пики в грудь... И когда движение замерло в безысходности и когда люди попадали на колени, не зная, как еще себя защищать, царь Иван Васильевич сказал им:

— Хотел я вас, гордых москвичей, истребить, как истребил изменников-новгородцев. Да сложил с вас мой гнев, ибо сыскал врагов. Вот и скажите мне, правильно ли я делаю, что собираюсь срубить измену под корень?

И закричали люди, чтобы спасти себя:

— Живи, преблагой царь!

— Наказуй врагов своих по делам!

— Руби приказную строку! Колесуй!

Тогда вывели на Поганую лужу три сотни избранных царем на казнь.

— Со всеми до ночи не управимся! Тишают мое сердце. Незлонамеренных милую. Отпустите их. Пусть поглядят, что будет с теми, кто на своего царя нож точит.

Сто восемьдесят человек — мелкую приказную строку — отделили от обреченных и пустили в толпу. Остальным вычитывали вины.

Первым поставили под скрещенные, врытые в землю бревна Печатника Висковатого.

Иван Михайлович был из простолюдья, своим умом достиг государственных высот. Правил Посольским приказом многие годы и столь мудро, что Грозный любил его, как себя. Да все же чуть меньше, чем себя.

Вина Висковатого заключалась в том, что спросил государя: «За какие козни опричники моего брата казнили? Чего ради людей истреблять?» И Грозный ответил: «Я вас еще не истреблял, я только начал. И уж постараюсь всех вас искоренить, чтоб и памяти вашей не осталось».

— Поди скажи Печатнику, пусть повинится да попросит хоршенько прощения! — Грозный глянул на Бориса, и Борис на всю жизнь сохранил в себе тот взгляд.

Может, без крови бы тогда обошлось, но Печатник закричал с креста:

— Будьте прокляты, кровопийцы! Вместе с вашим царем будьте прокляты!

— Режьте его! — прошептал Грозный. — По кускам режьте! Чтоб знал меня!

Длинный, белый, как кость, палец уперся в самую душу Бориса. И он отрезал от Ивана Михайловича, как все. И царевич Иван был там и тоже отрезал, и сам Иван Васильевич, все, все, покуда опричник Реутов не перестарался, отхватил полбока. И тотчас был взят под стражу, пожалел, дескать, царева врага.

Вторым отделяли казначея Никиту Фуникова. На него то кипяток лили, то ледяную воду. И он, Борис, сам избрал черпак с кипятком, ради царского удовольствия.

— Господи! Что бы ледяной воды-то не почерпнуть? Всякому из ста двадцати царь сам назначил казнь. Ни одного не убили попросту и так же, как предыдущего.

Борис знал: за ту кровь, за старание на той Поганой луже получил он от Ивана Васильевича дворовый чин оруженосца и Малюту Скуратова в тести. Все свое будущее. И шапку Мономахову тоже...

«Но ведь Поганая лужа обернулась Красной площадью. Забыл народ старое имя. Забыл ли Бог старые службы Борисовы, царя ради исполненные?»

Слова эти не застrevали в окаянной глотке, но они были — ложь. Царь Ивану сгнил, когда разделила душу Стена. (О своих грехах).

— Пусть не будет мне покоя, лишь бы сыну драгоценному Федору Борисовичу на престоле сиделосьочно и вольготно...

Встал с постели, вышел к охране.

— Кто-то мне вчера сказал, будто татаре на украинах объявились. Не ты ли, Агап?

Спальный стражник отрицательно потряс головой.

— Будто бы сам хан испытать нашу силу вознамерился? Вы, до утра не откладывая, поспрашивайте. Из дворовых кто-то говорил. Хана встретить надо по-русски.

Человека, знавшего о готовящемся набеге, не нашли, но утром вся Москва гомонила не хуже перелетных птичьих стай: татары идут.

Был первый день апреля. А уже на следующий к царю пожаловали народные депутаты: от дворян, от гостей, от черных сотен.

— Пожалуй, великий государь Борис Федорович, защиты от басурмана!

Хан Казы-Гирей ведать не ведал, какое замечательное и огромное действие разворачивается на веселых, на зеленых берегах Оки в его грозную честь.

Рати сходились со всей русской земли, как перед Куликовской битвой. Люди с тех давних пор расплодились, и на предполагаемые сто тысяч хана Годунов выставил полмиллиона. При царе Федоре ему уже приходилось отражать нашествие Казы-Гирея. За ту победу царь пожаловал его кубком Мамая, взятым на Куликовом поле. Борис позаботился, чтобы о его награде вспомнили и чтобы про награду эту знал каждый ратник.

К войску царь прибыл второго мая. Лично объезжал заставы, смотрел оружие, лошадей, награждал увесистым жалованьем примерных за примерность, нерадивых чтоб радели. Когда платят погонялька-в-тютельку, то и сам ты тютелька. Когда же ты в цене, то царь вроде бы по имени тебя знает.

В июле по просохшим дорогам подошли обозы с продовольствием. Борис Федорович велел поставить в чистом поле столы и принял славить грозное свое войско царскими пирами. На каждый пир собирали по семидесяти тысяч гостей. Ели, пили, у кого сколько силы было. Весело ждали крымцев. И они, наконец, пожаловали. То было посольство мурзы Алея.

Всю ночь ратники палили в небо из ружей, из пушек. Разразилась гроза, но куда грому небесному до грозы человеческой.

Утром измученных бессонницей послов повели к Годунову. Царский шатер от посольского стана был в семи верстах, и все эти семь верст мурза Алей и его товарищи ехали через сплошной строй ополченцев, стрельцов, немецких солдат, а позади строя проносились конники. Большего ужаса мурза Алей за всю жизнь свою не изведал: Крыму коней! Перед такой силой сама Турция не устоит.

Посол Казы Гирея ухватился за мир, как за спасительную соломинку.

Встречали Бориса в Москве колокольным звоном и всеобщей радостью. Победа была одержана небывалая: съедены многие тысячи возов отменного продовольствия, выпито — вторая Ока.

Не так уж это и глупо воевать с пустым местом. Хан Казы-Гирей не о набегах теперь думал, боялся, как бы на него не набежали.

1-го сентября, в праздник Нового Года, патриарх Иов помазал Годунова миром и возложил на его главу царский венец.

И потрогал Борис венец на голове своей, и сорвалось с губ его румяных:

— Бог свидетель — не будет в моем царстве бедного человека! Последнюю рубашку разделю со всеми.

За ворот себя потряс, жемчугом шитый.

Видно, и в звездный час свой не чуял царь Борис в себе царя. Совесть требовала от него платы за венец. Большой платы, ибо получен не по праву, а одним только хотением.

Борис готов был платить: дворянам, и соглядатаям, боярам и престолюдью, патриарху и самому Богу.

Слово, говорят, не воробей, у царя и подавно. Ту рубашку с жемчугами впрямь пришлось вскоре отдать.

5

Уж такие злодеи Россией правили, каким мир в веках не видывал. Правили великой прохвосты и блаженные дурачки. При дурачках только и было покойно. От умных да ученых, кто хотел добра не себе одному, происходило всеобщее непотребство, разор и голод.

Умный царь тем и слаб, что умен. Править государством, полагаясь на ум, великная бессмыслица, ибо каждый новый день — это новый мир, вчерашинее правило для него уже не годно.

В конце-концов гнездо, собранное по веточке, падает наземь и лежит на виду у всех, смятое ударом, залитое разбитыми яйцами. То, что было принято за стену — всего лишь мираж стены.

Царь Борис смотрел на Москву, на царство свое с птичьего полета, с высшей точки на всем пространстве русской земли: с колокольни во имя Иоанна Предтечи, еще только-только завершенной, но уже прозванной в пароле Иваном Великим. А кто строил?

Борис улыбнулся, но цепкие глаза его сами собой отыскали дворы Романовых, а потом и двор Василия Шуйского.

Уж чего-нибудь да затевают затейники против ненавистника своего.

Приложил к глазам руку, шутовски вглядываясь в помельчавшую московскую жизнь.

«Ишь копошатся!»

И разглядел черную срамную колымагу, на которой возили по городу, всем напоказ, схваченного за руку взяточника.

— Господи! Помоги одолеть злое и неразумное! — сказал громко, чтоб стоящие в стороне звонари и телохранители слышали разговор царя с Богом.

Однако, пора было на землю.

Царь Борис задолго готовил, обстраивая подпорками и хитрыми клиньями Большой день, в который совершалось сразу несколько дел, важных сами по себе, но еще более важных для главного царского Дела, сокровенный смысл которого был известен одному устроителю.

Уж чего-чего, а отвести глаза Годунов умел.

Словно бы случай свел в один день пришествие к царю ливонских изгнанников и патриарха Иова.

Иов явился в сильном смущении, ему надлежало высказать Борису укоризны.

Подойдя под благословение, государь, по-детски радуясь встрече с патриархом, будто не видел его на всенощной, взявиши его за руки, повел в малую комнату показать новую книгу «Цветная триодь» только что вышедшую из типографии Андроника Невежи. Борис знал, с чем пожаловал Иов, и пожелал вести разговор с глазу на глаз. Иов потел, вздыхал и наконец принял хвалить государя.

— Слава тебе за доброту к православным! Слава тебе, что не забываешь народа простого, неразумного. Как запретил ты хлебным вином торговать кому ни попадя, так и беды меньше. Все русские беды от вина!

— Я готов помиловать десять разбойников, нежели одного корчмаря! — откликнулся на похвалу Борис. — Потому и надобны школы! Зная цену своей голове, разумный человек пропивать ума не станет.

Иов побледнел, примолк, и Борис мстительно тоже замолчал. Минуты шли, разговора не возникало, и тогда патриарх пополз с лавки на пол, пока не бухнулся на колени. И заплакал:

— Не надо школ! Не надо русских людей в немцев передельывать!

— В каких немцев?! — закричал Борис и хватил книгою по столу. — Господи, отчего я в России царь!? Уж лучше бы у самоедов!

Иов плакал и твердил свое:

— Одежду носят куцую, брады бреют. Муж без брады! Боже! Уж и не поймешь, кто баба, кто мужик. Немцев в Москве куда не ткнись. Спаси, государь, Россию! Не погуби!

Борис подбежал к Иову, утер ему слезы, посадил на стул, вложил ему в руки новую книгу.

— Мы с тобой умеем читать, и ладно. Не будет школ! Зачем корове пшеница, коли к сену привыкла. Кого царь забыл, того Бог не оставит. — И вдруг голос так и звякнул, как сталь о сталь. — Смотри, отче, не перечь моей послынке дворян в ученье. И так не все ладится. В Англию хотел шестерых отправить, поехали четверо, в Любек пятеро, шестой в монастырь сбежал. Во Францию теперь собираем. Государство без ученых людей все равно, что православие без храмов. Ты об этом, святейший, и сам знай, и других наведи на ум.

На том беседа закончилась. Пришел дворецкий и доложил:

— Пожаловали ливонские дворяне и граждане. Числом тридцать пять человек. Ждут царя во дворе, ибо все они изгнанники, одеты как придется и потому идти во дворец не смеют.

— Зови всех к столу, — распорядился Борис. — Скажи, да слово в слово: хочу видеть людей, а не платье.

Чем только не потчевал оборванцев! В слове им ласка, кушанья на золоте, на серебре, обещания одно другого краше. А за что? За то, что не русские? Иов кряхтел да тер прозябший нос скатертью.

После яств в столовую палату принесли ткани, соболей, было роздано жалованье, грамоты на поместья.

— Дворяне у меня все князьями будут! — пытал от своих щедрот Борис. — Мещане дворянами. От вас же одного хочу, молитесь за мой Дом и не предавайте.

Дворянин Тизенгаузен в восторге от Бориса поклялся от имени всех ливонцев умереть за такого царя!

— Мы видели в твоем царстве, великий государь, среди сонма счастливых и всем довольных людей только одного огорченного. Его провезли по улицам города.

— То взяточник, — объяснил царь. — Я люблю всех моих подданных равной любовью. Гнев же мой — на взяточниках, сокрушающих порядок, и на корчмарях, потакающих пороку.

Пора было из-за стола, и все помолились Богу, а духовник Борисов сверх того прочитал к удивлению Иова совсем новую молитву:

«Да пошлет Господь душевное спасение и телесное здравие слуге Божия, царя Всеизбранным избранного и превознесенного, самодержца всей Восточной страны и Северной; о царице и детях их; о благоденствии и тишине отечества и церкви под скипетром единого христианского венценосца в мире, чтобы все иные властители перед ним уклонялись и рабски служили ему, величая имя его от моря до моря и до конца вселенный; чтобы россияне всегда с умилением славили Бога за такого монарха, коего ум есть пучина мудрости, а сердце исполнено

любви и долготерпения; чтобы все земли трепетали меча нашего, а земля Русская непрестанно высилась и расширялась, чтобы юные, цветущие ветви Борисова Дома возросли благословением Небесным и непрерывно осенили оную до скончания веков!»

— Хороша ли молитва, святейший? — спросил государь Иова. — Нет ли в ней такого, что не угодно твоему слуху? Все ли слова верны, так ли стоят?

— Хороша молитва! — ответил Иов, не умея возразить человеку, коему был обязан и саном митрополита, и патриаршеством. С глазу на глаз, может, и сказал бы чего, но при многих людях, при иноземцах! Спохватился: — Благословляю всех читающих молитву, всех слушающих, да будет истина сих слов угодна Господу Богу.

Борис преклонил голову перед Иовом и вдруг положил ее, тяжелую, ему на грудь.

— Припадаю к тебе, как к отцу. Не о себе пекусь, о процветании и крепости государства. Ты, святейший уж постараися, пусть читают молитву во всех домах, на всех трапезах, на всех вечернях, на всех праздниках за первыми чашами. Не грех церкви помнить царя; которыйпомнит церковь. Кто и где возводил колокольню выше Ивановой? Нашей с тобою!.. Народ со всей земли идет поглядеть на чудо.

В тихой немощи покидал Иов царские палаты. Покинувши, присосанился — не гоже от царя хмурым выходить. Присосанился с натугою, ради людей, а на крыльце-то уж совсем просиял. Господи! Зачем ходил — все исполнено. Царь обещал школ не заводить. Стало быть, слушает своего патриарха. Да и молитва складная.

Борис тоже был доволен прожитым днем. Добыл Дому своему тридцать пять ретивых заступников. Федору — опора, ее нужно готовить исподволь, пока время есть и казна нескудна.

Перед сном спели с Марьей Григорьевной новую молитву, крестиясь на образ «Спаса Нерукотворного».

Трижды спели.

А как легли, Марья Григорьевна спросила:

— Помнишь, слух был о царевиче Дмитрии? У Бориса даже дыхания не стало.

— Ты чего? — всполошилась Марья Григорьевна. — Врача, что ли, покликать?

Подождала, выпросталась из-под одеяла, и тут схватил он ее за бок железной рукой. Так крутнул, что в глазах потемнело: однако же не пикнула. Голосом спросил ровным:

— О чем это ты?

Марья Григорьевна взяла Бориса за ручку и, целуя, заговорила быстрым холодным шепотом.

— Приезжала ко мне княгиня Марья, мать Митыки Пожарского. Была она в гостях у княгини Лыковой, а та своими ушами слышала от жены князя Скопина-Шуйского, как жена князя Шестунова у себя в людской застала прохожую странницу, и та говорила, будто царевича Дмитрия за час до смерти подменили. Потому-то царица Манька Нагая и вопила притворным воем, потому всех и поубивали, кто правду сказать мог.

— Где же он, царевич Дмитрий? — спросил Борис пересохшей глоткой. — Отчего не объявится? Не попросит своего? Мы бы ему, боясь Бога и любя корень Рюриковичей, с радостью вернули бы то, что не наше.

Теперь примолкла Марья Григорьевна.

— Так отчего же он не объявляется? Где его искать, чтоб взять за белые руки да отвести на высокий московский престол?

— Говорят, время не пришло, — тихо откликнулась Марья Григорьевна.

Борис вздохнул, повернулся на бок.

— Коли так, давай спать. А княгинушкам своим подсажи: пусть их мужья говорунов слушают и мне сказывают. Мне всякое слово знать дорого. И худое, и доброе. Я за глупости не накажу, а вот за утайку пусть доброго к себе отношения не ждут.

6

Первым приехал с доносом на князей Лыкова и Голицына князь Дмитрий Пожарский. Князья крепко полоскали Борисово имя за царскую награду холопу Воинке.

Уж чего наговорил холоп Воинка на своего господина князя Шестунова, про то один Годунов знал. О верности государю и о кознях Шестунова объявлено было принародно с крыльца Челобитного приказа. Воинке государь пожаловал поместье и взял в свою службу, в дети боярские. (Боярские дети — это не дети бояр, это служильые люди, одно из дворянских сословий.)

Шестуновым, однако, от царя ни опалы, ни укора. Да уж лучше бы, кажется, тюрьма, чем еженощное ожидание царевых слуг. За столом ложка из рук валится, мысли в голову не идут. Родня и близкие люди от тебя шмыгают, как мыши от кота. Дом торчит на виду у всех хуже зачумленного.

В сколыхнулась Москва от той Воинковой славы, как брага. Та же бражная вонь пошла, та же пена безобразная изо всех щелей, из тьмы подполий полезла наружу. Кинулись холопы в Кремлевские приказы на господ своих с изветами. Стрельцы на стрелецких голов, дворяне на полковников, приказная строка на дьяков, попы на архиереев, боя-

ре на бояр, жены боярские на жен боярских, девы на дев. Словно все только и ждали, когда в доносчики позовут.

В те дни, говорят, собаки на Москве заливались таким лаем, что голуби трепетали в небесах и падали замертво от усталости, но сесть на обляянную Москву не решались.

И наконец попалась в сеть достойная царской немилости рыба белуга – боярин Богдан Яковлевич Бельский. Бельский был из рода Малюты Скуратова, по Марье Григорьевне родственник Борису, старый друг его. Борис спас Бельского от смерти во время старой смуты, когда Бельский тянул на престол царевича Дмитрия, чтобы самовластствовать именем отрока. Вот они когда загуляли по Москве, слушки и слухи будто бы Бельский отравил царя Ивана Грозного и желает смерти царя Федора Ивановича.

Двух умных для России всегда было много. Борис, достигнув шапки Мономаха, не желал иметь подле себя хваткого, многожаждущего вельможу. Нашел Богдану дело – поставить в степях, на берегу Донца, для укрощения донского казачества город Борисов.

Летописцы называют Богдана умным, только что они принимали за ум?

Безмерно хвастливый и гордый, от зависти теряющий нить времени, не умеющий понять истинного своего места, боярин Богдан принял угощать своих стрельцов и строителей крепости такими щедрыми пирами, какие царю Борису и не снились.

Про те пиры Годунову донесли, как и про то, что крепость построена так скоро и так надежно – другой такой во всем царстве не сыщешь.

Деловитость Бельского уколола Годунова больней, нежели извет, что Бельский, кичясь, говаривает: «Борис царь в Москве, а я царь в Борисове».

Бывший друг и впрямь о себе возомnil сверх меры, ежели на исповеди, перепугав попа насмерть, признался: «Говорили про меня, что отравил царя Иоанна и царя Федора. То была правда! Грешен! Давал отраву царю-извергу и царю-дурачку. Да только не сам до того додумался. По наущению Борьки Годунова!»

Про ту исповедь, не смея носить в себе столь сокровенное, поп донес патриарху Иову, Иов царю.

Такое на исповеди открывают не ради Бога и спасения души, то сама адская огнедышащая пропасть. То была месть Богдана Борису за то, что Борис в царях. Страшная месть. Саму душу Борисову ухватить руками костяков.

И еще говаривал Богдан Бельский:

— У меня в Борисове Россия только и будет! Москва под Борисом уж и нынче неметчина. Кто бороду жалеет, тот пусть к Богдану поспешает.

Поспешили к Богдану царевы молодцы.

Боярская Дума приговорила Бельского к лютой казни.

— Не я ли говорил, что взойдя на престол, ни единой капли крови не пролью? — просил Думу, благородно бледнея, Годунов. — Слово мое твердо! Пусть отвезут Богдана куда-нибудь в Астрахань или в иные украинные земли, с глаз моих долой. Не помнящему добра, хоть разбейся, мил не будешь.

— Неужто не пожалуешь, не накажешь охульника? За такие-то напраслины на царево имя?! — удивился Василий Шуйский.

Борис задумался и спросил бояр:

— За пустые слова про бороды и чтоб помнил свое пустословие, не выщипать ли Богдану его бородищу, коли всего его ума — борода?

Послал исполнять казнь хирурга, бритого шотландца Габриеля. Не любишь иноземцев, так хоть за дело не люби. Боярства еще лишил.

7

Не потакай гневу и ярости, ибо то конец твоему покою, твоей мудрости, твоему единству с небом и землей.

Страшась Рюриковичей и Гедиминовичей, Годунов воспретил жениться Василию Ивановичу Шуйскому и Федору Ивановичу Мстиславскому. Сыну расчищал место, умнеющему день ото дня Федору. Борисыч по-латыни с учителями на равных и говорит, и пишет. Россию ожидает счастье быть под царем великой учености и великого сердца.

На себя спешил Борис принять мерзости царских застенков и утаек. Себе трупных червей и все омыты черные, сыну — золотые трубы и столпы света, землю нарядную, людей, свободных от злобы.

Без воды трех дней не проживешь, царь Борис дня не мог прожить без доносчиков. Столько гадостей о себе услышал и ни на кого, ни на единственного, кроме дурака Бельского, десницы не поднял. Да и Бельского-то опытный человек ощипал. Свой бы клоками драл бородищу, а от щипцов хирурга — холодок да комариный укол. Борис на себе испробовал то, чему подверг Богдана. Седых волос в бороде убавил.

Нелюбовью веяло на Бориса от жарких, жадных до чужого несчастья доносов. Он искал, откуда веет на него сквозняками, и, в который раз поднявшись на колокольню Ивана Великого, остановил взгляд на просторных дворах Романовых.

— Я с любовью к тебе, царство мое! — Борис протянул руки, окуня душу в утреннюю летнюю благостную синеву, и на правую ладонь ему щелкнула птичья капля.

Отереть руку было не обо что. К Борису подбежал звонарь, скинул шапку, подставляя царю голову.

Борис поцеловал звонаря, отер небесный подарок о полу золотого кафтана.

С колокольни сошел больным. Чтоб скрыть от глаз, как худо ему, идя к Терему, улыбался, хотя ноги подгибались, а лицо было красным от ударившей в голову крови.

Врачам сказал почти всю правду:

— Устал я. Один я. Отдохнуть хочу.

Но отдохнуть не посмел, позвал Марью Григорьевну и велел ей, сдвинув брови, на большую строгость сил не было:

— За Романовыми гляди! Каждый день, как на духу... мне... хоть на стену буду лезть, хоть бездыханному...

Уже через неделю вся Москва ожидала кончины государя. Многие опомнились: добрец царя Бориса Федоровича все-таки на Руси не бывало... Кто другой, когда порадел о простом народе? А Борис, взойдя на престол, на целый год освободил крестьян от податей. С купцов пошлины не взимали целых два года.

И все же у той правды, которую Марья Григорьевна докладывала мужу по утрам, было две стороны. Романовы свозят со своих земель на московские дворы верных им холопов, и все те холопы ходят по городу с оружием, веселы и задиристы. Вокруг дворов Годуновых толкутся.

Борис попросил привести к себе сына.

В розовой, ласково льющейся по телу ферязи, шитой розовыми жемчужинами, розовыми камешками, светящиеся тихим, улыбчивым светом, стоял перед Годуновым его кровинушка, воплощение всего лучшего, что собирался оставить по себе Богу, престолу, людям.

Когда-то Борис тешил Грозного одним видом своим, белозубой улыбкой, буйными черными кудрями, гибким, как лоза, станом.

С высоких подушек смотрел теперь царствующий Развалина, отдавший молодость, силу, красоту, совесть, ум, душу саму за единый глоток из чаши, называемой «Власть», смотрел на отрока, затая дыхание.

Высокий, тоненький, на висках вся суть его написана, что-то трепещущее, меняющееся от всякого мирского дуновения.

«Тяжело ему будет, — сказал себе Борис, — за всякую дурь — ответчик».

Кудри у мальчика были материнские, светлые, в глазах строгость и тоска обреченного...

Жалостью сжало сердце Бориса.

— Ты все учишься. Ты поиграй. Мне лучше. Поиграй...

И не мог вспомнить, во что играют дети одиннадцати лет.

Подозвал ближе, погладил по голове.

— Федя! Поиграй, покуда мальчик... Я тебя все к делам да к делам.

Поиграй, милый... А я Богу помолюсь за нас с тобой.

И приказал собираться в церковь. Поднялся, а ноги не держат.

— Хоть на носилках! Пусть народ видит, что государь жив.

На паперти Успенского собора в носилки вцепился блаженный.

— Овечка моя, овечка! — заблеял, кривляясь и до того натягивая на лице кожу, что череп проступал. Отпрянул вдруг, заголосил: — Зубищи-то волчьи! Волк среди нас! Волк!

— Я помню тебя, — сказал Борис блаженному, — ты — смеялся, когда я приносил сюда гроб моего старшего сына... Помолись за моего младшего.

Блаженный принял стучать лбом о каменные ступени и зарыдал, будто ребеночек.

Борис дрожащими руками, торопливо посыпал нищих денежками, пока его проносили через паперт. Денежки, для удобства, лежали у него на груди и на животе, и во время службы они все падали с Борисовых одежд, и от шелестящего их звяканья о каменный пол люди придерживали дыхание и попы сбивались, дважды и трижды повторя слова молитв.

8

— Тебе, Юрий Богданович, для молодчества твоего! Для пущей красоты! Ты наша надежда и радость!

Перед Юшкою лежала великолепная выдра, просверкивая, как рябь над коричневыми торфяными безднами. Чугунные Юшкины глаза подернулись свинцовым блеском.

— Хороша.

— Хороша! — согласился его троюродный родственник, приехавший в Москву для продажи костромского и для покупок московского да иноземного, чего за лесами за топями еще и не видывали.

Родственник был с реки Монзы, сосед монастыря на Железном Борку и Косилей, что приписаны к селу Домнино — вотчине Федора Никитича Романова.

— Я и Федору Никитичу привез, но тебе лучшую.

Юшка впервые получил столь дорогой подарок и стелился перед родственником, как мог. Водил к полякам, пришедшим с посольством

Льва Сапеги. У них было чего выменять. Водил в немецкую слободу, в Чудов монастырь, к деду своему Замятне. Замятня был облезжим головою в Белом городе, глядел за порядком от речки Неглинной до Алексеевской башни. Добрая служба выпала уж в преклонных годах, и Замятня, порадев государю сколько сил было, удалился от мира на покой.

Замятня любил внука. Но любовь его была сиволапая, свирепая.

— Выродки! Мелочь рыбья! — распался монах, озирая внука. — До плеча дедова не дорос, руки и те разные. Где тебе в бой ходить? Такой, как я, наступит и не заметит, что наступил. Отец твой ростом был с меня, да в груди узок, а уж ты — совсем иного племени.

— Так может, и впрямь иного! — чугунные Юшкины глаза снова блестали свинцовым непроницаемым блеском.

— Иши ты! Новый помет! Скоры от отца-матери откреститься, коли отец с матерью не в степенях. — Взял огромными лапами внука за плечи. — Мало тебе Отрепьевым быть? Может, в цари желаешь, как Годунов? Такой же безродный! Так Малюты Скуратова нет с дочками. Да и сам невзрачен.

— А вот как стану царем, чего скажешь? — и зрачки пожрали черной жутью деда и струхнувшего от подобных речей родственника. — А может, Дмитрий-то, спасшийся, я и есть, коли на тебя не похож? Может, оттого и жили вы у черта на куличках, чтоб меня, кровь Иоаннову, в тишине лелеять?

— Цыш! — дед пребольно шлепнул Юшку по губам. — У нас и стены слухмяны. За такое балабольство удавят, имени не спрося... Не в глухомани ты жил, внучок, в Москве. Здесь-то и нашел твой батюшка подсадашний нож проклятого литвина... Ступайте подбру-поздорову, мне на всенощную пора.

Пригнув к себе голову внука, поцеловал.

— Держитесь Романовых. На-ко тебе! — сунул горсточку монеток. Родственника перекрестил.

— Ты на Монзу свою не спеши. Пригодишься Романовым, и они тебе пригодятся. Нынче время на дни счет повело.

Перекрестил внука, по щеке погладил.

— Ох, Юшка! Не на саблю уповай, на умишко. Он у тебя поострей твоей сабли. С Богом, милые мои Отрепьевы! Да не иссякнет наш корень!

Чудов монастырь в Кремле, шепотки здесь первой свежести, из царских хором.

— Жаль, что ты от Романовых к Черкасским на службу перешел, — посокрушался костромич.

– Одно гнездо. Князь Борис на сестре Федора Никитича женат.

Сидели в Юшкиной закуте, пили хлебное пиво, чтоб спалось крепче.

Только улеглись – грохнули выстрелы. Выскочили во двор, а там уж вся холопская рать. Стреляли возле Романовых, факелов там было, словно вся Москва сошлась.

Утром узнали: окольничий Михайло Салтыков по доносу Бартенева, казначея боярина Александра Никитича Романова, сыскал в его кладовых мешки с кореньями; а те коренья якобы все нашептанные на злое, припасены для царского семейства. Не от этих ли кореньев немочь у государя?

Коренья привезли к патриарху в дом, туда же всех Романовых и многих бояр на свидетельство. Коренья из мешков повытряхнули, а они все черны, а то и красны, будто кровь. Страшное дело!

Всех Романовых – Федора, Александра, Михаила, Ивана, Василия, с женами, с ближними слугами взяли под стражу. За ними Черкасских, Шестуновых, Репниных, Карповых, Сицких. Господ спрашивали со строгостью, а со слугами не стеснялись, пытали до смерти, но ни один господ своих не оговорил.

И уже иной был слух: коренья дал Бартеневу дворецкий Семен Годунов. Подлое дело. У царя Бориса все дела на подлости замешаны. Его добро говном воняет.

Слуги порхают, а дело делается.

Самого страшного для Бориса – Федора Никитича – постригли в монахи с именем Филарет, спровадили в Ангиниев Сийский монастырь, наказав приставу Воейкову не пускать за стены обители ни единого богомольца, чтоб писем не было ни к Филарету, ни от Филарета. Александра Никитича отвезли к Белому морю в Усолье Луду. Михаила – в Ныробскую волость в пермские леса, Василия – в Яренск, Ивана – в Пелым. Зятя Романовых Бориса Черкасского, с детьми Федора Никитича, с пятилетним – будущим царем – на Белоозеро; жену Федора Никитича, Ксению Ивановну, постригли в монахини с именем Марфа, кинули в Заонежье, тещу Шестову – в Чебоксары. Всем нашли дальние места. И к каждому приставу царь Борис писал притворные письма, прося давать узникам покой, и чтоб нужды им ни в чем не было. Однако Василию Никитичу только перед смертью сняли с ног цепи, да и Борис Черкасский, надо думать, помер тоже не от чрезмерной заботы, а может, как раз от нее, от чрезмерной. Что гадать! Палачи русские всегда были рады стараться. Астраханского воеводу Ивана Сицкого везли скованного с женою и с сыном, наслаждаясь их муками.

Сгубили в темнице Александра Никитича. Может, и убили. Не стало Михаила — тоже за год доконали. Народ приходил к тюрьме на свирелях ему играть, а палачи за ту любовь цепи гилями утежеляли. Чтоб голова к земле, спина колесом. Над могилою Михаила под Чердынью два кедра потом выросло.

9

Ночью шел дождь, утром хлопьями валил снег, свет прибывал, и прибывало холода. Снежинки уж не шуршали, царапались. Замерзшая трава хрустела. Юшка чувствовал себя под черной своей рясой синим, хотя руки были как лапы у гуся. Под кровлю бы, в тепло, но старец, у которого он был под началом, дал ему свою серебряную чарку и повелел наполнить этой чаркою из святого источника пятиведерную дежу.

— Плюну и уйду, — говорил себе Юшка, и сердце у него подкатывало к горлу, а в паутище щемило, так бывает в детстве, на качелях.

Прежняя жизнь, добывая умом, службой, верностью — стала прахом. Бежал из нее, в чем был, унес один только страх. Было дело, на возу под белугами, белугой прикидываясь, от досужих взоров хорошился. От самого себя отказаться пришлось. Нет уж боле Юшки, есть чернец Григорий, постриженный на московском монастырском подворье второпях, тайком, вятским игуменом Трифоном.

Родственник, друг деда Замятни, архимандрит суздальского Спасо-Ефимьевского монастыря понял беглеца с полуслова, принял без вклада. А вот забота его обернулась Гришке горьким наказанием. Наставник оказался уж таким праведником, хоть сегодня в рай. Поглядел он на Гришку и заплакал. Поплакав, помолился и взялся изгнать из юного инока сидевших в нем бесов.

— Уйду! — еще раз сказал себе Гришка, выплеснул святую воду за куст боярышника и отправился в кабак, в тепло.

Вина не пил, млел у печи, вздремывая, словно кот.

На него поглядел долгим взглядом гревшийся сбитнем молодой, но по виду решительный сударик, подсел, заговорил наклоняясь:

— Из наших гляжу?

— Из каких это?

— Их московского холопства.

У Григория пошел холодок по спине, улыбнулся.

— Я — чернец. Я — оставил мир и забыл страсти человеческие.

— Не бреши! Скидай черную шкурку, я тебе аленькую подарю.

Ты ведь у Черкасских жил, а я у боярина Александра...

Григорий молчал, прикидывая, в какую сторону бежать ловчее.

— Не веришь ты мне, — засмеялся холоп Романовых. — Бежать на вострился. Нынче на Москве уж никого не трогают. Холопов разгнали, дворы Борис в казну забрал, поместья доносчикам раздает. — И шепнул в самое ухо. — Мы теперь — ночные работнички. Пойдешь со мной — не пожалеешь.

— Зипунок бы мне! — вырвалось у Григория.

— С нами не хочешь, и в монастыре, знать, худо.

— Бога боюсь. К Богу можно прийти, а уйти нельзя.

Холоп ударил Григория по плечу.

— Помню, как ты по Китай-городу хаживал впереди холопов Черкасского, как царевых стрельцов гоняли. Мы твоей дерзости завидовали. Вот тебе одежка. Я себе достану.

Скинул с плеча подбитую лисой ферезею, обнял:

— Чует мое сердце — встретимся. Борька-царек вспомнит еще нас, искать ему не переикать!

И верно, много хлопот доставили Годунову оказавшиеся без службы, без крыши, без куска хлеба многие тысячи холопов, прогнанные со дворов опальных бояр и князей.

Предводитель их лихой человек Хлопко Косолап подошел под стены Москвы, в большом бою царского воеводу окольничего Ивана Басманова убил до смерти. И Москве бы не уцелеть, коли бы Хлопка не ссадила с коня дворянская сабля. Царь Борис отступил от слова своего: сдавшихся на милость вешал, четвертовал, глаза выкалывал. Ратью ненавистных Романовых были для него холопы.

А чернец Григорий, уйдя из Суздаля, объявился в Галиче, в родовом гнездовье Отрепьевых. Пожил сколь духу хватило в монастыре Иоанна Предтечи и побежал от невыносимого захолустного житья обратно в Москву, к деду Замятне, надеясь, что след Юшки соглядатаями Годунова потерян навеки.

Замятня за внука похлопотал. Протопоп Евфимий, служивший в Успенском соборе — близкий Годунову человек — поклонился архимандриту Пафнотию, и тот принял чернечца из его сиротства в братию Чудова монастыря без вклада.

И уж тут Гришка не зевал. Имея навык письма, он поразил красотою почерка Пафнотия, который взял его в свою келию. Чуть позже открылся еще один талант молодого инока: сложил столь звучные, трогающие душу каноны в похвалу московским чудотворцам Петру, Алексею, Ионе, что сам патриарх заметил его и рукоположил в дьяконы. С той поры дьякон Григорий бывал, сопровождая патриарха, в царевых палатах. Записывал речи Иова перед Думою и речи царя.

А дальше остаются одни вопросы, на которые ответа нет и никогда не будет.

Чего ради говорил Гришка Отрепьев кому-то из чудовской братии, что скоро о нем все узнают, что ему быть на Москве царем? Сон ли приснился? «Узнал» ли кто в нем царевича Дмитрия? От обиды ли на гонения на его господ, на Романовых? От пустого ли баухвальства? Говорунов несет в словесную круговерть без удержанья, без страха, без оглядки. А может, и таил в себе нечаянно явившуюся мысль? Ведь не чета Отрепьевым: умен, патриарх его слушает, его словами царя наставляет. Да и царь не так уж и мудр, как про него говорят. Все в полу-, ни одного слова твердого. Неужто не знает: то, что в наказе вплоть до конца, на деле уж в четверть.

И такое могло быть – завистник оболгал. Говорил де Гришка, что царь на царстве не природный, что посадите его, Гришку, на место Бориса, будет он, Гришка, ни в чем не хуже.

Оттого и не исполнял дьяк Смирный, родственник Отрепьева, царского устного повеления – отправить дьякона Григория под крепкий надзор в Кирилов Белозерский монастырь. Оттого и не исполнил, что уж больно явным и смехотворным был навет на зеленого юнца.

Зеленый же юнец, не дожидаясь следствия и расправы, бежал. И Смирный заплатил жизнью за неисполнение царского слова. Впрочем, Годунов и здесь был малодушен, оставил дело без наказания. Но чуть позже наслал на дьяка дьяков, и те насчитали на Смирного и взятки, и лихоимство. Беднягу поставили на правеж, засекли розгами насмерть.

Лютой не лютуй – птичка упорхнула. Исчез с лица земли Юшка, пропал и Гришка. Зато явился перед миром искатель правды, обличитель Годунова, всех его тайных убийств и умерщвлений, Богом спасенный от рук злодеев истинный наследник Иоаннова престола царевич Дмитрий. Дикое известие удивило Бориса.

10

Царя-злодея люди терпят себе же на беду. Бог карает царя немощью царства. То ему знак.

Парная от многоводья и большого солнца, изумрудная весна 1601 года кончилась на самом взлете, в середине мая. Пошла морось, холодная, мелкая, с перерывами на ночь, а потом уж и не понять было – день или сумерки. Ни просвета в небесах, ни единого голубого окошка. Небо все сочилось, сочилось... Пришлось избы затапливать, о сенокосе уж не думали. Умелые люди забивали лишнюю скотину, не дожидаясь осени. На поля глядеть – страсть Божия, высокие места

оползают жижей, низины все залиты. Крыши соломенные и те зелены от водорослей. Десять недель лило.

В августе тьма рассеялась, и солнце принялось палить и жечь землю, торопясь дать злакам зерно, а садам плоды. Крестьяне уж вздохнули было, но на Успение 15 августа ударили мороз, да такой, что недозрелые плоды, падая наземь, разбивались вдребезги, как обычные сосульки. Такого всеобщего недорода Русская земля не знала. Хлеб Все же кое-какой был собран. Да и на гумнах, в житницах старого хлеба имелось в достатке. Не скумекали. Озимые посеяли новым зерном, щуплым, не понимая, что жизни в нем нет. Хлеб стал дорог. И царь Борис, чтобы облегчить участь крестьян, уже в ноябре вернул им Юрьев день. Правда, всего лишь на год. Весною, когда сошли снега, ужас витал над черными полями: озимые, подзадержавшиеся со всходами осенью, так и не взошли. Кинулись яровые сеять старыми надежными семенами из прежних, застоявшихся скирд. И тут беда! Морозы постригли молодые всходы, и ко времени жатвы колос от колоса стоял на лапоть и на два. А на ином поле – ничего не было.

С двенадцати денег за четверть цена поднялась до трех рублей. В четверти двадцать четыре пуда, в казенной, правда, всего девять. Но ведь что такое три рубля, коли за душой гроша нет.

Утром царю Борису, молившемуся в домашней церкви доложили:

– Три солнца на небо взошло!

Борис, не говоря ни слова, поспешил на солнечную сторону Терема и через выставленное окно глядел, как, вытягиваясь друг из друга, висят над землею три кровавых желтка.

– О конце света возвестить? – спросил молчащего царя расторопный стольник Мезецкий.

Царь улыбнулся молодому человеку.

– Да ведь ты вроде не Гавриил, а я, как видишь, не Бог. Поспеши к патриарху Иову, путь молебен отслужит.

Тайно, в обычной карете, с небольшой охраной проехал по Москве, уже излечившись от страсти быть на людях, оповещая их о безмерной своей доброте.

Вдоль деревянного тына внутренней стены в четырех оградах были поставлены мешки с деньгами, и шла ежедневная раздача. Неделю назад давали по московке, теперь по две, давали любому, кто протянет руку, кому платить за хлеб нечем.

– Не воруют ли раздатчики? – спрашивал царь доносчиков о раздатчиках.

— Воруют, — отвечали доносчики. — Созывают свою родню и дают им горстю.

— Бедные мы, бедные! — горевал царь, ибо раздатчиков кнутами били, в тюрьмы сажали, вешали и, наконец, попросту меняли. Воровства же не убыло.

Были устроены лавки для продажи дешевого хлеба и для раздачи бесплатно. Но и тут были свои мерзавцы. Скупали дешевый хлеб и продавали по самой дорогой цене.

Толпы вокруг хлебных раздач сбивались чудовищные. Лежали раздавленные толпою, лежали умирающие и уже умершие. Возле Алексеевской башни пришлось свернуть к реке. Некий прибывший из провинции купец привез несколько подвод хлеба, и теперь вокруг этих подвод клубилась голодная ваikhаналия пожирания зерна и муки.

А на Неглинке совсем уж худая картина. Ползая на коленях, люди поедали траву.

— Как коровы! — вырвалось у Бориса.

Он не мог смотреть на это. Он не мог смотреть на женщин. Один офицер из иноземной его охраны рассказал ему о четырех женщинах, которые зимой заманили к себе на двор продавца дров. Убили и положили в погреб, на лед. Сначала они принялись за лошадь, а мужик был оставлен про запас. До него они уже двух или трех растяп съели.

Исчезали дети. Матери были живы, а детей убывало. И все это была страна добрых, сердечных людей, которой он, умный и сердечный, обещал покой и богатство.

— Государь, гляди-ко! — воскликнул стольник Мезецкий, бывший с царем в карете.

— Лиса! — ахнул Борис. — Откуда же она?

— Да, говорят, и волки бродят! — простодушно брякнул телохранитель.

Красное, налитое лицо Бориса одрябло, стало серым.

Воротясь в Кремль, поспешил собрать Думу. Самых толковых и решительных: бояр Трубецкого, Голицына, Салтыкова, окольничих Шереметева, Морозова, Басманова, троих Годуновых — Дмитрия, Ивана, Семена.

— Казна пустеет, голод не убывает. Что делать? Почему нет никакого толку от хлебных раздач? Я приказал боярам и всем монастырям продавать хлеб по старой цене. Почему люди мрут?

Все молчали, и тогда сказал дворецкий Семен Годунов:

— Вся Россия в Москву сбежалась. Деньги за так дают! Хлеб за так дают!

— Надо останавливать людей! На местах кормить. Разве я не посылаю деньги в города? В один Смоленск дадено двадцать тысяч! И где хлеб, который должны свозить в Москву?

— Разбойники, государь, как волки вокруг стен, — признался Басманов. — Никаких сил нет всех разогнать. Не доходит хлеб до Москвы.

Борис Годунов закрыл глаза: вот оно его добро, злом обернулось. Дьявол стоит за плечами. Все разумное — в глупость, золото — в прах, благородное — в пакость.

— Нынче раздачу не уменьшать, а завтра прекратить вовсе, — сказал Годунов и поглядел на князя Трубецкого. — Никита Романович! Тебя прошу: прикажи приставам собирать померших. Пусть заворачивают в саван, обувают в красные коты и хоронят в скудельницах. Все за мой государев счет... Уж тут-то, чаю, своровать будет нечего...

Ночью к Борису пришел тот же стольник, что был утром, Мезецкий.

— Великий государь! Три луны на небе!

И Борис шел, смотрел, как с обеих сторон верной, налитой светом луны стоят две неверные, смутные. И однако же их было три.

11

В Курске уродились хлеба невиданные. Везли зерно и муку с окраин государства, купленное за рубежом. Все ометы старые были обмолочены. Наконец-то наказаны были те, кто, скопая хлеб, собирался распухнуть от золота. Стоимость четверти упала до десяти копеек, неимущим же хлеб давали даром.

И все же гора добрых дел не в силах перебороть черного алмаза, скрытого в недрах горы. А может быть, и единой песчинки черной.

Шел 1604-й год.

Февральская поземка принесла в Москву удивительную, совсем непонятную весть. Донские казаки побили Семена Годунова, шедшего в Астрахань. Сдавшихся в плен стрельцов казаки отпустили с наказом:

— Борис, похититель трона! Жди нас вскоре в Москве с царевичем Дмитрием!

— Я хана жду, — сказал строго Борис. — Казакам бы о спасении русских людей думать, а не об их побитии. То говорили вам, наверное, воры из шайки злодея Хлопка?

— Кто его знает! — мялись стрельцы. — Не побили нас до смерти. Мы и рады.

Борис отпустил стрельцов с миром, а вот наградить или пожаловать за раны, за беды забыл.

Инокиню Марфу Нагую в Москву мчали так, словно позади санок след в полынью уходил. Дорога неблизкая. За Белоозером Выксинская пустынь, где горевала горе свое бывшая царица.

Из санок, схватя инокиню под руки, бегом потащили Борисовы слуги на самый Верх, к самым-самым.

Стояла ночь, и топот солдатских ног был грубей лошадиного топа.

Марфу поставили к стене, между двумя паникадилами с возжеными большими свечами. Голова кружилась от дороги, кровь стучала после бега по лестницам, но она, не ведая, зачем ее везут, по какой-такой спешности, чувствовала в себе радость. Быть перемене. Хоть смертной, да перемене!

Ее разглядывали молча, а кто, за светом было не видно, но она подняла голову, чтоб видели – не сломлена, ни с чем и ни в чем не согласна.

– Назови имя свое, – сказали ей наконец.

– Царица Мария.

– Марфа ты! Марфа-черница! – с позывком закричала на нее Мария Григорьевна.

Нагая, подняв руку, заслонила глаза от света, чтоб увидеть змею Малютину. И змей Бориса тоже. Вон кто до нее, черницы, нужду имеет?!

– Скажи, – голос у Бориса был озабочен, глух, – скажи, ты, прощаешься с убиенным царевичем Дмитрием, целовала его?

Марфа сглотнула ком, она словно пролетела сквозь пол на адскую сковородку, и каждая жилочка в теле пылала ненавистью и жаждой хоть чем-то, хоть как-то отомстить!

– С дороги устала, – участливо сказал Борис. – Ты прости, что сразу с дороги к нам. Утром мне будет недосуг. Посольство отправляю. Сама знаешь, царские дела все спешные.

Он замолчал, но и Марфа молчала.

– Тебе в Новодевичьем келия приготовлена... Новодевичий ныне монастырь из лучших усердием старицы Александры... Целовала ли Дмитрия на одре его?

– Целовала, а кого, не ведаю, – быстро сказала Марфа, понимая, что ее приглашали сюда ради некой тайны, страшной Борису и его змеиному выводку.

– Как ты не ведаешь? – осторожно спросил Борис.

– В памяти я тогда не была. Туман стоял в глазах.

– На сына своего... мертвеньского... не поглядела, что ли? – рвущимся шепотом, выдвигаясь из тьмы, спросила Мария Григорьевна.

– Не помню.

— Тебе, может, пить хочется? — спохватился Борис. Сам же и поднес чашу.

Марфа отстранилась.

— Пей!

— Отравы боюсь.

— Змея! — шикнула царица Мария. Борис отпил из чаши.

— Пей! Ты скажи, что спрашиваю, да и поезжай с Богом на новое житье.

Марфа пригубила напиток, то был вишневый мед. Любимый ее.

«Неужто помнит?» — подумала о Борисе. — «Он все помнит».

— Что же мне сказать?

— О сыне.

Она поняла: они хотят услышать о смерти. Они жаждут услышать о смерти.

— Не ведаю, — покачала головой, сияя и сверкая радостными, полными слез глазами. — Не ведаю! Жив ли, нет...

— Но ведь он себя сам, когда в тычку играл. Сам же!..

Борис поднимал и опускал руки, торопился, отирал со лба пот.

— Не ведаю.

— Сука! — взвизгнула Мария Григорьевна. — Сука!

Выскочила из-за спины Бориса, выдернула из паникадила свечу и тыкала пламенем Марфе в лицо, в глаза метя, в глаза!

Борис обхватил жену обеими руками, потащил, отступил от света во тьму.

12

15 марта 1604 года тот, кто выдавал себя за царевича Дмитрия, сына царя Иоанна Васильевича, был принят Сигизмундом, королем Польши, в Краковском королевском замке на Вавеле. После аудиенции претендент на Московский престол заказал парадный портрет с надписью, чтоб никто уж не сомневался боле, «Дмитрий Иванович, великий князь Московии 1604 г. В возрасте своем 23». В марте сыну Ивана Грозного двадцати трех лет еще бы не было, он родился 19 октября 1581 года. Но мог ли ребенок, которого воспитывали втайне, в чужих людях, знать свой день рождения, когда он имени своего настоящего не ведал?

В Москве судорожно разоблачали Самозванца. Всем пограничным воеводам было приказано слать воеводам польским и шведским грамоты о гибели царевича Дмитрия. И открывалось подлинное имя Самозванца — расстрига Гришка Отрецьев.

В Польшу поехал дядя Юрия Отрецьева Смирный-Отрецьев, а за ним Посник Огарев с письмом Годунова к Сигизмунду. «Мы дивим-

ся, — писал царь Борис, — каким обычаем такого вора в ваших государствах приняли и поверили ему, не подавши к нам за верными вестями. Хотя бы тот вор и подлинно был князь Дмитрий Углицкий, из мертвых воскресший, то он не от законной, от седьмой жены».

Патриарх Иов отправил гонца к князю Острожскому, умоляя не помогать расстриге.

К духовенству патриарх разослал грамоты пять молебны, прося Бога, чтоб спас Россию от плена поганых литовских людей, не предал бы православия в латинскую ересь.

Иов и Василий Шуйский выходили перед народом на Лобное место. Шуйский Богом клялся, что сам погребал убиенного Дмитрия. На Русь не царевич идет, но вор Гришка Отрепьев.

Первым предал Годунова дворянин Хрущов. Его послали уличить Отрепьева во лжи к донским казакам. Казаки схватили царева посланца и доставили к Дмитрию. Хрущов при виде царевича залился слезами и пал на колени:

— Вижу Иоанна в лице твоем! Я твой слуга навеки!

13

С белой прядью в черной, припорошенной изморозью бороде, румяный, плечи раздвинуты могуче, Борис Федорович сорвался, как ветер, навстречу дочери, обнял, чмокнул в прохладные, пахнущие земляникой щеки, засмеялся от радости, любуясь красотой, нежностью, юностью драгоценного своего чада.

— Свет глаз моих! Тишина сердца моего! Заря на белых снегах!

Повел под руку, усадил на высокий стул со скамеечкой в сторону подтопка.

— Не озябла ли? Ножки с пару не сошлились ли?

— Нет, батюшка! Я ноги под волчым тулулом держала.

Ксения опустила ресницы, смущенная заботою, и опять глазами к отцу: уж такой он сегодня молодой, даже морщины на лбу разгладились.

Борис Федорович не хуже Марии Григорьевны наперед знал, что человек скажет, потому и просиял прежде Ксениных слов:

— Батюшка, Москва в колокола звонила, победу твою славила. Людям вино давали. Все пили помногу.

Борис, как за столом, когда, раздумавшись о государственном, дважды, а то и трижды щи посолит, отшел глазами в запределье и тотчас прыснул по-мальчишески. Глаза его собрались в щелочки, сверкали, как из норы, по-мышиному.

— Побили злодея. До смерти побили. Нет его теперь, Ксюша! Господи, Господи! Всего-то одним безумцем меньше, а жизни при-

было. О, Сергий! Твой дом, твои молитвы спасли меня от наваждения. Ксения, милая! Сколько же я теперь для людей доброго сделаю! Освободил меня Бог от креста моего.

Соскочил с места, взял с золотого блюда яблоко, поднес дочери.

— Из монастырского сада. Погляди на солнце — зернышки видно. Кушай. Я денно и нощно молился Богу и Сергию. Бог и Сергий не отринули меня.

Сам взял яблоко, откусывал с хрустом. Зубы белые, крепкие, на зависть.

— Все заботы долой! Теперь одно у меня на уме: жениха тебе найти достойного красоты твоей, царственного твоего благородства.

У Ксении глазки сделались рассеянными, но по белому, как молоко, лицу ее пошли красные пятна. С женихами было худо. Сначала коронному гетману Замойскому взбрело в голову породнить Годунова с Сигизмундом. План Замойского устраивал Замойского. За Сигизмунда думали иезуиты.

Годунов, не дождавшись сватов из Варшавы, позвал Ксению в женихи шведского принца Густава, соперника Сигизмунда. Густаву обещали Ливонию, три русских города с Калугой. Швед, однако, попался упрямый. Ни православия не пожелал, ни красавицы Ксении. Отправили его в Углич, с глаз долой.

Приехал искать руки московской царевны датский принц Иоанн. Юноша мудрый, честный. Не судьба. Умер Иоанн от горячки.

— Я к герцогу шлезвигскому послов, придя в Москву, отправлю. Быть тебе, Ксения, заморскою царицею — или я не царь!

Глазами сверкнул, брови сдвинул и засмеялся. И грустным стал. Все в мгновение ока.

— Я, Ксеношка, места себе не находил. Ведь знаю, знаю, что нет его, Дмитрия. Не жив. Уж лет никак с тринадцать не жив. А потом... раздумаюсь. И ничему не верю. Себя трогаю и не верю. Может быть, я не я, не Борис, не Годунов, не царь. Этак вот трогаю себя, а то в зеркало гляжуся... Как на духу тебе скажу. Перед самым богомольем... Поглядел в зеркало, а меня там нет. Это я тебе только, умнице моей.

И улыбнулся, погладил дочь по светлому челу.

— Да разгладится морщинка твоя. Дурное позади. Я — ожил. Я опять вот он. Отдыхай с дороги, к вечерне вместе пойдем. Помолимся.

Ксения слушала отца, а думала о князе Федоре Ивановиче Мстиславском. Отец, отправляя князя под Новгород-Северский, на Самозванца, обещал руку дочери, Казань, Северную землю. Мстиславский в бою был ранен, потерял лучшую часть войска, но и расстрigu побил крепко.

Борис быстро посмотрел на дочь.

— Я своего чашника к Мстиславскому посыпал. Награжден сверх меры.

И Ксении снова пришлось покраснеть.

Отправляясь на вечерню, сойдя с крыльца, Борис Федорович и дочь его Ксения встретили блаженного Ерему. В богатой куньей шубе, с боярского, знать, плеча, на голове железный колпак, ноги босы. Лицо тонкое, голубое, глаза преогромные, и такая в них, посреди-то зимы, синяя весна, ну словно прогалины в апрельских облаках перед тем, как леса зелень опушит.

Борис Федорович достал золотой — такими награждал воевод за выигранные сражения, положил блаженному на варежку.

— Помолись за Бориса, за Дом его!

Блаженный наклонил руку, подождал, пока золотой скользнет в снег, а потом сблевал. И кинулся прочь. Ксения отшатнулась, но Борис удержал ее за руки.

— Терпи, царевна!

Блаженный выхватил из поленница вершинку осины, с серыми, потерявшими цвет листьями, приволок, ткнул в блевотину.

— Пусть растет высокое, крепкое!

Стал возле саженца, тихий, покорный, с голубым лицом, с деревянно стучашими на морозе сине-багровыми ногами.

Отведя Ксению в храм, Борис пошел к схимнику, устроившему затвор в стене, в мешке каменном. Пророчество требовало истолкования. Говорить схимнику приходилось в узкую щель, в кромешную тьму.

Голос из затвора пришел не сразу, будто камешек, упавший в бездну, вернулся.

— Мертвые дела твои, Борис. Всякое твое слово — ложь, и всякое твое дело — ложь. Утопил ты нас во лжи, Борис, всю землю русскую утопил во лжи. Не ведаю, будет ли такой день, когда правда, зарезанная тобою, оживет и вернется.

Борис шапкою заткнул окошко. Стоял с бьющимся сердцем.

— За что?

И вспомнил счастливые минуты приезда дочери. Да, он не все сказал ей. После того, как Самозванца убили под Добрыничами, всех сдавшихся в плен и множество крестьян Комарицкой волости, присягнувших «царевичу», перевешали на деревьях за ноги. Стреляли по ним из луков, из пищалей... Но кто тешил ненависть свою страшными врагов своих? Ему те смерти были нужны? То бояре со страхом над безоружными глумились. Говорят, «царевич» мог верх взять.

Уж так кинулся, уж так был и гнал, удержу не зная! Басманов пушкиами смирил.

— Да хоть и ложь! Нету его, искателя моей смерти! — взял шапку, побрел прочь, вдоль стены. Стена была высокая, кирпичная, вечная.

— Можно ли царством править одною правдою?

Подумал о Боге. И ужаснулся дерзости, и сказал, теряя волю:

— Можно ли царством править одною ложью...

Затылок стал тяжел, как гиля. Хотелось лечь в постель, в лебяжье тепло, в царственную негу, но пошел в храм, отстоял вечерню и полунощницу.

Утром приехал в Сергиев монастырь гонец от войска:

— Самозванец жив. В Путивле сидит. И вместе с ним, с Дмитрием Иоанновичем, сидит в Путивле беглый чернец и чародей Гришка Отрепьев.

14

Переменилось Кремлевское житье. Хлеб на царском столе и тот черствый, блюда — разогретые обедки.

— Все можно проесть! Само царство Божие! Чем он плох, пирог откусанный? Не змея же его кусала. Еще вкусней, чем свежий.

Царевич Федор, слушая отца и ни в чем ему не перечая, брал кусок надкусанного пирога, ел, не испытывая презрительности. Отца было жалко.

После обеда государь, взяв наследника за руку, отправлялся по кремлевским кладовым смотреть замки и запоры. Ни единого часа без Федора не мог прожить, даже на послеобеденный сон укладывал в своей опочивальне.

— Царевичу полезно движение. У него нездоровая полнота и бледность. Ему бы на охоту, — осторожно советовал Борису личный доктор.

— Один сын все равно что ни одного сына. Я во всякий час могу вспомнить важное, что должно знать царствующему. У меня времени нет жить вдали от моего наследника.

После дневного сна сидели в Думе, обговорили, как принимать посла английского короля Якова, слушали юнца из-под Кром. Война шла долгая, непонятная. Десятки тысяч не могли рассеять каких-нибудь две-три тысячи. Деревянную стену Кром сожгли пушками, но воевода Михайла Салтыков на приступ не решился, наряд от города отвел.

— Изменник, — прошептал Годунов белыми губами.

— Нет, государь, — возразил гонец. — Казаки, что сидя г в Кромах, в землю зарылись. Пушками земли не переворошить.

— Как же все медленно у нас делается! — Годунов сокрушенno по-качал головою, и шапка Мономаха съехала набок, сверкающий огонек на кресте замигал и погас. — Меня иной раз сомнение разбирает: живем ли мы все. Может, спим?

Сошел с трона, и Федор тотчас покинул свой, меньшой, стоявший возле царского.

— Некуда деть себя, — шепнул Борис сыну, ловя ртом воздух, как задохнувшаяся подо льдом рыба, чуть не бегом выскочил из дворца на морозный воздух. И тотчас начал покашливать, но во дворец идти, как в немочь. Побрел к Ивану Великому, к дитяте своему, в небеса устремленному.

На крыльце колокольни, невзирая на холод, сидела, кушала пирожок с клюковкой провидица Алена. Борис запнулся, увидя юродивую, повернул было, но Алена поднялась навстречу, протягивая пирожок, и уговаривая ласковым, теплым, как печурка, голоском:

— Скушай на прощанье! Авось вспомнишь Алену. Скушай!

— Отчего же на прощанье? — Борис смотрел на юродивую через плечо, приказывая себе уйти и не уходя.

— Кисленько, с ледяшечкой. Тебе-то, чай, жарко будет.

— Где жарко?

— Да там! — пророчица вздохнула, и глупейшая улыбка расплзлась по мокрым ее губам.

— Что ты такое говоришь, Алена? — укорил юродивую Борис.

Она уронила пирожок в снег, подняла, ткнула царю в руки.

— Ешь! Скоро уж ничего тебе не надо будет.

— Скоро?

— Скоро.

Алена заплакала и села на ступени. И Борис заплакал. Такой он был старый, так дрожал, что у Федора губы свело до ломоты — ни слова сказать, ни всхлипнуть.

— Озяб! — испугался Борис за Федю. — Пошли, царевич мой милый, пошли. А ты, Алена, помолись за нас. Помолись, голубиная душа.

И стал перед пророчицей на колени.

— Богом тебя молю! Открой! Где место моей душе?

— Где ж царю быть? Он на земле в раю, а на небе тоже, чай, рядом с Иисусом Христом.

— Не утешай меня, Алена. Я один о себе знаю. Молись за меня.

И косился, косился на пирожок с клюковкой.

Миновала зима. Смыло снег мутными потоками. Опережая дождевые тучи, летели на гнездовья птицы.

Борис Федорович, глядя из окошка в сад, на стайку синиц, облепивших голую яблоню, засмеялся.

— Нет уж, милые! Ваше время кончилось. Летите с Богом в темные леса. Нам соловушку послушать невтерпеж.

Кладовые были отворены. Обеды пошли, как в былые времена, воистину царские, без чудачеств.

— Много ли Самозванец достиг? Чинами сыплет, как поле сеет! — Борис за столом был весел, глаза умные, в лице сполохи наитайнейших мечтаний и уже содеянного. Понравилось сказанное, повторил. — Как поле сеет! А кто прельстился? Один Мосальский, ибо худороднее последнего жеребца на моей конюшне. В бояре сиганул! В ближние! Кто в канцлерах? — Богдашка Сутупов! Хранитель царской печати. Да он у нас перья чинил, и то плохо. Были дурака. Роща Долгорукий, Гришка Шаховский, Борька Лыков, Измайлов, Татев, Туренин. Ну еще какие-то Челюсткин, Арцыбашев. Вот и вся свита. Роща в плен попал. Лыков присягнул, голову спасая. Да и прочие.

Борис говорил, а сам все ел, ел. Соскучился по хорошей пище, по вину, по застолью с умными людьми, умеющими слушать, беседовать о предметах, достойных царского внимания.

За столом были Федор, доктора, учителя Федора, офицеры из немцев.

— Весна оживила меня! — Борис отпил глоток фряжского вина, наслаждаясь букетом. — Жить бы этак, отведывая сладкого и сравнивая одно с другим. И многие, многие живут в неге, ища удовольствий. А нам иное. Иные времена. Ну да ладно. Весною землю метут, вот и нам надо весь мусор метлою по сторонам, чтоб чихали те, кто тряс мешки в нашу сторону. Борис выпил еще одну чашу, за своих гостей, и встал из-за стола.

— Мне гороскоп из Англии привезли, — Борис лгал, гороскоп ему составили в Москве, астролога из Ливонии доставили. — Звезды указывают мне открыть глаза и поглядеть, кому доверяю водить войска. Оглядитесь и вы, друзья! Мне нужен от вас добрый и ясный свет.

«А вечером позовет ворожею Дарьицу, — подумал Федор. — Дарьица ныне сильнее думы».

Послеобеденный сон для Федора был густ и тяжел. Просыпался как камнем придавленный.

И на этот раз и камень был, и на ногах путы, но еще и голос:

– Федя! Умираю!

С подушки отца одни глаза. Кинулся к страже, к слугам, к матери. Первыми примчались бояре. Потом уж врачи. За врачами – священство.

Патриарх Иов, приблизясь к постели, спросил государя.

– Не желаешь ли, чтоб Дума при глазах своих присягнула царевичу Федору?

Борис дрожал. Кожа его отошла от тела и шевелилась, истогая смертный пот.

– Как Богу угодно! Как народу угодно! – нашел глазами Федю. – Ах, не сказал тебе... И провалился в забытье.

Врачи, похлопотав над умирающим, уступили место монахам.

И вот уже не царь лежал на лебяжьем пуху, но схимник Боголеп.

Борис очнулся, увидел себя в черном, с знаком схимы, и глаза его сверкнули сумасшедшей радостью: перехитрил! Сатану перехитрил!

И тотчас лицо озарила печаль. Печаль о бессмысленности всего что возвышает человека в жизни и что для вечности гири, тянувшие в пропасть, в сумерки пустоты, где нет Бога.

Мария Григорьевна, стоя рядом с Федором, принимала присягу бояр и священства, себе и сыну, и когда недолгая цепочка иссякла, постояла у постели, любуясь мужем своим.

– Царь! – вырвалось у нее из души. – Царь!

САМОЗВАНЕЦ

1

Сверкая панцирем, но еще более улыбкой, прискакал Жак Маржерет — командир передового охранения.

— Путь безопасен, государь! Москва в ожидании вашего величества!

Что-то озорное, что-то дурашливое мелькнуло в лице Дмитрия. Чуть склонив голову, прикусил губу и, оглаживая крутую драконью шею коня, шепнул ему на ухо:

— А ведь доехали!

Конь задрожал, по тонкой коже, как по воде, побежала зыбь, да и сам Дмитрий покрылся мурашками с головы до пят — то нежданно ударили колокола надвратных башен. Звон перекинулся на окрестные колокольни. И шествие, оседлав эту тугую, нарастающую волну, потекло под рокочущими небесами в пучину ликующего града.

Испуг прошел, но дрожь не унялась.

Золотые кресты частных куполов обступали со всех сторон и смыкались за спиной в крестную стену. В сиянии крестов была такая русская, такая прямодушная серьезность, что знал он, как они могут стоять в небе, московские кресты — отступил бы от своего...

— Вернулось солнце правды! — взыгрывали басами заранее наученные дьяконы, друг перед дружкою похваляясь громогласием и громоподобием.

— Будь здрав, государюшко! — вопил с крыш и колоколен веселящийся народ.

— Дай тебе Бог здоровья! — приветствовали женщины с обочин дороги, все как одна лебедушки: кругогрудые, щеки пунцовые, глаза, с закрашенными ради великого праздника белками — черным-черны.

Дмитрий сначала пытался отвечать:

— Дай Бог и вам здоровья!

Но где же одолеть тысячегорлую радость и литое многопудье колоколов.

И он, чтобы не потерять голоса, только изображал, что отвечает, шевелил губами, не произнося ни единого слова.

Было 20-ое июня, жара еще не поспела, тепло стояло ровное, доброе. Облака, как разлетевшийся одуванчик, солнца не застили, а только указывали, какое оно высокое и синее, русское небо.

Государь Дмитрий Иоаннович миновал Живой мост перед Москворецкими воротами и уж на площадь вступил, как сорвалась с земли буря.

Вихрь взметнулся до неба и, пойдя на Дмитрия, на его войско, толкал их прочь. Кони стали. Дмитрий Иоаннович, не перенеся пыли, отвернулся от русских святынь и, попятив коня, укрылся за железными спинами польской конницы.

— Помилуй нас Бог! — перепугались люди: знамение было недобroe. — Помилуй нас Бог!

Но ветер дул какое-то мгновение, погода тотчас утихомирилась, порядок процессии восстановился, и к Лобному месту Дмитрий Иоаннович подъехал впереди шествия. Здесь его ожидало духовенство с иконами, с крестами. Раздались возгласы благословения, а он все еще не сходил с коня, конь же дергал узду, перебирал ногами и, пританцовывая, относил всадника в сторону — не нравился запах ладана.

Наконец Дмитрий Иоаннович соблаговолил спешиться, кинув поводья Маржерету, вернулся к Лобному месту, поднялся, стряхнул с одежды пыль, отер ожерелье, камешек за камешком, и только потом, сверкая, пуская слюни, чмокнул, не глядя куда, икону, с которой на него надвинулись иерархи. Тотчас отпрянул — кто их там знает? — торопливо вернулся к коню. Опамятаился, прошел мимо, ближе к собору Василия Блаженного, к толпе народа, теснитого строгой охраною. Скинул наконец шапку и принял креститься, кланяясь храму, людям, Кремлю, плача и восклицая:

— Господи! Слава же тебе Господи, что сподобил зреТЬ вечные стены, добрый мой народ, милую Родину!

Люди, смущившиеся бурей и уже подметившие — благословение неумеючи принял, икону не в край поцеловал, а в сам образ, — шапку не снял! — теперь, радуясь слезам царя, простили его оплошности — от такой радости грех головы не потерять! — плакали навзрыд, соединяясь сердцем с гонимым и вознесенным, кем же, как не Господом Богом!

Царь двинулся в Кремль. Двинулся и Крестный ход, с пением древних псалмов, но тотчас польские музыканты грянули в литавры, в трубы, в барабаны. И, хоть музыка была превеселая, зовущая шагать всех разом, священное пение было заглушено, священство посбивалось с напева и умолкло.

В Кремлевские соборы Дмитрий заходил, окруженный поляками. Поклонясь гробам Иоанна Васильевича и Федора Иоанновича, поспешил в Грановитую палату, сел на царское место.

На него смотрели, затаив дыхание, а он был спокоен и распорядителен. Подозвал Маржерета и ему сказал первое свое царское слово:

— Смени всю охрану. Во дворце и во всем Кремле. Пищали держать заряженными.

И обозрил стоящих толпою бояр, своих и здешних, телохранителей, казаков. Улыбнулся атаману Кореле.

— Приступим.

Это было так неожиданно, так просто.

— Где бы я ни был, я всегда думал о моем царстве и о моем народе, — голос чистый, сильный. Все шопоты и шорохи прекратились, и он, указывая на лавки, попросил: — Садитесь. Никому не надо уходить. Сегодня день особый, праздничный, но не праздный. Наблюдая, как управляют государством в Польше, сносясь с монархами Франции, Англии, я подсчитал, что у нас должно быть не менее семидесяти сенаторов. Страна огромная, дел множество. Всякий просвещенный умный человек нам будет надобен, и всякое усердие нами будет замечено. Сегодняшний день посвятим, однако, радостному. Нет более утешительного занятия, чем восстановление попранной истины и справедливости. Ныне в сонм нашей Думы мы возвращаем достойнейших мужей моего царства. Первым кого я жалую — есть страдалец Михайла Нагой. Ему даруется сан великого конюшего. Все ли рады моему решению?

— Рады, государь! Нагой — твой дядя, ему и быть конюшим, — загудели нестройно, невнятно бояре, принимаясь обсуждать между собой услышанное.

Иезуит Лавицкий воспользовался шумом и, приблизившись к трону, сказал по-польски:

— Толпы на Красной площади не редеют, но возрастают.

Лицо Дмитрия вспыхнуло.

— Надо кого-то послать к ним... — и спросил Думу. — Почему на площади народ? Голицын, Шуйский! Идите и узнайте, что надобно нашим подданным?

— Государь, дозволь мне, укрывавшему тебя от лютости Годунова, свидетельствовать, что ты есть истинный сын царя Иоанна Васильевича.

Дмитрий чуть сощурил глаза: к нему обращался окольничий Бельский — родственник царицы Марии и лютый враг царя Бориса.

— Ступай, Богдан Яковлевич! — разрешил Дмитрий и притих, заставил на троне, ожидая исхода дела.

Сиденье было жесткое, хотелось уйти с глаз, так и ловящих в лицо всякую перемену, но с того стула, на который он сел смело и просто, восхитив даже Лавицкого — воистину природный самодержец! —

не сходят, с него ссаживают. И Дмитрий, поерзав, вдруг сказал надменно и сердито:

— Не стыдно ли вам, боярам, что у вашего государя столь бедное место? Этот стул — величие святой Руси, и я не желаю срамиться перед иноземными государями. Подумайте и дайте мне денег на обзаведенье. Сие не для моего удовольствия — я в юности моей изведал лишения и нищету, но ради одной только славы русской.

Богдан Бельский в это самое время, когда Дума решала вопрос о новом троне, стоял на Лобном месте перед народом и, целуя образ Николая Угодника, сняв его с груди, кричал, срываю голос:

— Великий государь царь Иоанн Васильевич, умирая, завещал детей своих, коли помните, моему попечению. На груди моей, как этот святой образ заступника Николая, лелеял я драгоценного младенца Димитрия. Укрывал, как благоуханный цветок, от ирода Бориски Годунова. Вот на этой груди, в чем целую и образ и крест!

Крест поднес рязанский архиепископ Игнатий. Истово совершил Бельский троекратное крестоцелование. И еще сказал народу.

— Клянусь служить прирожденному государю, пока пребывает душа в теле. Служите и вы ему верой и правдой. Земля наша русская истосковалась по истине. Ныне мы обрели ее, но коли опять потеряем, будет всем нам грех и геенна.

Добрьими кликами встретил народ клятву Бельского. За ту услугу пожалован был Богдан Яковлевич — в бояре. И опять скоро. Ушел окольничим, а возвратился — вот уж и боярин.

А у Дмитрия новое дело для Думы, и очень дельное.

— Пусть иерархи церкви завтра же сойдутся на собор. Негоже, коли овцы без пастыря, а церковь без патриарха.

— Успеем ли всех-то собрать? — усомнился архиепископ Архангельского собора грек Арсений.

— Кто хочет успеть, тот успевает, — легко сказал царь, сошел, наконец, со своего жестковатого места и отправился в покой, куда была доставлена царевна Ксения Борисовна.

2

Перед опочивальней его ждали братья Бучинские. Лица почтительнейшие, но глаза у обоих блестят, и он тоже не сдержался, расплылся в улыбке. Братья работнички усердные, доставляли ему в постель по его капризу: и пышных, расцветших, и тоненьких, где от всего девичества лишь набухающие почки. Но прежде не то чтоб царевен, княжен не сыскали.

— Цесарю цесарево, — прошептал, склоняя голову, старший из братьев Ян.

И во второй раз широкой своей, лягушечьей улыбкой просиял царь Дмитрий Иоаннович. Но когда в следующее мгновение дверь перед ним растворилась, сердце у него екнуло, упало в живот, и он, отирая взмокшие ладони о бедра, постоял, утишая дыхание, умеряя бесшабашную предательскую подтую свою радость.

Ксения, как приказано было, в одной нижней рубашке сидела на разобранной постели.

Сидела на краешке. Пальчики на ножках, как бирюльки детские, как матрешечки, розовые, ноготочки розовые.

Дмитрий стал на пороге, оробев. Тот, что был он, выбрался вдруг наружу со своим все еще не отмершим стыдом. Ксения подняла глаза, и Дмитрий, уже Дмитрий! – встретил ее взгляд. По вискам потекли дорожки пота, на взмокших рыжих косицах над ушами повисли мутные капли.

Она опустила голову, и волосы побежали с плеч, словно пробившийся источник, закрывая лицо, грудь, колени.

Только что придуманная роль вылетела у Дмитрия из головы, и он кинулся на пол, приполз, припал к розовым пальчикам, к бирюлечкам, к матрешечкам, целуя каждый. Взял на огромные ладони самим Господом Богом выточенные ступни и все поднимал их, поднимал к лицу своему, и совершенные девичьи ноги все обнажались, открывая его глазам свою нежную, свою тайную, хранимую для одного только суженого красоту.

А дальше – багровая страсть, море беззвучных слез и немота.

Ярость всколыхнула его бычью грудь: «Да я же тебя и молчью перемолчу!»

Лежал не шевелясь, теряя нить времени. И вдруг – дыхание, ровное, покойное. Поднял голову – спит.

Нагая царевна, белая, как первый снег, со рдяными ягодами на высоких грудях, спала, склонив голову себе на плечо. Шея, долгая, изумляющая взор, была как у лебеди. Под глазами голубые тени смерти, а на щеках жизнь. Он, владетель и этой драгоценности, удущая в себе новую волну смущения, побежал по царевне глазами к ее сокровенному и увидел алый цветок на простыне.

– И девичество мое! Я все у тебя взял, Борис Годунов. Все.

Сказанное себе – сказано самой Вселенной. Для птицы есть силки, для слова – ни стрелы, ни стены. Слово – птица самого Господа Бога. Не напророчил ли? Взять счастье Годунова куда ни шло, но взять его несчастья?

Царевна спала. Дмитрий осторожно сошел с постели, прикрыл одеялом спящую. Оделся, положил поверх одеяла свое великолепное

ожерелье, в котором вступал в Москву. Сто пятьдесят тысяч червонных стоили эти камешки.

— Вот тебе в утешенье, царевна!

Вышел из покоев, послал за Петром Басмановым. Угощая вином, будто для того только и звал, спросил:

— А где сейчас Василий Шуйский?

— У себя во дворе.

— Был во дворе. Где он теперь, когда мы с тобой вино попиваем?

— поглядел на Басманова со значением, но тотчас снова наполнил кубки. — Люблю тебя, как брата.

— Ваше величество! — Басманов от глубины чувств припал к руке государя.

— Полно-полно, — сказал Дмитрий. — Завтра у нас трудный день. Скажи, не станут ли попы за патриарха Иова?

— Не станут, государь! Он ведь еще у Годунова просился на постой. Я его в Успенском соборе принародно Иудой назвал, тебя, государь, предавшим. Народ ничего, помалкивал. Знать, ты, государь, дороже людям, чем немощный патриарх.

И похвастал.

— Мой дед Алексей при Иване Васильевиче Грозном Филиппа из Успенского выволакивал, митрополита, я же выволочил патриарха! Басмановы, государь, великие слуги.

— Дарю! — Дмитрий сгреб на середину стола позлащенные кубки и тарелки, набросил на все это концы скатерти. — Забирай ради дружбы нашей. И помни: все милости мои к тебе истинно царские впереди.

Собор иерархов русской православной церкви, ведомый архиепископом Арсением, должен был исполнить волю царя Дмитрия, который пожелал видеть на патриаршем престоле архиепископа Игнатия. Игнатий был уж тем хорош, что первым из иерархов явился к Дмитрию в Тулу, благословил на царство и привел к присяге всех, кто торопился прильнуть к новым властям, ухватить первыми. И ухватили. Семьдесят четыре семейства, причастные к кормушке Годуновых, были отправлены в ссылку, а их дома и вотчины перешли к слугам и ходатаям нового царя.

Прошлое архиепископа Игнатия было темно. Шел слух, что он с Кипра, бежал от турок в Рим, учился у католиков, принял унию. Сам он, пришедши в Москву, в царствие царя Федора Иоанновича, проситель милостыни для Александрийского патриарха, назвался епископом города Эриско, что близ святого Афона.

По подсказке иезуитов Арсений предложил изумленному Собору возвратить на патриарший престол патриарха и господина Иова. По-

становление приняли, держа в уме, что Дмитрий-то и впрямь Дмитрий, коли не боится возвратить Иова из Старицы. Иов Гришку Отрепьева в келии у себя держал. А главное, гордыню потешили: решено так, как они хотели, столпы православия. И все по совести. Назавтра же, поразмыслив, дружно согласились с тем, что патриарх слаб здоровьем, стар, слеп и что покой ему во благо. Тем более, что мудрый государь позвал сидеть в Думу не одного патриарха, как было прежде, но с ним четырех митрополитов, семерых архиепископов, трех епископов.

Вот тогда и пришел к царю архиепископ астраханский Феодосий, сказал ему при слугах его:

— Оставь Иова тем, кем он есть от Бога! Не оскорбляй церкви нашей самозванной волей своей, ибо благоверный царевич Дмитрий убит и прах его в могиле. Ты же есть Самозванец. Имя тебе — Тьма.

Дмитрий Иоаннович выслушал гневливое слово серьезно и печально.

— Мне горько, что иерарх и пастырь слеп душою и сердцем. Слепому нельзя пасти стадо. Возьмите его и отвезите в дальнюю пустынью, под начало доброго старца. Может, прозреет еще.

Столь мягкое и великодушное наказание лишний раз убедило Собор в природной зрелости государя. А потому, радостно уступая монаршей воле, 24 июня патриархом единогласно был избран и поставлен по чину архиепископ Игнатий.

Теперь Дмитрию Иоанновичу можно было, не трепеща сердцем, совершив обряд венчания на царство.

— Я приду под своды Успенского собора чист, как агнец! — в порыве высокого хвастовства объявил он Ксении. — Я так жду мою матушку, драгоценную мою страдалицу.

Ксения, познав человеческие тайности, жила, как травинка на камне. Богу не молилась. Не смела. Трава и трава.

За матушкой Дмитрий Иоаннович послал юного князя Михаилу Скопина-Шуйского. Ради столь великой службы князю было пожаловано вновь учрежденное звание царского мечника — великого мечника.

Выбор пал на Скопина не случайно. Его дядя Василий Иванович Шуйский был взят под стражу еще 23 июня.

Когда Богдан Бельский, зарабатывая боярство, клялся перед всей Москвою, что царевич Дмитрий истинный, Шуйский на Лобное место не поднялся, дабы свидетельствовать в пользу сына Грозного. Уходя с площади, он еще и брякнул в сердцах Федору Коню и Костке Знахарю:

– Черт это, а не истинный царевич! Я Гришку-расстригу при патриархе Иове видел. Не царевич это – расстрига и вор!

Федор Конь был человек в Москве известный. Ставил стены и башни Белого Города, стены Смоленска, Борисову крепость под Можайском. Сказанное им – все равно, что из передней государя. Костке Знахарю тоже как не поверить, хворь рвет напрочь, не хуже гнилых зубов. На пядь под землею видит.

Уже через день слухи достигли Петра Басманова. Очутился Василий Иванович Шуйский с двумя братьями в Кремлевском застенке... Росточка боярин был небольшого, телом рыхл, головенка лысая, глазки линялые – бесцветный человечишко. Однако истинный Рюрикович! По прекращении линии Иоанна Грозного – первый претендент на престол.

Басманов с Шуйскими не церемонился. Пыгал всех троих, требуя признать, что собирались поджечь польский двор и поднять мятеж.

Василий Иванович, жалея себя, признал все вины, какие только ему называли.

Суд Боярской Думы, радея царю, назначил изменнику и его сообщникам Петру Тургеневу и Федору Калачнику смертную казнь, братьям вечное заключение.

Шуйский, слушая приговор, градом ронял слезы, кланялся и твердил:

– Виноват, царь-государь! Смилуйся, прости глупость мою.

Тургенева и Калачника казнили без долгих слов, под злое улюлюканье толпы. Казнь боярина – иное дело. На Красную площадь к Лобному месту Василия Ивановича провожал Басманов. Сам зачитал приговор Думы и Собора и, вручая несчастного палачам, торопил:

– Не чухайтесь!

С Шуйского содрали одежду, повели к плахе. Топор был вонзен нижним концом, и лезвие его сияло.

– Прощайся с народом! – сказал палач. Шуйский заплакал и, кланяясь на все четыре стороны, причитал тонко, ясно:

– Заслужил я казнь глупостью моей. Оговорил истинного пресветлейшего великого князя, прирожденного своего государя. Молите за меня пресветлого! Криком кричите, просите смилиостивиться надо мною!

Толпа зарокотала. И Басманов, севши на коня, крутил головой, ожидая, видно, приказа кончать делу. Потеряв терпение, крикнул палачам:

– Приступайте!

Шуйского подхватили под руки, поволокли к плахе, пристроили голову, но тут прискакал телохранитель царя и остановил казнь. Дьяк Сугупов, прибывший следом, зачитал указ царя о помиловании.

Шуйского, под облегченные крики народа, повезли тотчас в ссылку. Долго смотрел ему вслед поверх голов Петр Басманов, и такое он словцо шибкое палачам кинул, что те осоловели.

3

Скопин-Шуйский прислал гонца: везет царицу-старицу с большим бережением, до Москвы осталось два дня пути.

Для встречи с матерью Дмитрий Иоаннович избрал село Тайнинское. В чистом поле поставили великолепный шатер, дорогу водой побрызгали, чтоб не пылила.

Прозевать этакое зрелище мог разве что увечный да очень уж ленивый – вся Москва повалила в Тайнинское.

День 17-го июля выдался знойный. Дмитрий Иоаннович отирали белоснежным платком глазницы и шею. Скашивал глаза на толпу. Живая изгородь польских жолнеров и казаков Корелы казалась надежной. За спиной бояре, но и сотня телохранителей Маржерета.

«Что ж так долго тащатся? О эта торжественная езда!»

Разговаривать с кем-то сил нет, да и не ко времени они, разговоры.

Смотрел под ноги на бордовые, липкие от нектара цветы, на синий мышиный горошек.

Вдруг пошел какой-то шум. Он тревожно глянул направо и сразу налево. Толпа пришла в движение, потянулась в сторону Тайнинского, и он наконец посмотрел прямо перед собой и увидел облачко пыли, конных, карету.

Торопливо завел под шапку платок, отирая в единий миг взмокшие волосы, и подумал: «Надо будет уронить шапку».

Подтолкнул ее к затылку, дрожащими руками принялся прятать платок и не находил ему места. Выронил, сделал шаг вперед, потом еще и побежал, раскачиваясь тяжелым бабым задом. Откинул голову, шапка съехала назад и на ухо, упала, наконец. Он попробовал ее подхватить, но короткая рука промахнулась. Карету потерял из виду на мгновение, а она уже стоит, всадники вокруг кареты стоят и через отворившуюся дверцу на землю спускается по ступенькам высокая женщина в черном. Он все стоял, ожидая, чтоб она отошла от лошадей, от своей охраны – мало ли? – и, соразмерив расстояние, кинулся со всех ног, с колотящимся сердцем и шепча: «Мама! Мама!»

Она вся потянулась к нему, потянула руки, но обессилена, обмякла, только он был уже рядом, прижался потною головою к ее тугому, тучному животу. Тотчас вскочил, обнял и целуя в голову, все шептал и шептал:

— Мама! Мама!

Она ловила его руками, пытаясь задержать, рассмотреть. И рыдала в голос.

«Хорошо, — думал он, — хорошо!» — уводя ее, тяжелую, навалившуюся на него, в шатер.

Народ рыдал от счастья и умиления.

В шатре было прохладно, на столе яства и напитки. Он подал старице вишневого меда, сам хватил ковш квасу с хреном и сел на стул, закрывая на миг глаза и вытягивая ноги. Тотчас поднялся, посадил матушку в кресло и стоял подле, ожидая, что ему скажут.

Царица-старица молчала, нежность, назначенная зрителям, сменилась вялой усталостью.

— Для тебя, мама, отделяют палаты в Новодевичьем, — сказал он. — На первое время разместишься в Кремле, в Вознесенском.

Марфа не нашлась, что сказать, и говорить пришлось ему.

— Мы так давно не виделись. У нас еще будет время вспомнить прошлое. Память о безоблачном детстве прекрасна. Я охотно буду слушать тебя о тех далеких днях.

Краем скатерти вытер лицо и вдруг почувствовал нестерпимую тяжесть в мочевом пузыре.

— Прости меня, мама, Бога ради! — он скрылся за пологом, где была приготовлена для него постель, и оправился в угол, на ковер, изнемогая от блаженного облегчения.

Тугая струя мочи истончилась до струйки, но струйка эта никак не кончалась, и он, озабоченный приступом боязни, проткнул кинжалом отверстие в пологе и прильнул к нему глазом.

Толпа пребывала в умилении.

— Это все квасок, — сказал он, выходя из укрытия. — Скажи мне, ты всем довольна?

— Да, государь.

— Тогда идем на люди. Пора в дорогу.

Она проворно поднялась. Постояла... и пошла за полог.

Он слушал журчание, потирая длинной рукою загривок, откуда страх сыпал по его телу мурashki.

«Побывавшие в царях люди все умные, — сказал он себе, совершенно успокаиваясь и, поморщась, погнал прочь зорную мысль. — Коли не по крови, так по моче родственники».

Он шел рядом с каретой, глотая пыль из-под колес, почтительный, безмерно радующийся сын. Народ валил следом и по обеим сторонам дороги. Неверы были посрамлены и радостно каялись перед теми, кто опередил их верою, а поверившие сразу, со слуха, сияли, просветленные своею верой.

4

Через три дня после приезда в Москву царицы-матери Дмитрий Иоаннович короновался на царство. Да не единожды – дважды! В Успенском соборе по древнему обычаю, а в Архангельском по вновь заведенному. Над могилами царей Иоанна и Федора архиепископ Арсений возложил на голову царя шапку Мономаха, и была она ему впору. Шапка русская, а кафтан – польский. Подкрепляя себя русской силой, Дмитрий Иоаннович объявил боярство Михайле Нагому, родному брату царицы Марфы, своему, стало быть, дяде.

Одному дашь – другие в рот смотрят.

Выход недовольству своему Дума сыскала в поляках.

Дмитрий тому недовольству втайне был рад. Сподвижников, приведших его к престолу, следовало приструнить: царство – не военный табор. Да ведь и как русскому человеку не обидеться?

Едет поляк по Москве – не зевай. Слепого столкнет, сомнет и не обернется, и не потому, что бессердечен, но потому, что сам слеп от безмерной своей гордости. Пограбить тоже непрочь.

Уступая Думе, царь решился наказать одного, но так, чтоб другим неповадно было. Взяли за разбой шляхтича Липского, судили по-московски. Приговорили к битью кнутом на торговой площади.

Москвичи обрадовались – есть-таки управа на царевых рукастых слуг! Поляки же рассвирепели: Как?! Шляхтича?! Принародно?! Батогами?!

Кинулись отбивать товарища у приставов. Приставы за бердыши, поляки за сабли. Толпа приняла сторону своих. Мужики давай оглобли выворачивать, бабы в поляков – горшками. Но воин есть воин. Грохнули пистоли. Напор! Побежали москали, не устояв перед шляхетскою отвагою! Бежали покрикивая: «Наших быт!», и уже не сотни – многие тысячи собрались и пошли на ненавистных пришельцев. Умирали, но и били до смерти.

Дмитрий Иоаннович, услышав о побоище, побелел, закусив нижнюю губу молчал, глядя в ладонь, будто на ней написано было что надоено делать.

– Недели после коронации не прошло! Подарочек! – крикнул по-мальчишески, сорвавшимся от обиды голосом, но приказ отдал ясно, рубя короткой рукою воздух. – Посольский двор, где укрылись обид-

чики народа, окружить пушками! Выслать глашатаев с указом моего царского величества: виновные в избиении народа будут наказаны. Если шляхта не подчинится указу, не выдаст зачинщиков, то вот мое первое и последнее слово – снести Посольский двор пушками до самой подошвы!

Разыграв огорчение, покинул тронную палату и, оставшись наедине с Яном Бучинским, попросил его дружески:

– Сам езжай к нашим людям на Посольский двор. Скажи, пусть вышлют и выдадут страже троих. Обещаю: волоса с их голов не упадет. Скажи им всем также: ныне Москва – овечка, но если она станет бараном – никому из нашего брата несдобровать. Бойцовый баран яростью самого вепря превосходит. Я знаю это. Я видел.

На следующий день Дума, хоть и почтительнейше, но твердо приступила к государю, умоляя решить вопрос с иноземцами на Москве. И с казаками!

Бояре говорили друг за другом, по второму разу, по третьему, а государь сидел безучастный, и горькая складка просекла его лоб, чистый, совсем еще юный.

Остаться один на один с Москвией – не смертный ли приговор себе подписать? Нагих не любят. Всей опоры Басманов для прибывший из Грузии Татищев. Но что делать? Против притчи не поспоришь и плетьью обуха не перешибешь.

Засмеялся вдруг.

– Что вы так долго судите да рядите? Разве дело не ясное? Гусаров и жолнеров за то, что порадели мне, законному наследнику отцовского стола, за то, что искоренили измену Годунова – наградить и отпустить. То же и с казаками.

Воззрилось боярство с изумлением на государя, ишь как все у него легко! Да ведь и толково!

– У меня нынче есть еще одно дело к Думе, – сказал государь, становясь строгим и величавым. – Мы в последнее время все о казнях думали, а пора бы и миловать. Где грозно, там и розно. Хоть и говорят, что ласковое слово пуще дубины, я за ласку. Посему вот мое слово, а от вас приговора жду: Ивану Никитичу Романову, гонимому злобой Годунова, вернуть все его имение и сказать боярство. Старшего его брата, смиренного старца Филарета – о том я молю тебя, святейший патриарх Игнатий, – следует почтить архиерейством.

Улыбающийся патриарх Игнатий тотчас поднялся с места и, показывая свою грамоту, объявил:

– О мудрый государь! А я тебя хотел просить о том же, вот моя грамота о возведении старца Филарета в сан ростовского митрополита.

— Рад я такому совпадению, — просиял государь. — Федор Никитич был добрым боярином и в монастырской своей жизни заслужил похвалу от многих. Каков до Бога, таково и от Бога.

На радостях никто не вспомнил о митрополите Кирилле, которого сгнояли с ростовской митрополии ни за что ни про что. Может быть, и вспомнили бы, но царь Дмитрий сыпал милостями только рот разевай: двух Шереметевых в бояре, двух Голицыных в бояре, туда же Долгорукого, Татева, Куракина. Князя Лыкова в великие кравчие, Пушкина в великие сокольничье.

— Я прошу Думу вспомнить еще об одном несчастном, — продолжал Дмитрий Иоаннович, — о всеми забытом невинном страдальце, о царе, великому князе тверском Симеоне Бекбулатовиче. Его надо немедля вернуть из ссылки и водворить на житье в Кремлевском дворце. Он выстрадал положенные ему царские почести.

Дума снова была изумлена широтою души государя и совсем уж изнемогла, когда было сказано:

— Шуйских тоже надо вернуть. Они сами себя наказали за непочтение к царскому имени. Надеюсь, раскаянье ихшло от сердца. Мне незачем доказывать всякому усомнившемуся, что я тот, кто есть. Шапку Мономаха Бог дает. Он дал ее мне. А теперь обсудите сказанное, у меня же приспело дело зело государское — надо испытать новые пушки.

5

Пушки стояли на Кремлевском холме. Государь явился к пушкам всего с двумя телохранителями.

— А ну-ка показывайте, чем разбогатели.

Две пушки были легкие, а третья могла палить ядрами в пуд весом.

Дмитрий Иванович велел поставить цели. Пушки зарядил сам, сам и наводил, слоняя палец, определяя силу и направление ветра. Три выстрела — три глиняных горшка разлетелись вдребезги.

— А теперь вы! — приказал государь. — Пушки отменные.

Когда все три пушкаря промазали, поскучнел, но тотчас окинул цепким взглядом всех, кто был при пушках. Подозревал самого молодого.

— Видел, как я навожу?

— Видел, государь!

— Наводи.

Получился промах.

— Еще раз наводи!

Пушка тявкнула, горшок рассыпался.

– Молодец!

Вытащил кошелек.

– Всем, кто попадет с первого раза полтина, со второго – алтын.

Стрельба пошла азартная. На три рубля пушкари настреляли.

– Будьте мастерами своего дела, и я вас не оставлю моей милостью. Слава государей в их воинах. Без доброго, умелого воинства государства не только не расширить, но и своих границ не удержать. Вы – моя сила, а врагам моим – гроза.

Пахнувший порохом, веселый, счастливый вернулся но дворец обедать. После обеда, пренебрегая древним обычаем – полагалось поспать хорошенько – отправился в город, в лавки ювелиров.

Ходить без денег по лавкам – все равно что на чужих невест глязеть. Поморщась, повздыхав, Дмитрий Иоаннович заглянул-таки к своему Великому секретарю и надворному подскарбию, к Афоньке Власьеву, а тот заперся, притворяясь, что его нет на месте. Дмитрий, распаляясь, двинул в дверь ногою, задом бухнул.

– Афонька! Я тебя нюхом чую! Отведаешь у меня Сибири, наглая твоя рожа!

Заскрежетал запор, дверь отворилась, и благообразный муж, умнейший дьяк царей Федора и Бориса, предстал пред новым владыкою в поклоне, со взглядом смиренным, но твердым.

Гнев тотчас улетучился, и Дмитрий, заискивая, косноязычно принялся нести околосицу.

– В последний раз, друг мой Афоня! Господи, что же ты некрепкий такой? В другой раз приду – не пускай. Сибирью буду грозить, а ты не бойся. «Тебе нужна Сибирь, ты и поезжай!» Скажи мне этак, я и опамятуюсь. А сегодня изволь, дай, как царю. Твоя, что ли, казна? Не твоя. Я, Афоня, обещал одному купцу. Он из-за моря ко мне ехал. Можно ли царю маленького человека обмануть? Ведь стыд! Стыд?

– Стыд, – вздохнул, соглашаясь, Власьев, покрестился на Спасов образ, отомкнул ларь с деньгами. – Казна, государь, едва донышко покрывает.

– Ничего. Сегодня нет, завтра будет.

– Да откуда же?

– Вы-то на что? Дьяки думные. Секретари великие! Шевелить надо мозгами! Такая у вас служба – мозгами шевелить!

Власьев достал мешочек с монетами и призадумался. Дмитрий взял мешочек одною рукою, короткой, а длинною залез в ларец и хапнул сколько хапнулось.

– Пощади, государь!

— Сказал тебе, думай! Думай! Дураки какие-то! Одни дураки кру-
гом! — и не оглядываясь, опрометью выскочил к своим телохраните-
лям. — Пошли, ребята!

6

Блестящие камешки завораживали.

— Не чудо ли? — спрашивал своих телохранителей Дмитрий. — На
один этакий камешек большая деревня может сто лет прожить припе-
ваючи.

Купцы-персы, прослышиав о мании русского царя, привезли и то,
что в небе сверкает, и то что в океане тешит морского царя. Из всего
великолепия Дмитрий безошибочно избрал самое драгоценное. Не
спрашивая цены, сгреб с прилавка три дюжины корундов, от кровяно-
красных до бледно-розовых, от небесно голубых до глубинных сине-
черных цветов морской пучины, от нежно-золотистых утренних до
оранжево-закатных предночных.

Дмитрий выложил все деньги, которые были с ним, но камешки
оказались куда как дороже!

— Я даю тебе вексель! — истовый покупатель не мог отступиться
от такой красоты.

Подписал с царскою небрежностью огромную сумму, скинув
четвертую часть цены. Купец сокрушенно покачал головой и отодви-
нул от себя деньги и вексель.

— Будь по-твоему! Вот тебе еще один! — Дмитрий подписал ровно
на запрос, но прихватил с лавки прозрачно-зеленый кристалл аквама-
рина величиною с пирожок. Купец был согласен с такою добавкой и
от себя поднес государю топаз с гусиное яйцо.

В следующей лавке Дмитрия поразили голубые бериллы.

Потом он покупал жемчуг, раковины, кораллы, нефрит.

Векселя слетали из рук его, легкие, как птицы, и такие же безза-
ботные.

Напиравшись душою, с дрожащим от волнения сердцем —
столько красоты уносит с собою, — Дмитрий устремился в недра база-
ра, в люди.

Его телохранители едва поспевали за ним, теряя в толпе.

И стоп!

Два мужика: борода к бороде, кулачищи над головами, глаза
злые.

— Чо?! — орал один.

— Чмокну по чмоканке, то и будет! — А чо?

— Да ничего! Врать — не колесо мазать!

—Чо! Чо! Чо! — чокающий северный мужик попер на обидчика, южного мужика, грудью да в грудь и уперся. — Ты между глаз нос унесешь, человек и не заметит.

—Ах ты злыдня!

—Ну, — сказал Дмитрий Иванович, и оба драчуна оказались на воздухах, в огромных ручищах царя. — Кто в моем царстве скандалит?

Мужики, поставленные наземь, обмерли от страха, но царь нынче был весел.

—Чтоб зло забылось, пошли в кабак

У кабатчика волосы дыбом стали — царь! А царь сел на пенек спиной к стене, придинул к себе пустой стол и спросил согнувшегося до земли кабатчика, показывая на мужиков:

—Не попотчуешь ли меня и моих приятелей? Им чего позабористей, а мне квасу, — и шепнул своим телохранителям: — Ребята, нет ли у вас какой денежки? Что было, я в лавке оставил.

Всплощенная кабацкая прислуга уставила царев стол всем, что наварено было, напарено, нажарено.

Мужики почесывались, посапывали, а руки держали под столом, не смели ни пить ни есть. Тогда государь наполнил чарочки, выпил и закусил блинами, завертывая в них рыбьи молоки и хрен.

Разговор, однако, с места стронулся только после третьей, а полился, набирая крепости, когда одна посудинка опустела, а другая, радуя мужичьи глаза, была тотчас поставлена.

—Добрые крестьяне мои, — спросил наконец Дмитрий о заветном, — скажите мне всю правду про вашу жизнь. Бояре-то за мной ходят, как телки за коровой. Я туда, я сюда, а они меня под руки да за столы, да к иконам! К постели и то водят. — И пожаловался: — Про баню каждый Божий день талдычат. Попарься, государюшка. Словно важнее бани дела нет. Хотите, чтоб царь за вас стоял, так не молчите. Мне про ваши беды важнее знать, нежели веником задницу нахлестывать.

—А чо? — спросил северный мужик. — Цари матерны слова тоже, что ль, говорят?

—Какие матерны? — удивился Дмитрий.

—А про задницу?

—Мели Емеля! — осерчал южный мужик. — Жить, государь, можно. Да ведь служилые твои по деревням рыщут, беглых ищут. Вроде бы уж обжились, а тут хватают, тащат на пустоши, на голое место, на голодную жизнь.

—А за сколько ты верст от старого своего жилья осел? — спросил царь, покручивая нос-лапоток.

— Да верст, небось, за сто, а то и за все двести! — выпалил мужик. — Не все ли равно!

— А вот и не все! — сказал царь. — Коли ты ныне живешь за сто девяносто девять верст против прежнего, правда на стороне прежнего хозяина, а был умен за двести утечь, за триста, то — тебя уже не тронь. За тебя и новый хозяин постоит, и я за тебя постою.

— Неужто верста версте рознь?

— Версты те же! Да только на двухсотой версте закон — за тебя, а на сто девяносто девятой — за твоего прежнего хозяина. Таков мой указ, вам, мужикам, в защиту, во спасение.

— А Юрьев день-то чо? — спросил северный мужик.

— Что он тебе дался, Юрьев день?! — вытаращил озлившиеся глаза Дмитрий Иоаннович. — Юрьев день тебя, что ли, кормит? Вся бедность русская от него, от вольного дня. Где трудно, там вовсе руки опустят и ждут своего дня, когда можно перебежать на иное место. Тараканье это дело из избы в избу бегать.

— А чо сидеть? — вспылил северный. — Чо сидеть, коли господин хуже Верлиоки? Как ни работай — все он себе заберет и все по миру фукнет. Сам гол, и люди его босые. Тогда чо? Где правда?

— Я вчера в Сибирь послал людей моих ясак собирать, — сказал Дмитрий, глядя чокающему мужику в глаза. — Бедных людей приказал льготить. Все сыски с бедных запретил и заповедал. Разживутся люди, сами заплатят. Я пришел к вам, чтоб все вы жили без всякого сумнения, в тишине, в покое. Вы разживетесь, и я богат буду! Вы исхудаете, и я буду тощ, как все. Это и есть правда. Я в Путивле с войсками долго стоял. Путивльцы на меня поизрасходовались. Не скучные они люди! И я их доброту не забыл — десять лет им жить без оброка, добра наживать.

Пьяный человек, ничком лежавший на столе, разбуженный все возрастающим голосом государя, — кабак примолк и слушал, затая дух! — поднял голову, и Дмитрий Иоаннович замер на полуслове.

— Корела?! Ты?

Знаменитый атаман, гроза Годунова и всего стотысячного московского войска, до того опух, что ни глаз, ни лица.

— Госудааарь! — поднял Корела непослушные руки, вскачивая на неверные ноги и потому тотчас валясь, да мимо пенька.

Выполз из-под стола, с четверенек поднялся и стоял, опустив голову, обливаясь слезами.

— Виноват... Виноват.

Дмитрий подошел к нему, взял за руку, уложил на лавку, под окнами.

— Отдохни, Корела — верный слуга.

Достал из-за пазухи жемчужное заморское ожерелье, а на нем еще одно, запутавшись — положил Кореле на грудь.

— На опохмелье.

Пошел из кабака прочь, взгрустнувши, всем тут близкий, свой человек.

И вдруг отпрянул от двери, стал за косяк.

В дверь просунулась голова стрелецкого полковника из царевой стражи.

— Государя не было?

— Не было! — дружно сбrehали кабацкие люди.

— Заскучали бояре без меня, — сказал Дмитрий и заговорщики подмигнули, хитрый, рыжий. Лапоточком носом перешмыгнул и — на волю!

Уходя подальше от своей же всполошенной охраны, юркнул мимо купеческих рядов, перебежал через Москворецкий мост и отправился в сторону Царицына луга.

Красной дичью, за которой бегают столько охотников, не долго себя воображал. Глянулась ему мимошедшая боярышня, и вот уж сам — охотник

Боярышня в голубой ферязи, голубой заморской шали, а глаза у нее самого моря голубее.

Семенит, прибавляя шагу, а Дмитрий со своими двумя чучелами не отстает. Ближе десяти шагов не подходит, но и не отстает. В отчаянья остановилась дева, обернулась. Гнев звездами из глаз. Замер и Дмитрий. Не налюбуется. А дева заплакала, лицико в ладошки и бегом!

Как лев, обернулся Дмитрий к одному из телохранителей:

— За ней, опрометью! Потеряешь — голову снесу! И чтоб ночью у меня была.

7

А потом государь валялся на лужку, не хуже младенца, у которого ни думы, ни заботы.

Кузнечики вовсю стригли траву, да ни одна травинка не повалилась. Над кружевом Москвы стояли белые башни облаков. И под этими облаками мелькали стрижи — дерзкая милая птица. Государь вздрогнул на мгновение и пробудился удивленный.

— Чижом себе приснился. Из клетки вылетел, а в клетку дверцу не найду.

С Царицыного луга отправились в сторону Конюшенного двора, и уж, конечно, Дмитрий не миновал лошадиного торга.

Поглядеть в тот день было на что. Выбрал глазами белолобую, черногубую, с блестящими черными копытами, мышастую, в серебряных снежинках, двухлетку.

Завороженный дивной живой красотою, подошел к хозяину, к рыжебородому казаку.

— Оседлай!

Казак узнал царя, поклонился.

— Великий государь, нельзя. Лошадь необъезженная.

— Седлай! — а сам рукою к морде уже тянялся. Щелк! — жемчужные зубы сомкнулись в вершке от ладони.

— Государь, совсем дикая кобыла! — струсил казак.

— Седлай! — тихонько, властно повторил Дмитрий и положил тяжелую руку лошади на спину.

Кобыла от гнева дрожала и шипела по-змеиному, когда дюжина конюхов водрузили на нее седло и затянули подпругу.

Казак умоляюще встал перед царем на колени, но тот вырвал у него из рук узду и с криком «Разбегайся!» прыгнул лошади на спину, непостижимо попадая ногами в стремена.

Словно гордая дева, ненавидящая насильника, по-человечески кричала серая лошадь. Вскидывала задом так, что доставала копытами неба, кидалась в стороны, кружила, шла заячьими скачками и, вся в пене, с глазами тоскующей лебеди, замерла посреди двора, усмиренная мужскою, уверенной в своей правде, волей.

Дмитрий спрыгнул на землю, взял лошадь ладонями за морду и поцеловал в черную ее губу.

— Сколько, казак, хочешь за свое чудо?

— Пятьдесят золотых!

— Ого! — удивился Дмитрий, но тотчас достал вексель. — Вот тебе двадцать. Деньги получишь у моего казначея.

К государю подошел Маржерет.

— Ваше величество, мы с ног сбились. Вы совершенно потеряли чувство опасности.

— Француз, милый! Я же среди своих, русских людей. Они все любят меня! — и садясь на поданную охраной лошадь, крикнул торговцам лошадьми. — Эй, ребята! Слава вам, добрым моим подданным!

— И тебе слава! — весело откликнулась толпа. — Уж так, как ты, ни один в целой России на коне не сидит.

— Вот видишь! — смеясь, сказал Дмитрий Маржерету. — Все на меня смотрят! Все любят. Знаешь, сколько лет нагадала мне юродивая Авдотьица? Тридцать четыре года быть мне на царстве!

И, меняясь в лице, губы ниточками, в глазах мутно, шепнул:

— Ты корабль готовь! Чтоб все в нем было, и еда, и питье, и деньги — мешками. На следующее лето погльвем с тобою во Францию, к французскому королю в гости.

Искала стражка государя ради важного дела: прибыл из Польши гонец с похвальным письмом ко всему российскому рыцарству от сандомирского воеводы Юрия Мнишека, доброго гения Московского царя.

Бояре, как всегда обострившись после обеда, сидели, позевывая, подремывая. Но московская жизнь менялась. Письмо только еще пришло, а ловкие умные секретари царя Дмитрия ответ уже составили. Ответ был предложен на подпись боярам Мстиславскому и Воротынскому, которые с написанным согласились и зачитали письмо царю и Думе. Ясновельможный пан выставлял боярству свои несомненные заслуги перед государем, он, Мнишек, — есть начало и причина восхождения на московский стол природного царя Дмитрия. Бояре были согласны. За то, что ты служил и промышлял нашему государю с великим радением «и впредь служить и во всем добра хотеть хочешь: и мы тебя за это хвалим и благодарим».

— Я рад, — сказал Дмитрий, — доброму слову великого боярства, сказанному безупречному рыцарю, пану Мнишеку. Дружество, возникшее между польскою шляхтою и русским дворянством — угодно Богу и замечательно для обоих государств, Польского и Московского.

Дмитрий взвинтил себя, встал с трона, и вот уже его глаза, такие непроницаемые, гасящие свет, блестали. Лицо утончилось, нежный, девичий румянец тронул серовато-белую кожу.

— О знатные господа мои! Соединяясь, русские и поляки представят пред миром силой невиданной в веках. Не уничтожающей и опирающейся, но дающей живительные токи для всходов вечного мира. Чтобы торжествовал мир, надо уничтожить зло войны. Война — это Турция. Я хочу, чтобы к королю Сигизмунду поехал человек мудрый и терпеливый, наш Великий секретарь Афанасий Власьев. Воевать в одиночку — ввергнуть себя в бездну лишений и неизвестности. Воевать в союзе — значит добыть победу. Победа над турецким султаном избавит Россию от ее вечного страха перед крымцами, я уж не говорю о приобретении свободных земель и моря.

Дмитрий постоял, окидывая орлим взором заслушавшихся бояр: пронял тутодумов. Но только он сел на свое место, ему сказали:

— Великий государь, ваше царское величество, а ты ведь опять взялся за свое.

— Что такое? — удивился Дмитрий. — Ты о чем это, Татищев?

— Да о твоих векселях, великий государь.

— Каких таких векселях?

– Да о тех, что ты дал купцам-персам и казаку.

– Не давал я никаких векселей.

– Врешь!

– Ей-Богу не вру! На покупки я деньги у Власьева нынче взял, Скажи, Афанасий! Брал я у тебя нынче деньги?

– Брал.

– Ну, вот! Ты, Татищев, напраслину на меня возводишь.

– Совсем ты изврался, великий государь. Вот они твои векселя. Их уже представили к оплате. А платить нечем. Всю казну ты порас-тряс, великий государь.

И тут выступил боярин Мстиславский.

– Векселя надо не принимать. Коли мы начинаем войну с турка-ми, денег нужно вровень с Иваном Великим, а у нас в сундуках дно просвечивает.

– За деньгами я в Сибирь послал, – отмахнулся Дмитрий. – Не хорошо царя вруном величать. Приедут послы, а царь у вас – врун.

– А ты не ври! – посоветовал Татищев.

Дмитрий передёрнул плечами и, глядя поверх голов, сказал вла-стно, четко:

– Ян Бучинский, ты повезешь ответное письмо наисветлейшему пану Мнишку. Пусть поторопится с приездом. А ты, Афанасий, тоже проси короля Сигизмунда, чтоб король дал свое согласие на отъезд из его пределов невесты моей Марины Мнишек.

С Бучинским у Дмитрия все уже было обговорено: старик Мнишек должен был выхлопотать у католического легата соизволение для католички Мариной во время венчания на царство принять причастие из рук православного патриарха, и чтоб ей позволено было соблюдать иные русские обычаи въявь, а католические втайне. Русские постыятся в среду, католики не едят мяса по субботам. Русские женщины прячут волосы под убрус, польки же похваляются красотою причесок, баня для русских – вторая церковь.

Дмитрий сидел, опустив глаза, и почти не слушал бояр, которые, по своему обыкновению, принялись истолковывать услышанное от государя. Он снова почувствовал страх. Ему здесь было страшно, в Кремле, не на базаре. Здесь! Те, кто уличают его во лжи, соглали сами себе, своему народу, своему Богу, своему будущему и своему про-шлому.

Он желал видеть около себя поляков, блестательных полек. Он желал снова быть в походе, в боях, лишь бы не в Тереме, где из каж-дого угла на него смотрят. В углу никого, но смотрят. Уж не стены ли здесь с глазами?

Посольства уехали. Быстро легла зима. Осенняя тьма растворилась в белых просторах, ночи стали серебряными, дни алмазными.

Дмитрий снова ожил.

В подмосковном селе Вяземах по его скорому приказу выстроили огромную снежную крепость.

— А не поиграть ли нам в войну? — спросил своих бояр Дмитрий Иоаннович. — Чтобы брать настоящие крепости, нужно хотя бы уметь игрушечные одолевать. Поглядите на себя, мешки, а не люди. Жирные, вялые. А ведь все вы — воеводы. Завтра выезжаем в Вяземы, я с моими телохранителями сяду в снежной крепости, а вы будете ее воевать.

— Может, государь сначала покажет нам, неумелым, как это делается? — спросил неробкий Михаил Татищев.

Годунов почитал Татищева за ум и деловитость. Посыпал его к Сигизмунду объявить о своем воцарении. Мудрецом и воином проявил себя Татищев в Грузии. Привел под царскую руку Карагалинского князя Георгия, исполнив заодно тайное поручение найти для царевича Федора невесту, а для царевны Ксении жениха. Невесту Татищевглядел в дочери Георгия, в десятилетней Елене, а жениха в сыне Георгия, князе Хоздрое, которому было двадцать три года. Елену отец не отпустил, пусть в возраст войдет, а князь Хоздрой отправился в Россию, и быть бы свадьбе, когда б того Бог пожелал.

Живя в Грузии, Михаил Татищев сразился с турками. Всего сорок стрельцов участвовало в битве под Загемой, но именно их дружный залп не только остановил турецкое войско, но обратил в бегство.

— Ты прав, Михаил, — согласился Дмитрий с Татищевым. — Бояре пусть будут в осаде, наступать буду я. Драться снежками.

С тремя ротами своей охраны, где командирами были француз Маржерет, шотландец Вандеман и ливонец Кнутсен, Дмитрий расположился у подножия сверкающей твердыни.

Снежный замкнутый вал, сложенный из огромных катанных глыб, взыгрывал высотою и был с кремлевскую стену. Хрустальные башни из плененного голубого льда сверкали алмазными зубцами и жители Вязем толкались у изб, дивуясь на чудо, которое сами и сотворили по воле царя для его царского величества потехи.

Завороженный, как мальчишечка, согли только и не достает до полного восторга, стоял перед сказочным замком царь Дмитрий.

Он стоял один, перед сверкающей белой горою, под взглядами тех, на кого вышел.

Вся Дума, все князья с княжичами, вся старая домовитая Русь взвирала на него с потешной стены.

— А царевич-то в Угличе каждую зиму крепости на Волге ставил?
— сказал боярину Василию Шуйскому, только-только привезенному из ссылки, боярин Михаил Татищев. Спросил и дышать перестал, ожидая ответа.

Промолчал Шуйский. Снежки ощупывал, лежащие перед ним горкою. Глазки кроличьи, красные, реснички поросячы, как щетинка. Личико остренькое, ни ума в нем, ни осанки. Положи ничто — оно ничто, поставь ничто — оно ничто. Фу! — и весь сказ.

Человечек внизу поднял вдруг руку и что-то закричал весельм звонким голосом.

— Чего? — не рассыпал князь Василий, встрепенувшись и обращая свою куриную головку к Татищеву.

— Говорят, что мы есть Азов!

— Азов?! — удивился Василий. — С чего бы-то?

— На Азов собираемся. Лета ждем. Придет лето, и айда!

Дмитрий и впрямь звал выскочившие из снежных окопов иноzemные свои роты — на Азов.

— Возьмем нынче — возьмем и завтра. Нынче потеха — завтра дело. Азов! Азов!

Размахнувшись длинной рукою, пустил тугой снежок в глазевших со снежной стены бояр.

И точно в лоб! И кому? Бедный Василий Иванович затряс куриную головою, оглушенный расшибленный. Сел. Заплакал.

Многоязычный радостный рев одобрил меткость вождя. Армия Дмитрия, осыпаемая снежками, упрямо полезла на вал, отвечая редко, да метко.

Дмитрий, прикрываясь локтем, озирал наступающих, их трудную медлительную поступь, ведь чтобы сделать шаг, нужно носком сапога пробить лунку для опоры. Засвистал вдруг в два пальца, тонко, пронзительно. И когда все посмотрели на него, кинулся вверх, как огромный паук, опираясь на стену руками и ногами. И вот она вершина. Дмитрия пхнули валенком в самое лицо. Опрокинулся, отпал от стены, но кошкой, кошкой перевернулся в воздухе и заскользил вниз, лицо держа к опасности.

— На Азов! — крикнул он снизу, сия озорной улыбкой. — Бей брюхатых!

Блистающая туча прибереженных для решительного натиска, оледенелых снежков обрушилась на головы бояр.

Где же почтенному устоять перед грубой молодостью? Бояре были сметены с вала, сшиблены вовнутрь крепости, в глубокий снег.

— Хорошо! — кричал Дмитрий, стоя под стягом на валу. — Всем по чаре и по девке!

И хохотал, глядя на разбитые в кровь рожи бояр.

— Давайте-ка еще раз! Трубач! Отбой! Приготовиться ко второму приступу.

Когда спустились с вала, к Дмитрию подбежал красный, потный Басманов.

— У бояр ножи! Озлились — страсть, хотят насмерть резаться.

Разгоряченное, счастливое лицо Дмитрия тотчас осунулось, стало серым. Повернулся и пошел к санкам.

— Домой! Всем домой!

Вечером новый деревянный дворец впервые принимал гостей. Золоченые паникарила, хрустальные фонари. Стены сплошь обиты, то золотою парчой, то бархатом, то теснеными кожами или шкурами зверей.

В парадной зале от стены к стене вереница высоких узких окон, украшенных изнутри и снаружи деревянною резьбою. Стены и потолок в голубых шелках, с россыпью цветов, таких живых с виду — не хочешь, а потрогаешь.

Под великолепными стягами на возвышении новый трон, — весь в огне драгоценных каменьев, но легкий, — жар-птица, опустившаяся в столичном граде Москве.

Дмитрий, в розовых, шитых розовым жемчугом сапогах с высоченными каблуками, в розовом кафтане, сверкающем розовыми каменьями, в высокой собольей шапке.

В конце каждого танца весь зал низко кланялся государю, и он, принимая поклонение, приветствовал гостей поднятием обеих рук с раскрытыми ладонями.

Вдруг посреди новой мазурки Дмитрий вскочил и бросился в ряды танцующих.

— Шапку! Шапку! — он стоял перед огромным поляком, посмевшим явиться в залу в головном уборе. — Я снесу твою голову вместе с твоими дурацкими перьями.

Побледневший пан снял шапку, поклонился.

— Он только что прибыл из Варшавы, государь! — подсказали Дмитрию. — Он не знает твоих, государевых, установлений.

— Я сам знаю, что он знает! — рявкнул Дмитрий. — А ну-ка скажи, каков мой титул?

– Наииснейший, непобедимейший монарх Божьей милостью император, великий князь всея России, цесарь...

– Твои знания достаточны, – Дмитрий улыбнулся, улыбнулись и все кругом, засмеялся, и все засмеялись. Легонько ударил по плечу провинившегося. – Служи мне, и будешь богат, знатен, счастлив.

Быстро вышел из залы. В боковой, совершенно еще пустой комнате зашел за изразцовую печь, повернул прибитые к стене лосинные рога, и перед ним отворилась потайная дверь. За этой дверью его ожидали только что доставленные из города для утешения и радости юные девы и зрелые красавицы. Они были уже приготовлены для встречи государя, всей одежды – прозрачные покрывала на плечи.

– Сегодня в Вяземах я брал приступом снежную крепость, – сказал Дмитрий сурово и властно. – Наемный сброд легко побил и скинул со стен лучших людей России. Я спрашиваю вас, разве это лучшие люди, если они не знают воинского искусства и не могут постоять за себя? Я один возьму сейчас вас всех! Вы нарожаете мне воистину сильных и мужественных людей. Пейте вину, веселитесь. А ты, черноокая, первая докажи государю, что любишь его.

9

Одна затея сменяла другую. На Москва-реке на льду поставили гуляй-город, тотчас прозванный «Адом». Ряды телег, соединенные цепями, превращались в подвижную крепость – излюбленное оборонительное сооружение поляков и казаков. Телеги закрыли высокими деревянными щитами, а на этих щитах живописцы Оружейной палаты намалевали рогатые рожи, зверины осколы, лапы с когтями, кочережки, щипцы, ухваты – и все это в языках пламени. Воистину ад!

В щитах были проделаны амбразуры, из амбразур поглядывали серьезным оком пушки.

Пошла потеха для всей Москвы. Московские дворяне обороныли табор, польские роты дворцовой стражи брали его приступом.

Дмитрий, сидя возле окна своего нового дворца, высокого, поднятого над кремлевскими стенами, наблюдал за военной игрой.

– Сильны, как медведи, но ничего не умеют, – без досады сказал Дмитрий собеседнику патеру Савицкому. – Для того я и послан Богом к ним, чтобы научить умному.

Патер прибыл к Дмитрию тайно: католическая церковь ждала, когда же ее ставленник, исполняя тайный договор приступит к обращению России в католичество.

– Вы сами можете видеть, – продолжал Дмитрий, – в подобных играх я и в войске начинаю с малого. Дворяне перенимают польское

военное искусство, переимут дворяне – переимут и стрельцы. Так и с религией. Я согласен с вами: иезуитский коллегиум в Москве необходим. Я уже отдал распоряжение приглядывать способных к наукам детей, которых всех возьму на свое царское содержание.

И вскочил, радостно хлопнув в ладоши.

– Отбросили! Отбросили и погнали! – и глянул на патера, да так, будто окатил из ушата ледяной водой. – Радуюсь, что русские бьют мою польскую стражу. Наука идет на лад. Ваша наука. Только хорошо ли это, что мои бьют сугубо моих.

Патер молча перекрестил Дмитрия. Он был молчун, этот Савицкий. Дмитрию приходилось самому заводить и вести разговоры, так оно его тревожило, умное иезуитское молчание.

– Я очень прошу прислать мне список государств и городов, которые изъявили бы желание принять наших юношей для обучения наукам и теологии. Я готов направить в Европу тысячи моих надежд. Робкий Годунов не посмел послать за науками более десяти человек, я пошлю тысячи. Тогда и можно будет говорить о преобразовании византийского православия в римское католичество.

Когда патер удалился, Дмитрий сказал Басманову, хотя тот и не был во время беседы. На всякий случай сказал:

– Спят и видят, что мы папе римскому поклонились, Сигизмунду зад целовали. А мы у них еще всю Западную Русь отхватим. Помяни мое слово! Пойдем с победою с турецкой стороны да и завернем ненароком.

Басманов слушал царя вполуха, у царя что ни день, то новый проект.

– Государь, я пришел к тебе об одном чудовском монашке сказать.

– Так говори!

– Скачет, как заяц, по церквам и с папертей говорит, что видел тебя и ты есть Григорий Отрепьев. Что он де тебя хорошо знает, грамоте тебя обучал.

– Я учителей за морем ищу, а их дома хоть отбавляй. Так давай отбавим. – И стал черным. – В прорубь негодяя! В черную, в ледяную, навеки!

Поднял лицо – смеется, а в глазах ужас зверя.

– Чудовских болтунов – в Соловки! Всех! Одного игумена Пафнутья не трогай. Он человек умный. Других монахов наберет, лучше прежних. Монахам молиться надо, а они болтают. Кыш сорок из Москвы! Кыш!

И засмеялся. Хрипло, нехорошо.

В белой епанче поверх белой шубы, в белой песцовой шапке, в белых сапогах он стоял со своими белыми телохранителями на белом снегу и глядел сверху, как на льду Москва-реки суетятся люди. Прорубь он приказал вырубить, чтоб бадью можно было опустить.

На утопление государева недруга чудовского монаха были приведены для вразумления еще четверо, все ретивые, памятливые.

С монаха сняли черную рясу, чтоб лишних разговоров не было, коли где, когда всплынет. Стали обряжать в саван. Монах корчился, не давался, тогда его толкнули в прорубь в чем мать родила.

И ни звука.

Дмитрий в струнку тянулся, словно ждал голоса, с того света, что ли?

Ни звука.

И тут запрчитали, забубнили молитвы те, кого вразумляли. Проклятья зазвенели, круша ледяной воздух.

Казнью распоряжался Басманов. Его голоса не слышно было, но черные, портившие белый снег птицы стали убывать и убыли.

Вершившие суд тоже ушли. Остался лишь черный глаз на белом лице белой русской земли.

И ни звука.

10

А на следующую ночь во дворец Дмитрия за его жизнью пришли трое.

Дмитрий был в опочивальне с Ксенией. Его тянуло к этой юной женщине, как к райскому яблочку. Она и была таким яблочком, тем запретным плодом для смертных, о котором помыслить и грехно, и смешно. А он помыслил. Не о царевне, о царстве. И отведывает царские плоды. Власть она хоть и зrimа, да осязать ее нельзя. Иное дело Ксения – образ попранного царства, образ взлета на небеси.

– Ты со мной, а думаешь не обо мне, – укоряла Ксения своего насильника, который был смел даровать ей, обреченнной на вечное девичество, бабью радость. Она не могла не желать убийцу матери и брата, погубителя царства и сокровенной души. Ненавидела и ждала, молила смерти ему и себе и расцветала под его ласками, как дурман-трава.

– Ты ждешь – не дождешься свою пани Марину! – бросала она ему в лицо, пылая гневом, и тотчас внутренним оком видела себя гиеной, пожирающей падаль. Одну только падаль.

– Бог с тобою! – весело врал он. – Я познал тысячу женщин, и ни одна с тобой не сравнима. Маринка – хуже щепки. Видела цыплят без перьев, так это Маринка и есть.

— Но ей быть в этой постели, а мне в монастырской.

— Сама знаешь, царь себе не волен. А у меня есть мои долги. Я их плачу и плачу.

Он и впрямь принялся вдруг капать ей на грудь слезами, самыми настоящими, и она тоже расплакалась, и тут затопали перед дверьми, звякнуло оружие. Дмитрия сдуло с постели, как сквозняком. Натянул штаны, сапоги, схватил алебарду.

— Ко мне! — из потайных дверей вбежали стрелецкие головы Брянцев и Дуров. — Кто? Сколько?

— Неведомые. Трое.

— Где они?

— Побежали!

— Искать! — и сам кинулся к дверям.

И нашел. Возле домашней церкви на имя Дмитрия. Окруженных стрельцами, исколотых, изрубленных, но еще живых.

— Пытать! Кто послал?

Покусившихся на жизнь царя поволокли, кровавая полы, в пыточную, но многое узнать не успели, перестаралась стража. Одного однако опознали: служил в доме дьяка Шерефедина.

11

Утром Басманов предстал перед государем с провалившимися глазами, потухший, потерявший голос.

— Всю ночь бился над Шерефединовым, изломал мерзавца, все жилы ему повытянул, гадит от боли и страха, но ни единого имени не назвал.

— Значит, заговора нет! — беспечно откликнулся Дмитрий.

— Есть заговор! Я его спиной чую. К Шуйским, хоть к Ваське, хоть к братцам его спиной поворочусь, — вся спина в мурашках.

Дмитрий сидел у подтопка, на огонь глядел. Нагнулся, взял кочергу да и закрутил ее винтом, как веревку.

— Шерефедина больше не трогай, отошли куда-нибудь. Васька Шуйский плюгав в цари лезть. Неводок он плетет, но такого плетения, как мое, ему не сплести. Дарю на память.

Дал Басманову кочергу.

— Ступай, отоспись.

Басманов поклонился, сделал шаг, другой, но не ушел.

— Не люблю, государь, огорчать тебя, но не сказать тоже нельзя.

— Скорее скажешь — скорее забота отлетит.

— На Волге объявился Самозванец. Величает себя Петром, сыном государя Федора Иоанновича. Когда сестрица Борискина, царица

Ирина, разрешилась от бремени сыном, злодей подменил ребенка. Девочку хворую велел подложить. Ту, что Феодосией нарекли.

— Какие люди с Петром, сколько их? — спросил Дмитрий, щуря глаза.

— Тысячи три-четыре. Терские казаки, донские, всякие шиши. Сам он тоже из казаков, имя его Илейка.

Дмитрий закрыл подголовок, встал, потянулся, улыбнулся.

— Кто он мне, Петя? Родной племянничек? Я, Басманов, скучаю без родственников. Отоспишься, пошли ему моим именем милостивое приглашение. Ласково напиши, на золоте буду потчевать уберегшегося от козней Борискиных. Напиши, пусть к свадьбе моей потропится.

Басманов моргал воспаленными глазами, но ушам своим верил. Как понять царя? Иной раз на сажень под землей видит, а иной раз слепее крота.

Не слеп был Дмитрий Иоаннович, но все для него сбылось, как в сказке. Верил — Бог стоит за его плечами.

«Господи!» — взмолился, и не произнеся ни слова более, пожелал принять смерть, коли дела его и жизнь его Всевышнему неугодны.

Шубу, шапку, рукавицы не надел, сгреб. Одевался на бегу, никому не отвечая, куда, зачем. С увязавшейся стражей вышел на лед Москвы-реки, поискал глазами прорубь и не сыскал. На льду шла старомосковская потеха: медвежатники выходили ломаться с медведями. И уже стояла на льду особая клетка для охочих людей схватиться с ярым зверем один на один. Всего оружия рогатина да нож за сапогом.

В душе Дмитрия кипела горестная ненависть, и он желал утолить ее сполна.

Подошел к той самой, к страшной клетке, а там уже зверь, ревущий от одного только запаха человека. Грива в проседь, каждая лапа с коровий окорок.

Дмитрий отодвинул от дверцы снаряженного к бою медвежатника. Взял из рук его рогатину и — стража ахнуть не успела, а царь уж был за железными прутьями.

Медведь замотал башкой, взревел, ужасом обнимая всех, кто был на реке, поднялся на дыбы. И тут-то и ударил его Дмитрий Иоаннович. В самую грудь, и держал, держал, пока билась в агонии эта лесная жуть. Вышел из клетки и, как ведьма, принялся искать глазами кого ему нужно было. И нашел! Уж чего ради, но был на той потехе боярин Василий Иванович князь Шуйский.

Стал перед ним Дмитрий, волосенки от пота на голове слиплись, рот углами книзу, в глазах такая тоска окаянная, что боярин-князь принялся кланяться царю, да так истово, что бородою снег мел.

— Шкуру тебе дарю, — сказал Шуйскому государь и, взгромоздя на голову высоченную свою шапку, помчался во дворец, тихо хаживать не умея.

12

Как же это так? Написанное за тридевять земель, на чужом языке, для глаз немногих посвященных, соединившихся ради столь высокой, нантайнейшей мысли, что само божество становится ее заложником, когда все рассчитано на пять колен вперед, — как оно, неотвратимое и недоступное людской воле, вдруг производит беспокойство среди мужиков и баб, простых, как свечка, и подвигает их запалить ту свечку свою и сгореть.

Где дьяку Тимохе знать латинские промыслы римского папы? Трубами органными не соблазнялся, костелов не видывал. И уж слыхом не слыхал о письме Павла V царской невесте Марине Мнишек!

Папа прислал Марине письмо после ее обручения с Царем Дмитрием, для католички драгоценное и святое: «Мы оросили тебя своими благословениями, как новую лозу, посаженную в винограднике господнем!.. Да рождаются от тебя сыны благословенные, каковых желает святая матерь наша церковь».

Обручение происходило в Кракове, в присутствии короля Сигизмунда, его сына принца Владислава, его сестры Анны, шведской королевы. Место жениха пришлось занять царскому послу Афанасию Власьеву. Чувствовал он себя дураком и грешником, исполнял службу — не смог унять вздохов, когда дошло дело до жениховых подарков — все ведь от России отыпалось, от казны ее худоватой. Подарки были один чудеснее другого: золотой корабль, золотые бык, павлин, пеликан, часы, возвещавшие время игрою флейты и труб. Три пуда жемчуга, чуть не тысяча соболей, самых превосходных, парча, бархаты, чаши, кубки, одно перо из рубинов чего стоило. Да ведь и корона на Марине была не из польских, не из Мнишковых тощих сундуков.

Ни о чем этом не ведал Тимоха. Но однажды, ложась в постель, загляделся он на икону Спаса Нерукотворного, на огонек в лампаде.

Пробудясь же, к еде не притронулся и держал пост семь дней, и были ему те дни, как единый час.

Исповедался Тимоха в Казанской церкви, причастился Святых Тайн, попрощался с домашними и пошел в Думу, прихватя из Приказа грамоту, какая в руки взялась. И войдя в Грановитую палату, подождал, пока князь Мстиславский закончит рассуждать о похвальном

желании государя идти вместе с польским королем на крымских татар, дабы избавить христиан от этого вековечного бедствия. Едва умолк, Тимоха вышел на середину палаты и, не поклонившись Дмитрию, указал на него рукою, в самую грудь.

— Воистину ты есть Гришка Отрепьев! Расстрига, но не цесарь. Не царевич ты Дмитрий, сын блаженной памяти царя Иоанна Васильевича, но еретик и греху раб!

И повернулся к царской страже.

— Чего глаза выпучили, слуги дьявола? Хватайте! На то вы тут и поставлены, чтоб правду хватать, а ложь хранить.

Дмитрий молчал, но и бояре молчали. И тогда он закричал, наливаясь бешеною злобой.

— Умертвите!

В тот же день Дмитрий приехал к инокине Марфе.

Инокиня держала строгий пост и была хороша, как в юности. В глазах искорки, лицо же напоено светом, будто не стены келии вокруг, а березовая роща. Впрочем, и в келии было много света, от монашеского разве что иконы на стенах, в шкафчиках столько драгоценностей, что жилище походило на ларец индийского раджи.

Дмитрий и теперь приехал не с пустыми руками, привез зеркало в перламутровой раме, амбру, шафран, заморское мыло.

Марфа благословила его, довольная подарками и уже зная, каким известием он собирается ее порадовать.

Дмитрий заговорил о часах с флейтами и трубами, копии тех, какие подарил он Марине. Ему хочется, чтоб и у матушки были такие же. Мастеру о том сказано, и он трудится самым прилежным образом.

— За наши тихие стены не всякая молва перелетает, — сказала нетерпеливая Марфа, — пошли слухи, что ты скинул запреты с князей Мстиславского и Шуйского, жениться им позволил.

— Мстиславские, Шуйские, Голицыны — безродному Годунову были страшны. Мне, в жилах которого царская кровь, о запретах на браки моих самых родовитых бояр даже слышать дико!

— Кого же они сватают? — быстрехонько спросила инокиня, хотя все ведала в подробностях.

— Для Федора Мстиславского я сам нашел невесту, твою двоюродную сестрицу. Старичок Шуйский тоже оказался не промах. Выглядел цветочек в садах Буйносова-Ростовского. Княжна Марья Петровна и нежна, и статью горделива. И голубка, и лебедь.

— Буйносовы в свойстве с Нагими, — инокиня подарила Дмитрия благодарным взглядом.

Он вдруг сел рядом и держа ее за обе руки, сказал быстро, глядя в глаза:

— В Угличе, в могилке, та, что в церкви — поповский сынишка лежит. Так я его выброшу прочь! Довольно с нас! То дурак взбрыкнет, то кликуша объявится! Довольно! Довольно!

— Не-е-ет! — Марфа, мягонькая, дебелая, застонала, и все-то ее белое мясо пошло скручиваться в жгуты и окаменевать. — Не-е-ет!

Он бросил с презрительностью ставшие жесткими ее руки:

— Вы всегда были умны! Так будьте же собой! Будьте умной.

— Прокляну! — сказала она шепотом.

— Принародно?

— В душе моей.

— Вы истинная царица.

Он поклонился ей и, хотя она отшатнулась, взял ее за голову, поцеловал в чистый, в светлый, в государственный лоб.

От уязвленной в самое сердце Марфы отправился к королю Сигизмунду доверенный человек с тайным словом: на Московском престоле Самозванец! Экая новость Сигизмунду!

А для Дмитрия жизнь стала вдруг одним ожиданием. Выходка дьяка Тимохи всколыхнула в нем страх. Он желал вокруг себя и в Москве поляков, казаков и верил — венчание успокоит сомневающихся: венчание от Бога. Гоня от себя тревоги, закатил пир боярам, застолье роднит людей. На пиру откровенно льстил сановитым своим гостям, не без яду, впрочем.

— Вы, вековечные российские роды — заповеданная моя дубовая роща! Будет ваше плечо крепко и надежно для государя вашего, и я, государь ваш, обнажа меч, приведу вам толпы покорных народов. Не на рабство, но к свету вашему. К истине истинных, к святому нашему православию.

— С поляками в обнимку? — спросил вдруг дерзкий Михаил Татищев.

— Без поляков нам Турции не одолеть.

— Сначала на войну вместе, а потом и в один храм на молитву. Латиняне спят и видят — заполучить наши души.

— Латиняне много чего хотят, да все на том же месте, куда их Господь поставил. А поляки хотят землю Северскую, хотят Псков, хотят, чтобы мы добывали Сигизмунду шведскую корону. И я на одно их хотение говорю — да, а на другое говорю — нет! Больше нет, чем да.

— И послал Сигизмунду сто тысяч! — выпалил Татищев.

— То был мой долг, и я его заплатил.

— А Мнишеку отправил двести тыщ за какие глаза?

— Мнишек стоял за поруганную честь моего царского рода! Не ты, Татищев — Мнишек! Те деньги пошли для твоей будущей царицы. У царя же с царицей казна общая.

И рассмеялся.

— Ешьте, пейте! Споры для Думы, застолье — для дружбы.

Дмитрий ударил в ладоши, и слуги понесли на серебряных подносах новые кушанья.

— Телятина! — тихохонько ужаснулся Василий Шуйский. — Телятина православному, как Магомету свинина. Вели убрать, государь. Бога ради!

Губы вытягивал хоботком, будто хоботок этот в ухо царя хотел просунуть.

— Что болгаешь пустое! — рассердился Дмитрий. — Что у царя на столе, то и свято.

— Телятина свята? — поднял и хватил куском мяса об стол Татищев. — Телятина свята?! На шестой неделе великого поста?! В четверок?

— Чем тебе телятина не угодна?! — изумился Дмитрий.

— Да православный ли ты? Да есть ли на тебе крест? Латинянин ты гнусный! Оборотень!

— Защитите государя своего! —тише Шуйского сказал Дмитрий, отведывая одну за другой черные, как черной кровью налитые, клюквины.

Татищева выдернули из-за стола, поволокли из палаты прочь.

— В Вятку его, — сказал Дмитрий, не поднимая голоса, — от моего стола — и в Вятку. Держать его там в колодках. Да чтоб имени не вели. Отныне — нет ему имени в земле Русской.

13

Был сон Дмитрию. Видел он, как заходящее за горизонт солнце закрыла черная луна и сделались сумерки. И пошла по земле, под черною луною бесконечная чреда спящих на ходу людей. И взгляделся он и увидел, что все их множество — один человек. Что это он. Кинулся прочь от своего сна, да чтоб скорее — на крыльях. Только те крылья были перепончатые, как у летучей мыши. Холодные.

Пытаясь избавиться от увиденного, он встал с постели, и хотя утро еще не наступило, вместе с охраной поехал выбрать место для потешной деревянной крепости, взятие которой должно было венчать будущие, скорые уже, свадебные пирсы.

Место он уже облюбовал — пустырь за Сретенскими воротами, но надо было куда-то деть себя от сновиденьица. На пустом месте дела не сыскал, поворотил коня и поскакал смотреть, как готовят дорогу,

по которой приедет к нему его весна – благоуханный сосуд красоты – наияснейшая панна Марина.

Его армия собиралась под Ельцом. Продовольствие уже свезено, и пушки, и порох. На днях пришла и стала под Москвою новгородская рать, восемнадцать тысяч молодцов. Сойдет половодье, дороги просохнут, и – в поход. Вот только куда? Одно ясно – Россию он оставит на попечение хозяйки. Потому и ждет ее – не дождется.

Вернулся Дмитрий в полдень. Пахнущий весенним солнцем, счастливый. Дорога для шествия Мариной и гостей была исправна, мосты обновлены или построены заново, жалкие избушки и развалихи, печающие взоры, разобраны.

Он примчался, настроив себя, еще раз, напоследок, отведать горчайшей любви царевны Ксении. Ее нынче должны были увезти в монастырь. И струсили. Не мести или обличительного слова – глаз ее, слез ее, а то и молчания.

Устроился возле окошка, из которого ему будет видно, как пойдет она садиться в крытые санки. Ждал Ксению, а мыслями улетел по дороге, на которой уже в пределах Смоленщины ему суженая. Дальше, дальше, пока не уперся в Вавель. Хозяин польского Вавеля швед Сигизмунд Ваза чересчур яро и уже почти явно требует исполнения статей тайного договора. По этому договору Марине Мнишек отходили Великий Новгород и Псков со всеми землями, с правом продаивать эти города и земли, дарить, строить католические храмы, католические монастыри, заводить латинские школы. Отец пани Мариной пан Юрий Мнишек, сандомирский воевода, в потомственное владение получал княжества Смоленское и Новгород-Северское, но так как половина смоленских земель и городов даровалась в собственность Сигизмунду, то столько же земель и городов Мнишек получал в соседних княжествах, в Тверском, в Калужском. Отдать все эти земли было делом немыслимым, да и сам Сигизмунд был королем больше по имени. В шляхте ходили разговоры: корону надо отдать московскому Дмитрию, свой человек. Все, кто ему служили, получали от щедрой руки. Дмитрий души не чаял в шляхте, а в России земли много, крестьян много. Послужишь – получишь. Был даже такой слух: у Московского царя для изгнания Сигизмунда уж и войско наготове. Поведет его великий мечник Скопин-Шуйский.

Перебирая нити всей этой паутины, смертно держащей его, Дмитрий решил вдруг, что надо оставить все как есть. Пусть себе висит клубком до поры до времени. Взяться за веник никогда не поздно. Не натравить ли на Сигизмунда иезуитов, пообещав им все, что им хочется. Сигизмунд, почтая себя владетелем Смоленского

княжества, наверняка поглядывает на Мономахову шапочку? Мечтает о наследственной, о шведской короне, для борьбы за нее лишняя хорошая шапка не помеха.

Пришел Басманов. На лице тоска.

— Ну, что у тебя? — спросил его Дмитрий, краем глаза увидав, что во дворе появилась серая лошадка и серые, крытые лубяным коробом, санки.

— Инокиня-государыня Марфа по всем боярам вчера ездила. Не трогай, государь, могилку. Бог с ней!

— Болтуны надоели.

— Не трогай, государь. У меня с утра вся Дума перебывала, поодиночке.

— Я человек говорчивый. Не трогай, говоришь. Не трону. Что еще? — от нетерпения лицо у Дмитрия стало красным. — Что еще у тебя?

— Иван да Дмитрий Шуйские приезжали в дом купцов Мыльниковых. Братья Голицыны туда же ездили. Боярин Татаев, окольничий Крюк Кольчев.

— Им что, мыло нужно?

— Мыльниковы не мылом торгуют, государь. Мыльниковы — гости. У них торговля по всей земле.

Дмитрий глянул в окно. Лошадка стояла смирно. Людей не видно.

— Все?

— Нет, государь, не все. Стрельцы тебя хулят...

— Стрельцы? Ну-ка! Ну-ка! Да слово в слово!

— Говорят, что ты есть враг веры, тайный латинянин.

— Так говорят все московские стрельцы?

— Нет, государь, не все. Хулителей семеро.

— Семеро... Из одного полка?

— Из двух, государь.

— Из двух, — глаза Дмитрия, бегавшие во время разговора, остановились. — Собери мне, друг мой, Петр Федорович, всех московских стрельцов. В Кремле собери. Завтра. Да не завтра! Сегодня же и собери. Ступай! — ласково подтолкнул Басманова в плечо. — Поторопись, товарищ мой верный.

— Татищева, государь, вернул бы. Многие просят за него, — сказал вдруг Басманов.

— И Шуйский?

— И Шуйский.

— А ты просишь?

— Прошу, государь.

— Не на свою ли голову, Басманов? Возвращай, коли соскучился!
Тебе за ним смотреть.

Басманов радостно улыбнулся, поклонился, вышел.

Дмитрий тотчас побежал к окошку, а возок уж поехал.

— Как же так? — застонал Дмитрий, уцепясь пальцами за решетчатое окно. — Как же так?

За лубяным возком след простыл, а Дмитрий все глядел и глядел... И перед глазами, как лаком покрытое, стояло его видение. Чреда людей под черною луною, и каждый из чреды — это он.

...Вечером того же дня царевну Ксению постригли. Царевна умерла, родилась черница Ольга.

14

Стрельцам было велено прийти в Кремль без ружей. Они и не взяли ружья. У иных совсем ничего не было, иные же прихватили бердыши, протазаны, сабли.

Место выбрано царем было странное, за садом, на огороде, у глухой стены.

Царь пришел с ротою Маржерета, а другая рота, конная, капитана Домарацкого, встала поодаль.

Привели семерых стрельцов, что оговаривали государя. Конвой тотчас отступил, и Дмитрий шел среди этой семерки без опасения. Они, думая, что Бог пронес, стали среди своих, в первом ряду. Дмитрий приятельски положил руку на плечо стрелецкого головы Григория Микулина и, высокो поднимая голос, чтоб слышали все, сказал:

— Я вырастал в палатах отца моего великого Грозного царя Иоанна Васильевича. Происками Годунова матушку мою, меня и всех Нагих, матушкиных кровных родственников, — выслали в Углич. Там я и жил, покуда верные люди не сообщили матушке, что Годунов замыслил злое дело. Тогда нашли ребенка, схожего со мною лицом и ростом, поповского сынишку, а меня укрыл в надежном месте Богдан Яковлевич Вельский... Остальное долго рассказывать. Многие из вас видели мою встречу с матушкой на лугу в Тайнинском. Не будь она мне матерью, слез бы благодарных, чистых не проливала. Я перед вами, как на духу, но и вы скажите мне всю правду: есть ли у кого из вас доказательства, что я не царевич Дмитрий?

Стрельцы молчали, опускали глаза. Государь глядел на них, посыпывая носом-лапоточком. Высморкался по-свойски, на снег. Закричал на стрельцов:

— Наушничать горазды! Говорите в лицо, коли вам есть что сказать, а нам послушать.

Стрельцы молчали. Дмитрий ждал. Не дождавшись, снова заговорил, подходя к переднему ряду, чуть не грудь в грудь, положа обе руки на свое сердце.

В чем ваше недовольство мною? Скажите мою вину перед вами! Тому, кто служит мне по чести и совести, и я служу, как самый усердный слуга.

— Господи! Государь, избавь нас от таких горьких укоризн! — воскликнул Микулин.

— Я готов избавить! — откликнулся Дмитрий, и в глазах его заблистали слезы. — Но ведь порочат! Слухи разносят! Все о том же — расстрига на троне, Гришка Отре́пьев! Да всех Отре́пьевых я по ссылкам разогнал за то, что помогали расстриге своровать, слухи распускали. За то что все они — враги святейшего патриарха Иова...

— Государь, освободи! Я за твои слезы у твоих изменников голо́вы поскусаю!

— Ваши это товарищи, и поступайте с ними по вашей совести.

Махнул на семерку рукою и пошел прочь, ни разу не оглянувшись.

А на том, на царском огороде на осевший весенний снег хлестала кровь: рубили бедняг, кололи сообща, яростно.

Тотчас тела погрузили на телегу и телегу провезли по всей Москве.

Народ царя жалел, не изменщиков.

15

Жуткая телега еще кровавила московские улицы, а уж князь Василий Иванович Шуйский встретился с князьями Иваном Семеновичем Куракиным да с князем Василием Васильевичем Голицыным. Встретились в Торговых рядах, в махонькой церковке.

— Нынче царь показал свою силу, — начал Шуйский, — бедный обманутый народ верит ему, проклятому расстриге.

— Как народу не верить, когда правдолюбы на кресте клялись, что царевич истинный, — рассердился Куракин.

Шуйский обнял князя.

— Время ли о клятвах поминать? Потому и клялись, что Годунов сидел на наших шеях. Сидел, как татарин!

— Он и был татарин! — сказал Голицын. — Бог с ним с Годуновым. Православие надо спасать от царя-еретика.

— Как от него избавишься? — повздыхал Куракин. — Убить — вот и все избавление.

— Убить! — твердо сказал Шуйский. — Убить до свадьбы! Невеста явится с целым войском.

— Дадим же обет заодно стоять, — перекрестился Куракин, — Не мстить за обиды, за прежние козни, коли кто из нас в царях будет.

Шуйский наклонился над распятием, лежащим на крошечном алтаре, поцеловал.

— Даю обет не мстить, не обижать, коли Бог в мою сторону поглядит. Даю обет — править царством по общему совету, общим согласием...

Голицын и Куракин повторили клятву. Троекратное истовое целование завершило тот странный сговор.

Глубокой ночью дом Василия Шуйского наполнился людьми. Были его братья Иван и Дмитрий, племяш Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, был боярин Борис Петрович Татев и только чтоозвращенный из ссылки думный дворянин Михаил Игнатьевич Татищев, были дворяне Иван Безобразов, Валуев, Воейков, стрелецкие сотники, пятидесятники, игумны, протопопы.

Столы даже скатертями не застилили — не до еды, не до питья.

Князь Василий вышел к своим поздним гостям, держа в руках «Псалтырь», открыл, прочитал:

— «Господи, услыши молитву мою, и волль мой к Тебе на придет. Не отврати лица Твоего от меня. В день скорби моей приклони ко мне ухо Твое. В день, когда призову Тебя, скоро услышь меня. Яко исчезли яко дым дни мои, и кости мои обожжены яко головня.»

Положил книгу на стол, положил на книгу руки и говорил тихим голосом. И не дышали сидевшие за столом, ибо жутко было слышать.

— Я прочитал вам молитву нищего. Кто же нынче не нищий в царстве нашем? Настал горький час: открываю вам тайну о царевиче как она есть.

Шуйский умолк, опустил голову, и все смотрели на его аккуратную лысину, на острый, как заточенное перо для письма, носик, и было непонятно, откуда в таком человеке твердость?

Шуйский поднял лицо и осмотрел всех, кто был за столом, никого не пропуская.

— Тот, кого мы называем государем, — Самозванец. Признали его за истинного царевича, чтоб избавиться от Годунова. И не потому, что не был Годунов царем по крови, а потому, что был он неудачник. Лучшее становилось при нем худшим, доброе — злым, богатое — бедным. Грех и на мою голову, но я, как и все, думал о ложном Дмитрии, что человек он молодой, воинской отвагой блещет, умен, учен. Он и вправду храбр, да ради польки Маринки, которая собирается сесть нам на голову. Он умен, но умом латинян, врагов нашей православной веры. Учен тоже не по-нашему.

Шуйский кидал слова, как саблей рубил. Бесцветные глазки его вспыхнули, на щеках выступил румянец.

— Для спасения православия я хоть завтра положу голову на плаху. Я уже клал ее. Вы слушаете меня и страшитесь. Я освобождаю вас от страха. Пришло время всем быть воителями. Рассказывайте о самозванстве царя, о том, что он собирается предать нас полякам. Рассказывайте каждому встречному! Всем и каждому! И стойте сообща заодно, за правду, за веру, за Бога, за Русь! Сколько у расстриги поляков да немцев? Пяти тысяч не будет. Где же пяти тысячам устоять против ста наших тысяч!

Кто-то из протопопов сказал:

— Многие, многие стоят за расстригу — соблазнителя душ наших.

— Скорее у Дмитрия будет сто тысяч, чем у нас, — подтвердил Та-таев.

— Так что же делать? — спросил Шуйский. — Терпеть и ждать, пока нас, русаков, в поляков переделают.

Поднялся совсем юный Скопин-Шуйский.

— Дядя! Надо ударить в набат и кликнуть: поляки государя бьют! Я с моими людьми мог бы явиться спасать расстригу. Окружил бы его своими людьми, и тогда он стал бы нашим пленником.

— Его следует тотчас убить! — чуть ли не прикрикнул на племянника князь Василий. — Отсечь от поляков, от охраны и — убить!

— И всех поляков тоже! — сыграл по столу костяшками пальцев Иван Безобразов. — А чтоб знать, где искать, дома их следует пометить крестами.

— Очень прошу не трогать немцев, — строго сказал князь Василий.

— Они люди честные. Годунову служили верой и правдой, пока жив был. И расстриге служить будут, пока жив.

— А как не будет жив — другому послужат! — вставил слово Дмитрий Шуйский и подался вперед, чтоб все его видели.

Старший брат рыхлый толстячок с тощей лисьей мордочкой, а этот как мерин. Голова породистая, глаза навыкате — всякому видно, высокого рода человек, но сколь высок в степенях, столько же недосягаем и в глупости.

Была у заговора голова о три башки, теперь сотворилось тело, правда, без ног, без рук.

Весна по небу гуляла, зима за землю держалась.

Под колокольнею Ивана Великого пророчица Алена упала и билась в корках до розовой пены на губах. Многие, многие слышали ее жуткий угробный голос:

— Овцу золотую, Дмитрия-света на брачном пиру заколют!

Блаженную в ссылку не упечешь.

Другое дело царь Симеон. Этот на паперти Успенского собора, перед обедней вдруг принялся кричать на все четыре стороны:

— Совесть трубит во мне в серебряную трубу, в трубу слезную! Царь наш, не Богом нам данный, не Богом, тайно уклонился в латинскую ересь! Как придут поляки с Маринкою, так и погонит он православную Русь к папе римскому на закланье!

Старика взяли под руки, отвели в Чудов монастырь, постригли в монахи и отправили на Соловки. Народу было сказано: за неблагодарность. Дмитрий от Симеонова предательства стал чернее тучи. Все твердил, похаживая взад-вперед по личным своим комнатам:

— Татарва православная! Совесть ему дороже царского житья. При Грозном, чай, о совести помалкивал.

16

У зимы осталось последнее ее покрывало. Она бережно расстелила его ночью и, оберегая от неряхи весны, ударила на шалопутную собранным по закромам последним крепким морозом.

Леса вздыбились, как оборотни — седы, корявы, духом дышат ледяным, солнце от такого-то напора совсем махонькое стало, совсем белехонькое.

— Куда вы меня везете? Это же погреб! — ясновельможная пани Марина закрыла собольими рукавичками длинноватый свой носик и бросилась в санки, застланные песцовыми пологами, как в полынью.

Полынья была ласковая, а как сверху укутали, то и совсем стало покойно и даже прекрасно, потому что мороз всех нарумянил, все двигаются проворно, радостно.

Послышились команды, заскрипели седла, заухала под снегом земля от конского топа, и, наконец, полозья взвизгнули, как взвизгидают паненки в руках парней. Огромное, яркое тело поезда тронулось и, набирая скорости, пошло, как с горы.

Пани Марина, хорошо выспавшись за ночь, тотчас оказалась на спине пушистого, голубого, с алмазной искрой по ости, зверя. Совершенно обнаженная, на жутком русском морозе, и однако же не чувствуя ни холода, ни какого другого неудобства. Песец мягко, плавно взмывал над землей, и от каждого его беззвучного маха душа замирала.

— Не ты ли это, Дмитрий? — пораженная догадкой, спросила Марина.

Песец, не прерывая бега, повернулся к ней мордой, и она увидела лицо мудрого, грустного иудея.

— Что за шутки?! — Марина гневно треснула скакуна по бокам и проснулась.

И зажмурилась! Но не оттого, что все сверкало и блистало — от радостного ужаса: солнце сошло на землю, и земля стала солнцем.

Марина чуть разлепила веки и, полная, как короб с земляникою, самого ласкового, самого сокровенного счастья, смотрела на Преображение земли.

Снежные поля польхали золотым, и кожа принимала огонь и становилась позлащенной.

Смертная белизна лесов обернулась такой молодой, такой живою плотью, словно это было тело невесты, сбросившей покровы ради любимого. И небо переменилось. И небо стало плотью, плотью всемогущего солнца.

Марина чувствовала, как воздух припадает к ней, к ее щекам, губам, глазам, как хватает он горячими прикосновениями кончики ее запылавших ушей. Засмеялась.

— Нарзежона! Нарзежона круля! — и повторяла по-русски: — Невеста! Невеста короля!

Движение вдруг стало замирать, полет полей накренился на одно крыло, и все замерло.

— Что случилось? — крикнула Марина пану Тарло, своему советнику.

Пан Тарло подскакал к саням.

— Река Угра, государыня!

— Так и что же?

— Но это граница Литвы и России.

— Здесь граница Литвы?

— Прежняя граница, государыня. Давняя! Но всем это интересно.

— И мне тоже! — лицо Марины вспыхнуло гневом. — Да помогите же мне выйти из санок!

Красота пышущего солнцем белого поля погибла. Гусары, вольные шляхтичи, драгуны — рассыпались по полю, над черною Уграй, с которой бурные февральские ветры унесли снег, а тот, что выпал за ночь, подтаял на разбушевавшемся солнце.

— Все это было наше! — восторженно воскликнул седоусый Юрий Мнишек и распахнул руки. Алый кунтуш под собольей шубою пламенел, красное молодило воеводу. — Так было, панове! Но так и будет!! Не сабля достанет нам славу и богатство, но любовь. Любовь моей дочери. Помните об этом, панове!

Поезд снова тронулся, но езда опять была недолгой. На другой стороне реки, в селении ударили колокола, и на дорогу, с крестами, с иконами, с хлебом-солью, вышли к своей будущей царице крестьяне.

Ритуал этот был для Марины испытанием. Превозмогая отвращение к запаху овчинных шуб, к грубым, косматым от бород лицам, расплывавшимся перед ней в улыбках, к корявым рукам, подававшим ей этот их хлеб, эту их соль. Иной раз ведь совершенно черную! Для вкуса и пользы крестьяне перемешивали соль с березовым углем.

Марина отведывала хлеб – правду сказать, всегда вкусный, воздушно высокий, взирала на кланяющихся крестьян, слушала молитву попа и, подарив народ улыбкою, торопилась в сани. Торопливость ее люди одобряли.

– К жениху спешит! К свету Дмитрию Ивановичу!

Марина же, садясь в санки, выплевывала хлеб в ладошку, прополоскивала рот крепким вином и натирала руки розовым маслом.

Но иногда и забывалась. Съедала вкусную корочку. И если плевалась, то уж ради одной прислуги своей.

В середине апреля, сменив сани на карету, царская невеста въехала под колокольный звон в Вязьму, в окрестностях которой для нее был приготовлен дворец Бориса Годунова.

Юрий Мнишек тотчас отправился в Москву на последние перед свадьбой переговоры.

Встретила его Москва 25 апреля колоколами, пушечной пальбой, игрою польской музыки.

Вид зятя ошеломил сандомирского воеводу. На блистающем троне, низвергая при каждом движении водопады алмазного огня, восседал тот, кто пришел к нему в дом его с блудливыми глазами лжеца.

По правую руку самодержца патриарх, митрополиты, епископы, по левую бояре, цвет Российской державности.

Мнишек, распираемый восторгом, восклекнул:

– Давно ли с участием искренним и нежным я жал руку изгнанника, гостя моего печального? Эту державную руку, к которой я допущен для благовейного лобызания! О счастье! Как ты играешь смертными! Но что лепечет язык мой неверный и невежественный! Не слепому счастию, Провидению дивимся в судьбе твоей, великий государь великого государства! Провидение спасло тебя и возвысило к утешению России и всего христианства! Ты делишь свое величие с мою дочерью, умея ценить ее нравственное воспитание и выгоды, данные ей рождением в государстве свободном, где дворянство столь важно и сильно, а всего более зная, что одна добродетель есть истинное украшение человека!

Дмитрий слушал тестя, сияя влажными глазами, но не промолвил ни единого слова. Его царскими устами был Афанасий Власьев.

И за трапезою в честь дорогих гостей сидел за отдельным столом. Юрия Мнишека и Адама Вишневецкого побаловал Дмитрий лишь тем, что подавали им яства на золотых тарелях.

17

Дело предстояло утомительнейшее. Чтобы лишить упрямцев самого воздуха державных Грановитых палат, Дмитрий собрал совет церковных иерархов, ближних бояр, родственников своих и невестиных в новом деревянном дворце.

— Под шелковыми небесами, надеюсь, черные мои вороны тоже станут как шелковые, — подмигнул Дмитрий Басманову и приложился к потайному окошечку, чтобы по лицам советчиков угадать их настроение.

Адам Вишневецкий был мрачен, он уже успел объявить, что прибыл получить сполна тысяч сорок золотых, которые издержал, собирая людей для похода царя Дмитрия на Годунова. Вишневецкого слушал казначей Власьев и не сказал ему ни да ни нет, но так не сказал, что было ясно — это окончательное нет.

Юрий Мнишек прибавил в величавости. Он то и дело правил левой рукою левый ус, который у него лихо топыршился. Хотелось выглядеть орлом, но несерьезный ус придавал лицу что-то уж очень петушиное.

— Будет ли тесть за Адама просить? — подумал вслух Дмитрий. — Они как-никак родственники.

И улыбнулся, сообразив, что Адам скоро будет приходиться ему, царю русскому, свояком. Брат Адама женат на младшей сестрице Марины.

Думал о поляках, а глазами уперся в Гермогена, казанского митрополита. Красавец старик! Ему уж, говорят, семьдесят пять, но красавец! Глаза зеленющие, что тебе изумруды, огромные, брада шелковая, седина голубизною отливает... На лице — ни морщинки. Его преосвященство — из донских казаков. Донцов Дмитрий знал. Если у них дурак, так дурак, а уж коли умный, так умный. Впрочем, те и другие на правде спотыкаются, не умеют порожка сего невидимого переступить...

— А ведь что-нибудь ляпнет старикан, — предположил Дмитрий, и как в воду глядел.

Первым о свадебных делах сказал свое слово патриарх Игнатий. Говорил он ласково, обводя совет ласковыми глазами.

— Царица наша рождена в римской вере, в христианской вере. По сему будет ей добродетельно и негрешно посещать православные наши церкви. Я сам стану приобщать ее Святым Тайнам. Но царице

не возбраняется иметь свою латинскую церковь, блюсти уставы, коим она обучена с детства.

— Окрестить ее надо! — сказал с места коломенский епископ Иосиф.

— Государь пожелал, чтобы супруга его была венчана на царство. Обряд венчания предполагает возложение животворящего креста и миропомазание. Это явится приобщением государыни к святоносному Духу православия. Дважды крестить христианина нельзя. Это еретичество.

— Что есть еретичество, мы не хуже твоего знаем, святейший, — вспыхнул, вскакивая на ноги, митрополит Гермоген.

— О! Я не желаю ссоры между моими возлюбленными пастырями! — тотчас вступил в разговор Дмитрий. — Будет ли праздник праздником, если он поставлен на дрожжах несогласия? Дело надо кончить к обоюдному согласию. Кстати, надо нам быстро решить одно небольшое и простое дело. Свадьба требует больших расходов, а переди поход. Драгоценные мои, светоносные пчелы, собиратели нектара Божественной истины! Я прошу помочь казне. Мои запросы не так уж и велики. Пусть Иосифо-Волоколамский монастырь даст мне три тысячи, а Кирилло-Белозерский — пять тысяч рублей.

— Государь, но ты уже взял с Троице-Сергиева монастыря не три и не пять, а все тридцать тысяч! — воскликнул коломенский епископ Иосиф.

— Не мне нужны деньги, я ем и пью не больше вашего. Деньги нужны отечеству. Я иду избавить Россию от вечного страха перед нашествием с юга... Мне бы хотелось, чтобы вы сами, подумав, дали бы часть церковных доходов на общее дело.

— На общее дело, ежели оно чистое и воистину общее, денег не жалко, — сказал Гермоген. — Но вот ежели царская невеста не будет крещена, то такая свадьба станет нам всем в великую стыдобу, ибо такая свадьба есть беззаконие перед Богом и перед всем русским православным народом!

— Без крещенья нельзя! — согласились с Иосифом и Гермогеном архимандриты Чудовский и Новоспасский.

Им возразил со стороны поляков Андрей Лавицкий.

— Нет закона ни у вашей церкви, ни у нашей, который бы воспрещал браки между христианами греческого и римского вероисповедания. Но нет и другого закона, который требовал бы жертвовать одному из супругов своею совестью. Предок царя Дмитрия Иоанновича, великий князь Московский Василий III, женившись на Елене Глинской, дал ей полную свободу в выборе веры. Есть и другие примеры.

— Верно ли в царских делах угоджать бессмысленному народному суеверию? — выставился со своим умом Юрий Мнишек.

— В словесах — мы герои! — пристукнул митрополичьим посохом Гермоген. — Не перекрестите Марину — будет она народу русскому не матерью, но бесстыдной девкой!

— Что же это все так смелы у меня? — Дмитрий рассмеялся, да так весело, словно похвалить хотел упрямцев. Долгим взглядом поглядел на патриарха. — Святейший, есть у тебя крепкие монастыри для смирения несмирных?

— Есть, государь, — ответил Игнатий с поклоном.

— Вот и пошли в сии монастыри Гермогена и всех с тобою несогласных. Пусть Богу молятся, приготовляют нам Царство Божие. С земными же делами мы сами управимся.

Четверых иерархов тотчас вывели из палаты. Но дело еще было не улажено, требовалось назначить день свадьбы.

— Я хочу венчаться как можно скорее, в воскресенье, — сказал Дмитрий.

— Четвертого мая никак нельзя, — смутиясь, развел руками Игнатьев. — Царевна должна хотя бы три дня попоститься, пожить в монастыре.

— Восьмое вас устраивает?! — сердито прикрикнул Дмитрий.

— Устраивает, государь! — пролепетал Игнатий, но остальные-то иерархи ахнули про себя. Восьмое — пятница, постный день, предпраздничный. Девятого — Никола Вешний.

— Платье ведь надо успеть пошить! — засомневался князь Мстиславский, недавно испытавший на себе все свадебные хлопоты.

— Успеют! — весело сказал Дмитрий. — Пока держава в моих руках, мы успеем столько, как никто до нас не успевал.

— Никола ему покажет! — погрозил посохом Гермоген, когда ему сказали о царевом выборе свадебного дня. — В мае женится, еретик! Помает его Никола! Еще как помает!

18

В бурю въезжала в Москву царская невеста.

Ветер раскачивал вершины деревьев, едва-едва зазеленевших, иказалось, это метлы метут небо.

Перед городскою заставою пани Марину встречало дворянство, стрельцы и казаки. Все в красных кафтанах, с белой свадебной перенязью через плечо.

Дмитрий был в толпе встречающих, одетый простолюдином. Ему хотелось видеть ликование Мариной и москвичей. И он видел это

ликование, он видел всеобщую радость. Лицо Марину светилось высшим небесным озарением, и он, благодарный судьбе, таясь от своей переодетой охраны, смахивал с ресниц слезы счастья: народ полюбил Марину, как его самого.

Над Москвою-рекою был поставлен великолепный шатровый чертог. В нем царскую невесту приветствовал князь Мстиславский и бояре.

Из шатра Марину вывели под руки, усадили в позлащенную карету с серебряными орлами на дверцах и над крышею. Десять ногайских лошадей, белых как снег, с черными глянцевыми пятнами по крупу, по груди и бокам, понесли драгоценный свой груз, как перышко райской птицы. Перед каретою скакало три сотни гайдуков и все высшие чины государства, за каретою катило еще тринадцать карет с боярнями и родней жениха и невесты, барабаны пушки, гремела музыка, колокола трезвонили, как на Пасху.

За свадебным поездом следовало войско, с ружьями, с ликами, с саблями.

Едва одно шествие миновало, пошло новое, разодетое в пух и прах, и опять же с целым войском. То совершили торжественный въезд послы польского короля Госевский и Олесницкий.

— Что-то больно их много... — засомневались москвики, и тотчас люди Василия Шуйского принялись разносить слухов:

— Послы-то приехали не так себе! За Маринкиным приданым. Дмитрий отдает Литве русскую землю по самый Можайск.

Марину поместили в Вознесенский Кремлевский монастырь под крыло матушки жениха, инокини Марфы.

Марина как вошла в отведенную для нее келию, так и села. И не подойди к ней, не заговори.

Оскорблена убогостью комнаты, Марина воспылала местью к жениху, к инокине-свекрови, к русским, ко всему их непонятному, лживому существованию.

Коли тебя привезли в царицы, зачем же монастырь? Коли все утопают в соболях и драгоценностях, к чему эти лапки, эти голые стены с черными страшными ликами икон? Почему не ей кланяются, а она должна выказывать смирение перед черными бабами?..

Понимала, идти к инокине Марфе хочешь — не хочешь — придется: царская мать. Мать, только вот кого?

Время шло, Марина сидела сиротиною на голой лавке — несчастный, забытый всеми истукан. Вот тогда и явилась в келию ее гофмейстерина от гофмейстера Стадницкого, который просил передать их

величеству, что благополучие поляков в стране русских зависит от снисходительности их императорской милости.

Марина вспыхнула, но каприз прекратила.

— Такое великолепие! Столько лиц! Я до сих пор не пришла в себя! — сообщила она инокине Марфе, поклонясь ей с порога по-русски смиренно, до земли.

Инокиня Марфа смотрела на нее, не мигая. Марина тоже попробовала не мигать, но в глазах началась резь, она прослезилась и не замедлила пустить эти свои слезы упрямства в дело:

— Я плачу от счастья видеть вас, мама!

Марина говорила на смеси русского и польского и скрашивала свои ошибки беспомощно улыбкою. Но она видела, вся ее ласковая неумелость, доверчивая покорность, все впустую. Инокиня Марфа смотрит на нее будто кошка на мышь: «Играйся, играйся! Как наиграешься, я тебя съем!»

Марина поспешила вернуть лицу пристойный холод. Глаза ее засияли стеклянно, еще более стеклянно, чем у инокини. Гордость стянула губы в полоски, в лезвия. Она вдруг сказала:

— Я понимаю, как трудно вам, живя в Кремле, быть молитвенницей. После нашей свадьбы переезжайте в Новодевичий монастырь. Вам ведь уже не надобно будет печься о сыне. Я сама позабочусь о его покое и счастье. С вашего благословения.

Инокиня Марфа не проронила ни слова в ответ. И, не зная, как поступить, чтобы достойно покинуть келию свекрови, Марина в панике опустилась на стул перед вышиванием. Это был почти законченный «воздух», запрестольная пелена с изображением Евхаристии.

Марфа, не отпуская невесту ни на мгновение своим остановившимся, жутким взором, молчала.

— Я привезла вам подарки! — встрепенулась Марина. — Чудесные вышивки. Я вам пришлю. — И совершенно расцвела: — Меня же portные ждут! Надо успеть пошить платье!

Вспорхнула, чтоб лететь и не возвращаться под эти взоры.

— Благодарю за прием! — губы совершенно исчезли с лица, хоть как-то ответила на унижение.

— Он не мой сын, — сказала вдруг Марфа.

Марина кинулась к дверям, будто не слышала. Нога в ступне подвихнулась, больно сделалось очень, но не вскрикнула, не остановилась, не повернулась.

В келии служанка осмотрела ногу: не опухла, боли не было, следов вывиха тоже.

— Она колдунья, — сказала Марина. — Пошли за обедом. Я не желаю умереть с голода.

Оказалось, обед уже давно кончился. Нужно было ждать ужина.

А на ужин принесли пироги с капустой и с репой. Марина надкусила тот, что был с капустой, и замерла от омерзения.

— Я не могу есть такую пищу! — прошептала она и залилась горючими слезами.

О бедственном положении несчастной невесты было доложено гофмейстеру Стадницкому. Стадницкий явился к царю, царь послал за поварами к тестю. Повара явились, для них открыли царские кладовые, и пошла стряпня!

Пока монашенки отстаивали вечерню, в монастырь чредой в черных монашеских рясах вошли многие люди.

Марина со служанкою сидели за занавескою на кровати. А в келии меж тем творилась безмолвная и почти беззвучная сказка. Люди в черном устилали пол коврами, лавки сукнами, на столе явилась белая скатерть, на скатерти напитки и яства, источающие запахи кухни Вавеля. Наконец, были внесены великолепные серебряные канделябры, комната наполнилась сиянием, и в этом сиянии, как пламенный ангел, возник император Дмитрий.

Он стал перед богинею своею, вознесшей его столь невероятно высоко, на колено и целовал ее руки так бережно, так нежно, как прикасаются губами к лепесткам цветов. Грудь Марины волновалась, она шептала что-то бессвязное, ласковое.

Не отпуская ее рук из своих, он сказал:

— Это первый миг за многие уже годы, когда я живу искренне. Вся остальная моя жизнь — скоморошье бесовство.

Он повел ее за стол. И она, наголодавшись, ела так вкусно, что и он, знавший меру в еде и питье, пил и ел, и не мог ни насытиться, ни наглядеться на любимую.

— Ты есть моя судьба! — воскликнул он в порыве откровения. — Клянусь, каждый твой день, прожитый на этой земле, на моей земле, которая уже через несколько дней станет нашей землею, землею детей наших, потомков наших — будет для тебя прекраснее самых счастливых твоих сновидений.

Он ударил в ладоши, и в келию вошли музыканты. Под музыку скользнувшую, столь и волнующую начались танцы дев. Они являлись с каждой новой мелодией в одеждах более смелых и вдруг вышли в кисее с подсвечниками в руках. Танец был мучительно сладострастен.

— Как это грешно! — прошептала Марина, бледнея и обмирая.

— Этому танцу моих танцовщиц обучил иезуит Лавицкий. Так развлекали папу римского Александра, кажется...

Девы поставили светильники на пол и, обратясь к пирующим спиной, склонялись над свечами и гасили по одной свече. Снова круг, наклон, и еще одна свеча меркнет.

— Остаток ночи я проведу у тебя, — прошептал Дмитрий Марине.

— Но это невозможно!

— Отчего же невозможно?

— Это монастырь, — и засмеялась, утопая в глазах соблазнителя, и чуть не застонала. — Но ведь надо будет показывать боярыням мою рубашку!

— Экая печаль. Курицу зарежем.

И смеялись, заражая друг друга, смеялись, пока не опустела келия.

Тогда снова стали они тихи и серьезны и посмотрели глаза в глаза, и было то мгновение в их жизни мгновением доверчивости и одного счастья на двоих.

Люди Шуйского разносили слухи о поругании Маринкой и расстригой святого места. Рассказывающий крестился, слушающий плевался. Вся Москва плевалась.

А слухов все прибывало, один пуще другого.

— Сретенский потешный городок, думаешь, для чего? — шептали шептуны. — Для чего пушки туда свезли? Соберут народ на потеху, да и перестреляют всех! Вот для чего! Все боярские дома — полякам, все монастыри — полякам. Монахинь замуж будут выдавать. Вот как у расстриги с Маринкою задумано!

Хоть верь, хоть не верь, но Мнишеку уже отдали дом Бориса Годунова. Все пригожие дворы в Китай-городе да в Белом городе отведены под постой полякам. Даже Нагих из домов повыгоняли. Дескать, на дни свадьбы. А коли дома понравятся? Москва понравится? Житье на русском горбу понравится? Ведь не уйдут!

Третьего мая в Золотой палате государь всея Руси принимал Юрия Мнишека, его родственников и великих послов короля Сигизмунда, которые должны были представлять его величество на свадебных торжествах.

Самую замечательную речь на этом приеме произнес гофмейстер Марины пан Станислав Стадницкий.

— Сим браком утверждаешь ты связь между двумя народами, — сказал он, упирая глаза в бояр, — двумя могучими, гордыми народами, которые сходствуют в языке и в обычаях, равны в силе и доблести, но доныне не знали искреннего мира и своею закоснелою враждою те-

шили неверных; ныне же готовы, как истинные братья, действовать единодушно, чтобы низвергнуть луну ненавистную...

То было прямое указание на Турцию, против которой у Дмитрия собраны полки и против которой готовы выступить вольные шляхтичи, хотя у короля были иные намерения и цели.

Интрига короля тотчас и явилась на свет перед боярами и поляками. Посол Олесницкий, произнеся приветствие, вручил Афанасию Власьеву королевскую грамоту. Власьев чуть ли не на ухо прочитал ее Дмитрию и возвратил послу.

– К кому это писано? – сказал Власьев, пожимая плечами. – К какому-то князю Дмитрию. Монарх российский есть цесарь.

– Какое беспримерное оскорбление для короля! – крикнул Олесницкий. – Для всех высокородных рыцарей Речи Посполитой, для всего отечества нашего!

Дмитрий сделал знак, и когда с головы его сняли царский венец – без венца он получал право на свой голос – сказал, не скрывая гнева:

– Слыханное ли дело, чтобы венценосец пускался в споры с послом? Я бы и смолчал, но дело касается величия великой России. Король диким своим упрямством вывел меня из терпения.

Дмитрия понесло, он кожей чувствовал, что слушают его, затая дыхание, и уж не мог остановиться.

– Королю Речи Посполитой изъяснено и доказано: я есть не только князь, не только господарь и царь, но император, ибо владения мои не имеют измерения и народы, подвластные мне, неисчислимые. Сей титул дан мне Богом, и он не есть пустое слово, как титулы иных королей, – понял, что стрела бьет точно в Сигизмунда, улыбнулся и увел в историю. – Ни ассирийские, ни мидийские, ни римские цесари не имели действительнейшего права так именоваться. Могу ли я быть доволен титулами князя и господаря, когда мне служат князья, господари и даже цари? Не вижу равного себе в странах полунощных: надо мною один Бог! Многие монархи европейские называют меня цесарем. Не понимаю, какая выгода Сигизмунду убавлять то, что огромно, что видят все, кроме него одного? Пан Олесницкий! Мог ли бы ты принять на свое имя письмо, если бы на нем не было означено твое шляхетское достоинство? Сигизмунд имел во мне друга и брата, какого еще не имела Речь Посполитая, теперь же я вижу в нем своего зложелателя.

То была чудная отповедь! Дмитрий сиял: пусть только господа послы посмеют заикнуться о земельных притязаниях Сигизмунда. Шиш ему под нос!

Но Олесницкий тоже вскипал.

— Я не готов говорить складно без приготовления!.. Но нужна ли она, достойная складность, когда на глазах у нас всех творится неблагодарнейшее забвение королевских милостей? Не безрассудство ли требовать титулы, не предъявляя на них ни единого законного права? Нет в истории России ни единого самодержца, который именовал бы себя — цесарем. Ты в одном прав, государь, — над тобою Бог, и он совершил свой Суд за все неправды.

Дмитрий слушал посла, склонив голову набок, как врач слушает дыхание больного, но глаза его были устремлены на Шуйского. Лицо Шуйского пылало от возбуждения — понравилось, как чистят его государя.

Дмитрий вздохнул, улыбнулся.

— Пан Олесницкий! Ты не совсем прав, уличая меня в забывчивости к тем, кто делал мне добро. Я помню твоё добро ко мне, гонимому. Я помню, что ты был мне ласковым знакомцем. Так подойди же ко мне, к руке моей, не как посол, а как друг.

Пан Олесницкий встрепенулся по-петушиному и по-петушиному же выкрикнул:

— Или я посол, или не могу целовать руки твоей!

Дмитрий был уже в шапке Мономаха и молчал. Ответил пану Олесницкому Афанасий Власьев:

— Государь, готовясь к брачному веселию, желает всем доброго. Он снисходителен ныне даже к противникам своим, для друзей же у него сердце открыто.

И принял королевскую грамоту. Послам указали место, где сесть, и, соблюдая правило, Дмитрий спросил их о здоровье короля.

Пан Олесницкий встал, и снова с протестом:

— Немыслимо спрашивать о здоровье короля Речи Посполитой сидя. Царь, если он не желает оскорбить его величество, должен сказать это стоя.

Глаза бояр блестели, как у мышат, им нравилась схватка, им нравилось, что их государь достоинство свое блoudet и стоит за него каменно.

Но Дмитрий вдруг усмехнулся, оторвал зад от трона и повторил вопрос о здравии не совсем сидя, но и не совсем стоя. Поляки расцвели, а на лица бояр хлынула досада.

— Король отступил от него, — шепнул Василий Шуйский Василию Голицыну, когда они рассаживались по каретам.

И окинул кремлевские Терема с победою.

Отсветы огня шарили по стенам, будто искали кого. Марина приказала потушить в келии все свечи, келия снова была пуста и пугала

мешком тьмы, который всякий раз выпрясала в этот огромный каменный склеп длинная ночь Московии.

— Пора на выход, наягнейшая моя панна млада! — тихонько сказала служанка.

— В этой жуткой комнате кончается моя прежняя, моя беспечная жизнь, — откликнулась Марина. — Там, где факелы — величие, история, но здесь я, Марианна, мамин дочка, панночка из Самбора. Это не я, это ноги мои медлят. — И обняла свою верную панну. — Что бы ни случилось, никогда, никогда не оставляй меня!

Расцеловала, утерла платочком ее и свои слезы и принялась каменеть, и окаменев, двинулась, как статуя, из монашеской келии в королевы.

Во дворе монастыря ее ожидала золотая колесница. Двести фальшиков, подняв над головою факелы, озаряли путь во Дворец.

Посрамление вечных русских обычаем началось с самого утра. Сначала был совершен обряд обручения. Наряжали Марину боярыни. Платье тяжелого багряного бархата было унизано алмазами, узоры по подолу и рукавам — персидский жемчуг.

— Матерь Божия! Тяжелее кольчуги! — охнула Марина.

А на ножки ей уже натягивали сафьяновые сапоги, в жемчужных цветах, с сапфирами и сердоликами. Шапка — все два пуда!

— Да я же умру! — взмолилась Марина, но не умерла.

Поддерживаемая под руки отцом и княгиней Мстиславской, она приведена была в Столовую палату, где ее ожидал жених, одетый таким же сказочным королем. На помолвку пригласили самых близких родственников, свадебных бояр и боярынь. Благовещенский проповедник Федор обручил молодых. Дружки Василий Шуйский, брат его Дмитрий, Григорий Нагой резали каравай с сырами, разносчицы шипинки.

Как на пожар торопился Дмитрий! Хоть бы неделю подождал после обручения. Так нет! Все в один день втискивал: обручение, венчание Марину на царство и свое венчание с Мариной.

Из Столовой наспех обрученные явились в Грановитую палату, где жениха и невесту ожидала Дума, все высшие придворные чины, послы польские, командиры гусар, придворные будущего двора императрицы.

Два трона стояли на царском месте.

Василий Шуйский, поклонясь Марине, сказал необычайные для русского царства слова:

— Наягнейшая великая государыня! Цесаревна Мария Юрьевна! Волею Божией и непобедимого самодержца, цесаря и великого князя

всех России, ты избрана быть его супругою. Вступи же на свой цесарский маестат и властивуй вместе с государем над нами!

Обновила престол Марина серьезно. Не таращилась в пространство, распertiaя гордыней, не спешила одарить боярство улыбкою, сидела опустив ресницы и была так нежна и величава, что во многих сердцах шевельнулось примиряющее: «А может, и хорошо все это? Царей Бог дает!»

Посидели недолго. Уже поспело новое действие, небывалей небывалого. Все отправились в Успенский собор на венчание царской невесты, – пока еще невесты! – на царство!

Князь Василий Голицын нес царский скипетр, Петр Басманов – державу, невесту вела княгиня Мстиславская, жениха – невестин отец.

Посреди Успенского собора был водружен чертог, на котором поставлены три престола: государя, персидский, золотой, государыни – серебряный, и патриарший.

Началось священнодействие, с пением, с возгласами, молитвами. Святейший патриарх Игнатий возложил на Марину Животворящий Крест и бармы, а когда свахи сняли с ее головы венец невесты – диадему и царскую корону.

Началась долгая, полная литургия. Польские послы взороптали.

– За что нас наказывают?! – во весь голос, заглушая службу, воскликнул пан Госевский. – Можно ли столько стоять на ногах? Если царь сидит, то и мы должны сидеть! Мы представляем его королевское величество!

Дмитрий только головой покачал и послал князя Мстиславского сказать послам, что он, самодержец и царь, все службы слушает стоя, сегодня же сидит единственно ради коронования Марины.

Послы примолкли, но оба они, и Госевский, и Олесницкий, громко рассмеялись, указывая пальцами на братьев Шуйских, которые ставили под ноги царю и царице скамеечки.

– Слава Богу, что мы подданные Речи Посполитой, где такой низости во веки веков не было и не будет! – не умеряя голоса, выкрикнул Госевский.

На него не оглянулись, ибо в тот миг совершалось еще одно замечательное действие: патриарх возложил на Марину Мономахову цепь, помазал миром и поднес причастие. Марина вдруг отвела от себя руку патриарха с ложечкою, полной крови Христовой.

Кажется, сами стены собора не сдержали вздоха и стона. Русские обмерли, а поляки захлопали в ладоши.

– Виват, Марина! – негромко, но радостно воскликнул Олесницкий.

Через малое время служба, наконец, закончилась, но из храма вышли одни только поляки. Двери храма заперли, и патриарх Игнатьй обвенчал Дмитрия и Марию по всем правилам русской церкви. Вот теперь Марина приняла причастие и во всем была послушной, кроткой и даже робкой.

Таких пиров Москва не ведала. Весь Китай-город, Белый город, не говоря уже о Кремле, были пьяны и гоготали гоготом нерусским. Целую неделю шла гульба.

Не тем она была нехороша, что пушки палили, музыка гремела и пьяные паны занимали всю ширь московских улиц. Нехороша она была всяческим умалением русского государства, русского обычая и русского человека.

Русский человек хоть и помалкивал, не зная, как за себя заступиться, но обиду понимал и болел ею. И не той, что совершилась умышленно, намеренно – эту можно растолковать и простить им, по природному своему великодушию, – а вот обида нечаянная камнем в сердце падала. Нечаянная обида у обижающего в крови сидит.

Ладно! На обеде в Грановитой палате царь Дмитрий сидел к русским боярам спиной, к гостям польским – лицом. Ладно! Посадили польских гусар в Золотой палате, и царь, придя к ним, провозгласил тост во славу польского оружия, пил чашу до дна и объявил, что жалует каждому гусару по сто рублей! Ладно! На пир в царицыных комнатах Марина сизошла пригласить только двух русских: Власьева и Мосальского. Она и русским оказала милость, сделав пир для них, без поляков, и была в русском платье, ела русские блюда, пила русские меды. Ладно! То – двор! Вечная игра.

Но вот московские люди в первый день свадьбы пришли под окна дворца, чтобы порадоваться красоте и счастью новобрачной, звали ее выйти на крыльцо, а из дворца вышла стража и огласила великое царское слово.

– Довольно орать, прочь пошли!

Пьяные паны тискали на улицах женщин, тащили в свои дворы. До того распоясались, что выхватили из колымаги боярыню, и быть бы горчайшему бесчестью, если бы люди не отбили у наглецов несчастную. В набат ударили.

Гайдук Адама Вишневецкого пустил в ход оружие и ранил посадского человека. Пол-Москвы сбежалось ко двору царского родственничка. Грозились, но все же в дом не посмели ворваться. У Вишневецкого тоже было много людей, и все – солдаты.

Кремлевские обиды – потеха для злой памяти, из таких обид рождаются умыслы. Уличные обиды – обиды народу. Их не запоминают, за них бьют.

15 мая Дмитрий, устав от пиров, взялся дела разбирать. Принял польских послов, отдал новые распоряжения о походе. Выслушал тревожные сообщения Басманова о беспорядках в городе.

Снова объявился правдолюбец: обличал царя в еретичестве, называл расстригой. Дмитрий приказал пытать болтуна.

16 мая в субботу царь приехал на Конюшенный двор смотреть коней, отобрать себе для похода самых крепких и быстрых.

Солдат-умелец, улучив мгновение, вместе с поводом подал царю записку. Дмитрий прочитал ее только через несколько часов, в Кремле. Записка была короткой: «Государь, побереги себя! Изменники назначили переворот на завтра, на 17 мая».

С тем же примчался Юрий Мнишек, он был так напуган, что не мог усидеть на одном месте и минуты.

– Вся Москва против нас! На базаре полякам не продают пороху и свинцу. Передо мной к тебе приезжал Стадницкий со своим братом, сказать о том же, но их не пустили к тебе! Гроза не минует, если ее не предотвратить.

– Поменьше надо безобразить и не развозить по Москве свои страхи. – Дмитрий был спокоен, он улыбался. – Народ любит меня! Народ не даст меня в обиду.

– Народ и впрямь тебя любит! Но будь благоразумен, введи в город войско. – Мнишек подал зятю целую стопу челобитных. – Это все писано тебе. Твои доброжелатели называют изменниками – бояр.

– Я успокою всех захватывающим зрелищем взятия потешного города за Сретенскими воротами, – пообещал Дмитрий.

Как только Мнишек уехал, его спокойствие улетучилось, позвал Басманова.

– Охраны в Кремле – пятьдесят человек. Поставь на ночь еще одну роту. Но главное, надо выставить караулы перед казармами и домами поляков. Резни никак нельзя допустить. – И положил на плечи Басманова обе руки. – Кто? Кто из моих бояр самый опасный?

Басманов опустил глаза.

– Сегодня особо явно дерзил польским послам Татищев.

– Я же говорил тебе! Приставь к нему соглядатаев. Будь тверд, Басманов. Пусть стража убивает на месте всякого, кто попытается проникнуть во дворец без зова. На месте!

И приказ этот был исполнен. Ночью в Кремле убили троих неизвестных.

Майская румяная заря заливала небо и землю. Пламенели, как маков цвет, и маковки, и луковки, и купола.

Марина спала, сбросив одеяла, раскинув ноги и руки – так богатырски спят дети.

Нежность дотронулась до сердца Дмитрия и – тотчас все тревоги встали перед ним.

Через минуту-другую он был одет. Поспешил к Басманову. Басманов ночевал в ту ночь во Дворце.

– Все спокойно, государь, – сказал Басманов. – Забрело трое людей, но их убили.

Дмитрий вышел на Красное крыльцо. Здесь государя ожидал Власьев.

– Надо приготовиться и подготовить наших гостей к завтрашнему потешному взятию Сретенской крепости. Да смотри, Афанасий, говори с послами твердо. Коли будут упрямиться, намекни, что войско собрано, а куда пойдет, то – один государь знает.

– Не круто ли?

– Понятливее будут, а то уж больно бестолковы. Ушел довольный, мечтая пробудь Марину ласками.

В это время как раз менялась стража. Стрельцы, выставленные на ночь возле польских казарм, ушли домой. Покинула дворец рота Маржерета, сам он то ли был болен, то ли сказался больным, но на службе его не оказалось.

Для своих думных дел поспешили в Кремль бояре. Первыми через Фроловские ворота прошли Василий Голицын и трое Шуйских, Василий, Дмитрий, Иван. Дверь во Фроловские ворота так и не закрылась более в тот день. Сразу за боярами – хлынула толпа вооруженных людей. Ворота были заняты и отворены. Стража, побросав оружие, бежала в город.

– Вот уж одно дельце сделалось, – приговаривал Василий Шуйский, садясь в седло. – С Богом!

И поскакал через Красную площадь в Торговые ряды. Набат ударили сначала у Ильи Пророка, потом на Новгородском дворе, и пошел рокот, покатил по всей Москве так рьяно, с таким рыком, будто медведь на задние лапы встал.

Народ высыпал на улицы и, еще не зная, что и почему, тянулся на Красную площадь. А там уж кричали:

– Кремль горит! Литва царя убивает!

Поляки, вышедшие из своих домов и казарм, принуждены были защищаться и отступали обратно в дома.

Немецкая пехота построилась в боевые порядки, развернула знамена, но народ, вооруженный чем попало, загородил дорогу. Пришлось и немцам свернуть знамена и уйти в казармы.

Василий Шуйский успел облачиться в доспехи и теперь в латах, в шлеме скакал со своим дворовым полком через Спасские ворота, и все взоры были устремлены на него. В одной руке у него сверкал обнаженный меч, в другой крест.

Спешился у паперти Успенского собора, приложился к иконе Владимирской Богоматери и, выйдя из храма, направил и крест и меч в сторону дворца.

— Идите и поразите злого еретика! Бог с нами! Бог оставил отступника!

И снова Дмитрий одевался, как на пожар. За Басмановым послать не пришлось, встретились в дверях.

— Что за колокола такие?

— Не верил мне. А ведь вся Москва на тебя собралась! Кругом измена! Во дворце тридцать телохранителей — остальные все ушли. Спасайся, государь. Я задержу их.

Дмитрий выхватил бердыш у телохранителя Шварцгофа, ударил бердышем в окно. И, замахнувшись на толпу, закричал:

— Прочь! Все прочь! Я вам не Годунов!

Грохнул выстрел, пуля ударила в подоконник и завизжала, как ведьма.

— Ступай к ним! Скажи им! — взмолился Дмитрий Басманову.

И тут в комнату вбежал, растопыря руки, здоровенный детина. Басманов рубанул его саблею по голове сверху, во всю силу, и развалил. Телохранители тотчас подхватили тело, выбросили в окно.

— Иду, государь! Иду! — сказал Басманов и бросил на пол окровавленное оружие.

Дмитрий смотрел на эту саблю, на кровавый след, оставленный зарубленным человеком, и впервые ему пришла в голову простая мысль: «А ведь и меня могут». Столько видел убитых, столько рисковал в жизни, и ни разу, ни разу не подумал, что могут... его.

Нагнулся, поднял саблю. Сабля была тяжелехонькая.

20

Басманов вышел на Красное крыльце один. Увидел Михайлу Салтыкова.

— Зачем ты сюда пришел? — спросил он его. — И Голицыны здесь?.. Здравствуй, Иван! Здравствуй, Василий! Ба! Татев! Вот и хорошо, что вас много. Удержите народ от безумства. Бунт и вас погу-

бит. Вас самих. Коли не в первую, так во вторую руку. Царь милостивый. Он умеет прощать... Без государя волки по Москве будут рыскать, как у себя в лесу. Вы только подумайте, что станется с Россией без власти?

Говорил со всею страстью, со всею верою в справедливость своих слов, и не видел, как за спину ему зашел Михайло Татищев.

— Иди-ка ты в ад со своим царем! — крикнул Татищев, по рукоять всаживая в Басманова засапожный нож.

Грохот ног на лестнице вывел Дмитрия из оцепенения, кинулся к спальне. Крикнул:

— Сердце мое, измена!

Большего он не мог сделать для жены. Чтобы что-то сделать, надо вырваться за стены Кремля.

Не выпуская из рук сабли, метнулся по комнатам, забежал в баньку. Окинул взглядом печь, каменку. Здесь не отсидишься. Промедлишь — смерть.

Потайными ходами пробрался в «Каменные палаты». Палаты выходили окнами на Житный двор, место малолюдное. Отворил окно, положил на пол саблю, перенес через подоконник ногу, подтянул другую. И, прыгая, задел чрезмерно высоким каблуком каменный подоконник. Упал неловко, на одну ногу. В глазах сделалось темно.

Тем временем несчастная Марина, едва приодевшись, кинулась из покоя прятаться. Но куда? Прибежала в подвал, а слуги смотрят. Множество глаз. Вроде бы и участливых. Но не очень.

— Шла бы ты к себе! — сказал ей один сердобольный человек.

Марина побежала обратно. К дамам своим, к охране. А по дворцу уже метались искатели царя и царицы. Поток диких грубиянов подхватил се, понес по лестнице, выдавил на край, стокнулся. Она упала, ушиблась. Но никто не обращал на нее никакого внимания — не знали своей царицы. Она снова влилась в поток, и на этот раз ее вынесло на верх. Зная дворец лучше, чем погромщики, Марина опередила их, забежала в свои комнаты. А рев зверя уже в дверях.

— Прячтесь! Прячтесь! — крикнул Марине ее телохранитель Ян Осмульский.

Марина стала за ковер, выскочила, озирая такие огромные, такие предательские, ясные по убранству покой. Ничего лишнего! И кинулась под огромную юбку своей величавой гофмейстерины.

Ян Осмульский один, с одною саблей, встретил толпу. Он убил двух или трех осквернителей царского достоинства и даже обратил толпу в бегство, но никто ему не помог. Алебардщики покорно сложили алебарды у ног своих. И он был убит. И растоптан.

— Где царица? — кинулись убийцы к Марининым статс-дамам.

— Она в доме своего отца! — был ответ.

И тут наконец-то появились бояре. Покой царицы были очищены от лишних любопытных глаз.

Марина вышла из своего удивительного укрытия. Ее отвели в другую комнату. Приставили сильную стражу.

Дмитрий очнулся от потока воды — на него опрокинули ведро — увидел склоненные лица стрельцов. Это были новгородсеверцы, те, что пошли за ним с самого начала.

— Защитите меня! — сказал он им. — Каждый из вас получит имени изменника-боярина, их жен и дочерей.

— Государь! Дмитрий Иванович! Да мы за тебя головы положим!

Стрельцы устроили из бердыши носилки и понесли государя во дворец.

А во дворе разор. Все грязно, повалено, брошено. Алебардщики без алебард, опускают головы перед государем.

«Господи! — взмолился про себя Дмитрий. — Пошли мне милость твою, я буду жить одною правдой! Я очищу душу мою перед тобою, господи. Только не оставь меня в сей жестокий час».

Боярам донесли о возвращении Самозванца во дворец. Заговорщики Валуев, Воейков, братья Мыльниковы кинулись с толпою — убить врага своего. Стрельцы пальнули в резвых из ружей, и двое уж не поднялись с полу. Но толпа росла.

Дмитрий, сидя на кресле, сказал людям:

— Отнесите меня на Лобное место! Позовите матери мою!

Все мешкали, не зная как быть.

— Несите меня! Несите! — приказал Дмитрий и опустился на бердыши.

И тут через толпу продрался князь Иван Голицын.

— Я был у инокини Марфы, — солгал он людям. — Она говорит: ее сын убит в Угличе, этот же — Самозванец.

— Бей его! — выскоцил из толпы Валуев. Стрельцы заколебались и стали отходить от царя.

— Я же всех люблю вас! Я же ради вас пришел! — сказал Дмитрий, глядя на толпу такими ясными глазами, каких у него никогда еще не бывало.

— Да что с ним толковать! Поганый еретик! Вот я его благословлю, польского свистуну!

Один из братьев Мыльниковых сунул дуло ружья в царево тело и пальнул.

И уж все тут кинулись: пинали, кололи и бросили, наконец, на Красное крыльце на тело Басманова.

— Любил ты палача нашего живым, люби его и мертвым!

Толпа все возрастила, и уже спрашивали друг у друга:

— Кто же он был-то?

— Да кто?! — крикнул Валуев. — Расстрига. Сам признался перед смертью.

Никто дворянчику, у которого вся одежда была в крови, не поддакнул.

Кому-то явилась мысль показать тело инокине Марфе.

Поволокли труп к монастырю, вывели из покоев инокиню.

— Скажи, матушка! Твой ли это сын? — спросил кто-то из смельчаков.

— Что же вы не пришли спросить, когда он был жив? — черна была одежда монахини, и лицо ее было черно, под глазами вторые глаза, уголь и уголь. Повернулась, пошла, но обронила-таки через плечо: — Теперь-то он уж не мой.

— Чей же!

— Божий.

Смузженная толпа таяла. Но пришли другие, которые не слышали инокиню. Потащили труп к Лобному месту.

Озорники принесли стол. На стол водрузили тело Самозванца. На разбитое лицо напялили смеющуюся «харю», маску, найденную в покоях Дмитрия. Этого показалось мало, сунули в рот скоморошью дудку.

Тело Басманова уложили на скамью, в ногах хозяина.

Последнее

Три дня позорила Москва своего бывшего царя. Простые люди глядили на безобразие и плакали.

Тело Басманова выпросил у Думы Иван Голицын. Басманов был ему двоюродным братом. Похоронили верного товарища Самозванца возле храма Николы Мокрого.

Тело же Самозванца по приказу Шуйского привязали к лошади и, унижая в последний раз, проволокли через Москву. Упокоили бедного на кладбище убогих, безродных людей за Серпуховскими воротами.

И в ту же ночь удариł мороз. Как ножницами срезал озимые. Скрутил и вычернил листья на деревьях.

— Та погибель на нас от чародейства расстриги! — будоражили Москву слухи. — На его могиле синие огни по ночам бродят.

А мороз не унимался. Целую неделю земля в Москве была седой.

Уж кто сообразил? Сообразительных людей в столичном граде всегда много. Могилу убиенного разрыли, гроб отнесли в Котлы. Со-

жгли вместе с телом, пепел перемешали с порохом и пальнули из пушки в ту сторону, откуда принесло безродного сего соблазнителя.

Тут бы и точку поставить. Но сколько еще детишек-то рождалось у боярышень, у купеческого звания дев, у баб простого звания, горожаночек, крестьяночек.

И ныне бывает. Поглядишь на человека – и узнаешь. И вздрогнешь. А вздрогнув в себя поглядишь да и призадумаешься.

Похороненный среди царей

Печи топили до того жарко, что князю Михайле Васильевичу перед пробуждением вот уж третью ночь кряду снилась угольная яма. Стоит у черной, в саже, стены, кругом черно, дымно. Сам он в белом, в ослепительно-чистых одеждах царского рынды, оттого и неудобство. С ноги на ногу не переступить, пошевелиться боязно: сажу на себя посадишь, в горящие угли угодишь. Угли огромные! Над углами взметываются во тьму синие языки пламени, и в пламенах этих мерецится залитое кровью лицо Михайлы Игнатьевича Татищева, убийцы Басмановаубиенного в Новгороде по навету по его, Скопина, попустительству и греху.

В третье сновиденье князь Михайла Васильевич, набравшись мужества, спросил-таки убиенного:

—Чего тебе, Татищев, надобно?

И тот, колеблемый угарным воздухом, наклонился, завел руки под самый низ костища, черпнул полной пригоршней и принял пить огонь с горящих ладоней, и глядел на князя белыми, как у сваренной рыбы, глазами.

—Не я тебя убивал! — закричал на Татищева Скопин. — Мои руки чисты.

И показал руки.

Призрак засмеялся, и было видно, как падают с его губ длинные капли горящей смолы, так льется слюна из пасти бешеных собак. Скопин поглядел на руки свои, а в ладонях доверху — кровь.

—Неправда, — сказал князь Михайла и пробудился.

И горько ему было. Пожелал он, пожелал смерти Татищеву, за того же Басманова, за подлый нож в спину, но пожелал не умом, не сердцем, а так, в мимолетной в стыдной минуте ревности. У каждого ведь человека мелькают в голове дьявольские промыслы... Ангелы, слава Богу, на страже, тотчас и обелят черное.

Скопин с тоскою озирал опочивальню. Не стены ли навеивают сов? Здесь отдыхал от своих кромешных дел царь Иоанн Грозный. Переменить бы спаленку, да — Господи! — разговоров не оберешься.

Тело было липкое от пота, но мерещилось, что это кровь.

«Михайла, — снова закрыл глаза Скопин, — тезка! Мог ли я умолчать о доносе на тебя? Сколько измены! Кругом измена!»

Слова полуправды не развеяли смертной тоски, сосущей сердце. Донос можно было огласить перед митрополитом Исидором, за четырьмя стенами, а огласил его Михайла Васильевич посреди Великого Новгорода, при стечении всего народа. Татищев отправлялся в поход на тушинского воеводу Кернозицкого, под Бронницы, чтобы не дать лихим людям пустошить новгородскую землю. И вдруг сказано: ведет сей полк силу Новгорода, чтобы переметнуться на сторону Ворва.

Был, был грех, возревновал Скопин к будущей славе Михайла Игнатьевича. Всего и хотел — оттеснить на время. Проклятый! Проклятый дьяк Телепинев! Он-то и нашептал: Игнатович де — закадычный челядник Гришки Отреяева, спит и видит, как бы услужить своему господину.

Спрашивал Скопин народ не без игривости: мол, доверим войско ближнему человеку Самозванца — будто сам не был Великим Мечником, ближе некуда — или повременим?

А дальше был ужас. Михайла Игнатьевича тянули с помоста в толпу, будто змея мышонка в утробу свою змеиную заглатывала.

И давили ногами, и пыряли ножами. Да еще рот затыкали, чтоб оправданий не слышать.

Зато хоронили краше некуда — всем городом, с рыданиями, с раскаяньем, с величавыми почестями. В обители святого Антония та горестная могила. Но как аукнулось, так и откликнулось.

Вместо мнимой измены произошла измена явная. Убийцы Татищева, спасая головы, бежали к пану Кернозицкому. Кернозицкий же, заняв Хутынский монастырь, вдруг сам пустился наутек. Подошло к Новгороду ополчение городов Онеги и Тихвина, с тысячу человек всего, но слухи на войне тоже хорошо воюют.

2

Михайла Васильевич сбросил одеяло и стал босыми ногами на пол, желая, чтобы половицы были холодные — очнуться от жуткого сна. Но о князе, о спасителе всея России заботились прилежно: полы в опочивальне были теплы, вода для умывания подогрета.

«Помянуть надо Татищева! Службу заказать!» — решил князь и прильнул к морозному окошку, с удовольствием взирая на Троицкий собор. Славно проснуться в Александровской Слободе. До Москвы сто верст с четвертью. Далече Новгород Великий.

В Новгород Скопин-Шуйский приехал еще в феврале 1608 года, сразу после погибели царской рати под Болховыми. Государь, уж не надеясь боле ни на русских воевод, ни на русское войско, смиря гордыню, велел племяннику сторговаться со шведами и привести в Москву шведских наемников. Переговоры с королевскими людьми вел шурин Скопина Федор Васильевич Головин. Но шведы помнили недавние царские грамоты и, прежде чем помогать, хотели, чтоб Московский царь испил полной чашей напиток бессилия и позора. Давно ли Корельский воевода князь Мосальский высокомерно выговаривал выборскому коменданту: «Хотите знать от меня, кто у нас царь и великий князь! Но государь ваш знает по нашей сказке, что у нас государь Василий Иванович всея Руси... И все ему служат, и розни... никакой нет. По милости Божией, и вперед не будет! А вы теперь, не ведомо каким воровским обычаем, пишите такие непригожие и злодестственные слова. А что пишете о помощи, и я даю вам знать, что великому государю нашему помощи никакой ни от кого не надо, против всех своих недругов стоять может без вас, и просить помощи ни у кого не станет, кроме Бога».

Сам-то князь Скопин все еще надеялся на своих. Хотел собрать войско из новгородцев, псковичей, из многих иных северных городов, но вышло худо.

В те поры на русской земле Гора Лжи вспучилась до небес. Не только города, но и многие монастыри вознеслись на гнойнице, не ведая, что вознесение сие антихристово – Вора принимали и за Вора Бога молили. Каждый второй человек на Руси служил Неправде, ждал благополучия не от трудов, но от грабежа, насильства, от разорения соседа.

Попутал бес и псковского воеводу Петра Шереметева. Крестьяне пришли просить защиты от тушинского воеводы Федора Плещеева, но Шереметев приказал им целовать крест Дмитрию – законному, прирожденному государю. И сам же, восхищаясь вероломством своим, послал карательный отряд грабить этих крестьян, брать их в плен за измену. Чего ради? А поднажиться.

1 сентября, опасаясь шведов, которые шли помогать Шуйскому, народ пустил во Псков тушина Плещеева.

Через неделю бежали из Новгорода спасители России – Скопин, Татищев, Телепнев. Тайно, подло, бросив и само дело на произвол судьбы, и дружину свою, с одними только слугами. Героям выпал жалкий жребий мыкаться от города к городу. Искали надежного укрытия, а попадали с одной измены на другую. Сломя головы улепетывали от Иван-города, от Орешка, где воеводствовал Михаил Глебович Салтыков. У Салтыкова нос в хоботок вытянулся. Уж так мог

унюхать переменные ветры, что самому себе ни в чем не верил, гнал из сердца даже малую приверженность, а за позывы совести наказывал свое чревоугодливое брюхо жестоким постом.

Пришлось беглецам пуститься прочь, все дальше и дальше от мятеяй и недовольств, пока не очутились в устье Невы. Тут и разошлись пути Скопина и Татищева. Татищев возвратился в Новгород раньше Михайлы Васильевича. Скопин обрел храбрость лишь с послыством к нему новгородского митрополита Исидора, который пресек измену в самом ее зародыше.

Юный князь явился в Новгород в минуту роковую. К новгородским пределам подступал тушинский воевода пан Кернозицкий, и не Михайла Скопин, а Михайла Татищев собрал отряд для сопротивления.

Уже стоя на утренней молитве, князь Михаил, размыкая в душе заколдованный круг, спросил себя: «Отчего же ты не вступился за Татищева, когда его в толпу потянули? Не Татищев ли сажал на престол твоего дядюшку, не Татищев ли добрый гений рода Шуйских? За себя испугался?» У совести все вопросы не в бровь, а в глаз, но в ответчиках Тихий Хранитель наш: «Каюсь. Ужасом был объят. Смалодушничал по молодости лет. Каюсь». И тут же выступили покоробленные Гордыня и Спесь: «А не сам ли Татищев обрек себя на смерть подлую? Совершивший злодейство злодейством умерщвлен. Зачем же ты, Господи, не молнию послал на грешника, но человеков? Так ведь и конца не будет...»

Горячо молился юный князь, смиря греховное несмирение свое.

— Не отвратись, Господи, от меня ради глупости моей.

Бог был с ним. И войско шведское послал, и образумил многих русских людей, и дал победы. Ныне же одним только стоянием в Александровской Слободе он, князь Скопин, повергает врагов в бегство.

С молитвы Михайла Васильевич поехал обозрить строительство деревянной крепости, которой он обносил Слободу. Слобода была опоясана каменной стеною, но за двумя надежнее.

3

Одну из башен со стороны поля строили под наблюдением генерала Зомме. Скопин желал получить от Зомме совет, но не явно, не при боярах и шведах. Тайной встречи он тоже опасался, все равно углядят. Поговорить на стройке у всех на глазах неприметнее. Князь верил генералу. В шведском пятитысячном войске, которое в конце марта 1608 года привел в Новгород Яков Делагарди, шведов почти и не было. Были шотландцы, англичане, французы, немцы, голландцы —

все повоевавшие в разных армиях, за Голландскую республику и против нее, с поляками и за поляков, за всех, кто платил. Это войско шведского короля Карла IX стоило России города Корелы, по-шведски Кексгольма. Еще Карлу союз и дружба, а наемникам сто тысяч ефимков в месяц. Наемники в бою были хороши, но капризы и не-надежны. Дважды оставляли Скопина, поворачивали и шли назад к Новгороду, один Христиерн Зомме со своей тысячию оставался верен договору, участвовал во всех горячих делах, и, бывало, только стойкость его солдат спасала русское войско от поражения.

— Скажи, генерал, правду, будь за отца, — улучив минуту, спросил князь. — Мне прислали деньги из Соловецкого монастыря и от Петра Семеновича Строганова. Когда заплатить Делагарди и его солдатам, теперь или как в Москву придем?

О деньгах говорить Скопину было все равно что острым ножом по сердцу, краснел, глаза опускал.

— Деньги дай теперь, — ответил генерал. — Но заплатив тотчас веди войско на врагов твоих. Наемники умеют быть благодарными, но не очень долго.

— Спасибо, генерал, — просиял князь. — Что бы я без тебя делал?! А башню ты поставил отменную! Мой государь наградит тебя за службу по-царски. Шуйские дорого ценят верность.

Полегчало на сердце у Михайлы Васильевича. Ждал Делагарди с нетерпением, встречу он назначил здесь, у новой башни. Совет Зомме был уже тем хорош, что приготовлял Скопин для союзника и друга одну нечаянность, а их получилось две.

Делагарди приехал с офицером-толмачем.

Наслаждаясь легким морозцем, румяными облаками, инеем на огромных березах, генерал улыбался князю уже издали, заранее раскрывая объятия. Оба были высокие, молодые, и среди пышнотелого, изнемогшего от важности боярства, среди своих умудренныхвойной и жизнью солдат они чувствовали себя заговорщиками. Не войдя еще в серьезный возраст — люди завтрашнего царства — вершили юные полководцы судьбы народов и государств. Генерал Яков Делагарди был старше воеводы Михаила Скопина на три года, Якову исполнилось двадцать шесть.

— Как спалось, князь? — спросил Делагарди через толмача.

Михайла Васильевич от столь невинного вопроса растерялся, вспыхнул, помрачнел.

— Смутные вижу сны.

Делагарди возвел руки к небу.

— Надо женщину с собою класть в постель! У вас, русских, такие все красавицы!

– Моя жена в Москве. А я человек православный.
– Это тоже по-русски, – Делагарди напустил на себя серьезности.
– у вас множество совершенно непонятных запретов, условностей...
Впрочем, как и у нас. Сказано же: в своем глазу бревна не видно.

Делагарди по крови был французом, его род происходил из провинции Лангедок. Отец Понтус Делагарди поступил на службу шведским королям и много досадил Иоанну Грозному, обращая его рати в бегство.

Делагарди некогда сходился с отцом князя Михайла на поле брани и в посольском словопрении. Будучи товарищем новгородского воеводы, князь Василий Федорович писал эстонскому наместнику барону и фельдмаршалу: «Ты пришел в Шведской земле, старых обычаев государских не ведаешь». На что получил такой же гордый и дерзкий ответ: «Я всегда был такой же, как ты, если только не лучше тебя». Воеводе же Делагарди писал еще хлеще: «Вы все стоите в своем великом русском безумном невежестве и гордости, а пригоже было бы вам это оставить, потому что прибыли вам от этого мало».

Отцы ссорились, а дети Божиим Промыслом стали и союзники, и друзья. Яков отца не помнил, барон умер, когда сыну было чуть больше года.

Поднялись на башню. Опытный воин, Делагарди так и кинулся к бойнице.

– Князь! Посмотрите!

На Слободу, так зrimо на белых снегах, так страшно и спокойной неотвратимости, надвигалось многотысячное войско. Михаил Васильевич торжествовал. Напугал храбреца генерала!

С воеводами Иваном Куракиным и Борисом Лыковым у князя было заранее условлено, в какой час прибыть к Александровской Слободе. Полки эти пришли от царя, из Москвы, чтобы разрозненные силы, соединились наконец в единую государеву мышцу, роковую для врагов России.

– Подарок нам от государя Василия Иванович, – улыбался Скопин. – Молодцы! Хорошо идут, споро! Подождем еще боярина Федора Ивановича Шерemetева из Владимира и двинем на Сапегу. Избавим Троице-Сергиев монастырь от польского ошейника.

– Надо ли затягивать наше бездействие? – осторожно спросил Делагарди. – А если монастырь, устояв год и еще полгода, не сможет вдруг продержаться считанные дни? Я слышал, в монастыре был великий мор, силы защитников совершенно истощились.

– Но мы же помогли монастырю! Воевода Жеребцов привел за стены Троицы почти тысячу ратников.

– Это было в октябре, а сегодня второе января.

Скопин поднял свои слишком краткие для воителя глаза и посмотрел в глаза Делагарди.

— У моего царя и у всего русского царства — наше войско единственная и последняя надежда. Если нас побьют, Россия погибнет... Многие, многие предрекали ей погибель...

— Я писал моему государю, что Сигизмунда вернее всего поразить можно в России, под Смоленском. Именно в России, когда поляки так далеко от Речи Посполитой. В Ливонии поразить польское войско будет многое сложнее.

— За братскую любовь и помошь мой государь воздаст твоему государю полной мерой, — сказал князь. — Я жду обещанные твоим королем четыре тысячи солдат из Выборга. Как только они придут, мы выступим на Москву и на Смоленск, — и не выдержал серьезной мины, просиял. — У меня нынче большая охота порадовать тебя, нашего друга. Нынче мы заплатим твоему войску пятнадцать тысяч рублей, соболями.

— Ах, князь, мне так нравятся ваши хитрости! — Делагарди нашел и пожал руку Михайле Васильевичу. — Пойдемте же встречать московских воевод. Сердце всегда стучит веселее, когда силы прибывают.

И тотчас остановил князя, чуть обняв за плечи.

— Я на всю жизнь запомню ту мерзкую тоску, охватившую меня, когда мои наемники под Тверью объявили, что не желают идти в российские дебри, когда, свернув знамена, они отправились в Новгород. Я тогда обнажил меч, я проклинал их и скоро остался на дороге один... Как же хорошо, что мы вместе, как хорошо, что нас много и становится все больше!

Им было радостно от их дружества. Они, разноплеменные и столь недавно враждебные друг другу, ныне ради интересов своих государей и отечеств, могли Волею Божией быть едины, стоять друг за друга, как за самих себя. Все мелочное — сокровенные государственные корысти, повседневные утайки, опасливая подозрительность — все это ушло, и они были счастливы. Счастье это было особое, высшее, Господнее.

4

Соснув после обеда, румяные, расслабленно неторопливые, беспричинно улыбчивые воеводы и духовенство собрались в бесстолпной просторной зале обсудить дела минувшие и предстоящие.

Скопин-Шуйский занимал в совете первое место, но умел до поры до времени «потеряться», помалкивать, поддакивать, хотя среди обросших, вполне одаренных мужскою красотой советников своих

был он очень даже приметен. Ни бороды, ни усов у Михайла Васильевича по молодости не росло. Вернее, росло, да так редко, что он брился, впрочем, скрывая это заморское заведенье, такое обычное при дворе Самозванца. Про этот грех своего полководца воеводы и вся высшая власть знали, но не судили. Скопин-Шуйский был многим люб. Он покорял даже противников царя, которому был предан сам и в других не допускал ни малейшей шаткости. Духовенство, бояр, воевод, дворян, ратников едино восхищало в Скопине непостижимое по летам его н е п о с п е ш а н и е . Семи раз не отмерив, князь не то чтобы шага ступить, колыхнуться не позволял, ни себе, ни войску. Воистину сын отечества и русский человек.

На совете речь пошла о продовольствии, кто, сколько и откуда доставил и доставит. Были укоризны в сторону пермячей, которые не поторопились во спасение отечества ни единым человеком, ни единой копейкой.

Ради дружбы с Делагарди и ради скорейшего прибытия еще одного шведского войска была зачитана грамота, направляемая шведскому королю. Писал ее Скопин от имени Василия Ивановича. «Наше царское величество вам, любительному государю Каролусу королю, за вашу любовь, дружбу и вспоможение... полное воздаяние воздадим, чего вы у нашего царского величества по достоинству ни попросите: города или земли, или уезда».

Ради победы над польским королем Сигизмундом, осадившим Смоленск, ради устроения тишины на Российской земле, царь и его воеводы были готовы потесниться, пожертвовать толику от своих просторов.

С насущными делами совет покончил, пришел черед выслушать рязанцев, присланных думным дворянином Прокофием Ляпуновым с какой-то особой надобностью. Надобность сию рязанцы заранее объявить никак не захотели, а только чтоб самому князю Михайле Васильевичу с его преславными воеводами, да чтоб во всеуслышание.

И такое рязанцы сказали, что Скопин-Шуйский обомлел.

– Могучий витязь святорусский, душою и умом краше всех, кого родила и носит ныне русская земля! – восклицая на каждом слове, читал посланец Ляпунова. – Истинным благородством благородный, возлюбленное чадо Господа Иисуса Христа, царь отвагою, царь государственным разумением, царь любовью к отечеству и народу! Приими же ты, свет наш, царский венец, ибо ты есть во всем царь! Не твой дядя, дряхлый и ничтожный, но ты сам – первый спаситель России. Не лжесвидетель государь Василий Иванович, который грехом своим губит всех нас, россиян, но ты, чистый и светлый, спасешь и возродишь православие и православных...

Князь Михайла Васильевич вскочил, зажал уши, вырвал из рук рязанца грамоту, разодрал надвое, еще разодрал.

— Взять изменников! В цепи! В Москву их! К государю! К величайшему и славному царю Василию Ивановичу на суд, на жестокую казнь!

Рязанцы повалились в ноги воителю.

— Не мы сие говорим! То — Ляпунов! Мы — люди маленькие! Что нам сказали читать по-писанному, то и читаем. Смилийся! Князь Михайло Васильевич, пощади! Мы — верные слуги царя Шуйского.

— Увести их! — приказал Скопин, отирая пот с лица. — Прочь с глаз! На хлеб да воду!

И огорченный, удрученный, прекратил совет, поспешил в Троицкий собор всенощную стоять.

На молитве и вспомнил свой сон, поутих сердцем: «Не будет казни, не будет суда над слугами злых и глупых господ. За свои писания пусть Ляпунов перед царем отвечает».

Утром рязанцев выпроводили прочь из Александровской Слободы, их следы метлами замели.

5

Решиться воевать, имея восемнадцать тысяч русских да более пяти тысяч шведов против четырех тысяч Сапеги все-таки можно было. И, собравшись с духом, 4 января 1609 года в разведку к Сапегиному лагерю был отправлен воевода Валуев, и с ним пятьсот человек конных. Валуев ночью проник за стены монастыря, а рано утром, соединясь с отрядом Жеребцова, ударил на польский лагерь и, захватив пленных, возвратился в Александровскую Слободу, убежденный, что поляки слабы и развеять их возможно, хоть завтра.

Князь Скопин однако и теперь не торопился. И победил без войны.

12 января Сапега, рассорившийся с гетманом князем Рожинским, бросил свой обустроенный лагерь, который превращался в смертельную ловушку, и бежал к Дмитрову.

Только через несколько дней в само собой освобожденную Троицу пришло войско победителей князя Скопина-Шуйского и генерала Делагарди.

Одно сражение все-таки произошло, и шведы оценили отвагу и сметливость русских. Зима выдалась снежная, дороги засыпало, но воевода князь Иван Куракин поставил на лыжи и своих ратников, и приданных ему шведов, напал на Саперу под Дмитровом и в кровопролитной, упорной схватке взял знамена, оружие, пленных, взял Дмитров и гнал пустившихся в бега поляков до Клина.

Однако и теперь князь Михайла Васильевич не поторопился к Москве. Ждал крепких настов, чтобы войско по дороге не вязло, не выбивалось из сил понапрасну. Да и зачем воевать, когда у иных тушинских воевод можно было сторговать города незадорого. Поляк Вильчик за Можайск взял сто ефимков и ушел подобру-поздорову.

Стоял Скопин-Шуйский, как стоит гроза на краю неба, обещая громы, молнии и ураган.

Не дождавшись ответа от Сигизмунда, гетман Рожинский в ясный мартовский день запалил Тушинский лагерь и, развернув знамена под звуки труб, пошел прочь от Москвы. Громко, красиво уходил, но злые слезы сами собой катились по лицу храброго воина. Ах, коли бы не дубовое упрямство Сигизмунда! Кабы не гордыня Сапеги! Кабы не подлости друг против друга при дележе шкуры неубитого медведя! За горло Россию держали. Восемнадцать месяцев! И без славы с пустыми карманами, неведомо в какие дали уноси ноги, покуда дают уйти.

6

12 марта 1609 года Москва отворила ворота, встречая освободителя, отца Отечества юного князя Скопина-Шуйского и сподвижника его шведского воителя генерала Делагарди.

Народ, встретив полководцев хлебом-солью, стал на колени от первой заставы до Кремля и Успенского собора. Смирением изъявлял восторг перед мудростью юноши, посланного России и Москве не иначе как от самого Господа Бога. Народ кричал Скопину:

– Отец Отечества! Царь Давид!

Сам государь Василий Иванович, плача и смеясь, как младенец, обнимал и целовал обоих полководцев, ибо у него, государя всяя Руси, наконец-то была не одна осажденная Москва, но и вся Россия с городами, с народами, от края и до края. То был воистину день искренних слез, искренней благодарности и торжества всего народа.

Но пришла после светлого дня первая мирная, покойная ночь. Не вся Москва заснула благодарно, помянув добрею добрым словом. Во тьме боярских хором пошли шепоты, свистящие, ненавистные. О, нет! Не всякое утро вечера мудрее! Кто со злом ложился, тот со злом и проснулся.

Горе-воеводы, поганые «перелеты», порхавшие, как летучие мыши, от царя Василия в Тушино, к Вору, и от Вора к царю, поехали друг к другу, да все с вопросами: «А от ковой-то Скопин-то спас-то нас? Пан-то Рожинский сам ушел, Сапега тоже сам. Кого побил-то княжич-то? Давид-то новехенький?»

Эти говорили еще в ползлобы, с полной злобой к царю поспешали. И первым явился к Василию Ивановичу братец его, князь Дмитрий, Большой воевода, всегда и всеми битый.

— Ты что змею на грудь себе посадил?! — кинулся открывать глаза царю-брату. — Не слышал разве, что Ляпунов уж повенчал племянничка нашего твоим царским венцом? И племянничек рад-радехонек! Говорят, сидел-слушал, мурлыча будто кот. С дарами отпустил рязанцев!

Дмитрий Иванович клеветал на Скопина при царице Марье Петровне. Она пришла к государю позвать его на дитя полюбоваться, на царевну Анастасию, на крошечку их, на кровиночку.

От таких-то злодейских слов Дмитрия Ивановича царица запла-кала. Стыдно стало царю за брата, хватил он его посохом поперек спины.

— Вон, брехун! Собаки лают, а он, помело, носит! Услышу еще от тебя навет — на Красной площади велю выпороть!

Дурака прогнал, царицу утешил, на дочку полюбовался, порадовался, а как сел один в царской комнате своей, так глазки-то свои и сощурил: народ и впрямь души в Михаиле не чает... Страшнее же всего прорицание Алены. И это донесли, не пощадили. Алена на Крещенье выкрикивала, будто шапка Мономаха впору Михаилу, тот Михаил тридцать три года будет носить венец пресветлый русский.

Была любовь царя к воеводе золотая, стала бронзовая. Блестит, да не озаряет.

Когда Боярская дума принялась судить-рядить, не пора ли отправляться Скопину с Делагарди под Смоленск, государь Василий Иванович смалодушничал и не то чтобы отстранил племянника от войска, но промолчал, не сказал кому далее над полками воеводствовать. Тотчас и причина приличная съскалась. На князя Михаила Васильевича был подан извет, что он своею волей, не спросясь государя, отдал шведскому королю город Корелы и обещал впредь отдать другие многие города и земли.

Князь Михаила Васильевич ударил государю челом, и царь позвал племянника к себе на Верх.

— Что же это делается, государь мой? — спросил Скопин, опускаясь перед Василием Ивановичем на колени. — Завистники мои низвергли меня пред твоим царским величеством во врага и злодея.

— Упаси Господи, чтобы я поверил наветам! — воскликнул Шуйский, поднимая племянника с полу и усаживая на стул. — Однако скажу правду. Сам знаешь, возле царя отираются те, кому в поле да на коне страшно. Ты терпел в Новгороде, в Александровской Слободе, наберись терпения и в Москве.

Снял из божницы икону Георгия Победоносца, поднес князю.

— Прими. Я тебя люблю, как никого.

— Государь! — Скопин припал к царской руке. — Ты для меня вместо отца родного. Дозволь все же сказать наболевшее.

— Говори, Михайла, не оставляй на душе тяжести.

— Меня, государь, винят в том, будто я рязанцев слушал, разиня рот! Но я под стражу взял их тотчас. А не казнил и к тебе не отправил, и в том приношу вину, единственno из боязни посечь рознь. У Ляпунова норов горячий, переменный. Соединись он с Рожинским, и дело бы под Москвою вышло кровавым.

— Милый мой! Дружочек мой! Тебе ли оправдываться? Ты есть крепость моя! — царь порозовел, распалил себя словесами.

— Но государь! А как быть с изветом о городах и землях? Разве я своею волей передал шведам Кексгольм, хотя они, домогаясь сдачи города, оставили меня в минуту ужасную, переломную.

— Извет есть награслина. Я подтверждаю все твои договоры, князь. Я заплачу Делагарди и его войску из казны, сполна.

Скопин поднял свои осторожные глаза на царя и встретил улыбку.

— Знай, государь! — сказал Скопин, единственный раз за всю встречу не отведя взора. — Другого такого слуги, как я, у тебя не будет. Умоляю царское твое величество. Не держи меня и Делагарди в Москве. Меня на пиры, как медведя, водят. Боюсь, государь! Очень боюсь, как бы не пропиоровать Смоленска. На Сигизмунда надо идти теперь, пока его сенаторы не сговорились у нас за спиной со шведским королем.

— Без пиров тоже не обойтись, — сказал вдруг царь. — Москва два года почти в осаде сидела. Народ по праздникам соскучился. Но и то правда, уже хорошо попраздновали. Собирай, князь, думных людей, позови генерала Делагарди. К походу на короля подготовиться следует достойно.

— По зимнему пути выступить уже не успеем, — вздохнул Скопин.

7

В понедельник 23 апреля в полдень генерал Делагарди с офицером-толмачом навестил Скопина-Шуйского в его доме. Целуясь по-московски троекратно, Делагарди весело говорил князю:

— Приветствую моего друга в день святого Георгия Победоносца! И хотя твой Ангел-покровитель Архистратиг Михаил, думаю, что и святой Георгий был за твоими плечами, когда мы шли к Москве.

— Со времен святого князя Даниила Московского, вот уж почти триста лет Георгий, поражающий змея — герб нашего столичного града.

– Не обменяться ли нам в память нашего похода и наших побед мечами?

Они обменялись оружием и выпили из братины боярского земляничного меда.

– Святой Георгий был у Диоклитиана комитом, – говорил Делагарди, останавливая взгляд на иконе Георгия Победоносца. Он знал, чей это подарок. – Комит – не малое придворное звание – член императорской свиты. Но мы с тобой, пожалуй, повыше чинами, архистратиги.

– Хочу прочь из Москвы, – сказал вдруг Скопин. При дворе половина «перелетов», половина «похлебцев». Все ведь князья, бояре, но у кого я не видел ни благородства, ни великодушия. Поступки рабов, помыслы подых. Горько быть одним из них по сословию, еще горше родственником по крови.

– Но скоро ли в поход, Михаил? – легко, беспечно спросил Делагарди о самом важном.

Скопин ответил просто:

– Государь уклончив, но он вчера вручил это дело мне. И тебе. Нам надо собраться с думными людьми и решить, когда мы выступаем.

– Виват! – Делагарди выхватил из ножен и поцеловал рукоять своего нового меча. И заглядился на изумруды. – Каков обман! Выходит, я в прибыли. Ты получил мое солдатское оружие, а я твое дворцовое. Отдарю, но у себя дома, в Стокгольме.

– Пора бы за стол, – спохватился Скопин, – но мы с тобою нынче приглашены на крестины к князю Ивану Михайловичу Воротынскому.

– Два застолья – это чересчур для тощих шведов! – хохоча и размахивая руками, Делагарди приблизил лицо к другу и рукою придви нул своего толмача. – В Москве все говорят, что у тебяссора с царем.

– Неправда. Только дружба.

– В Москве все говорят, что Дмитрий Шуйский ищет способ уст раниТЬ тебя. Передают его слова при нашем вступлении в Москву: «Вот идет мой соперник».

– Дядя Дмитрий? – Скопин потупился. – Это все из-за безумца Ляпунова. Но я чист перед домом Шуйских. Государь мне поверил.

– Ты говоришь – государь! Но Дмитрий сам метит в цари!

– Дядя Дмитрий? В цари? – Скопин удивленно улыбнулся, но улыбка таяла, таяла, и на лбу обозначилась глубокая тонкая трещинка.

– У государя родилась девочка... Дмитрий и впрямь наследник.

– Берегись и сторонись его, – лицо Делагарди было серьезно и озабоченно. – От света любви, какую народ выказывает тебе, как и у

всякого света, есть тень. То зависть. А Дмитрий сама тьма. Он ненавидит тебя. Лучше бы нам быть уже под Смоленском, в окопах.

Скопин растерянно тер шею, то левой, то правой рукой.

— Позвольте мне удалиться. Переоденусь. На крестины опаздывать нельзя. Я для княжича Алексея зван в крестные отцы.

— А кто же крестная мать?

— Княгиня Екатерина Григорьевна.

— Супруга Дмитрия?

Делагарди вдруг побледнел.

— Прости меня, князь! Я не поеду на крестины. Хочу в день свято-го воина Георгия быть с моими солдатами. Генералу не грех раз в году выпить из солдатского оловянного кубка.

Быстро обнял князя, быстро пошел, не позволяя уговорить себя.

8

А на крестинах славно было. Господи, все ведь свои, родные все люди.

Матушка князя Михайлы Васильевича княгиня Анна Петровна из рода Татевых. Дядя, боярин Борис Петрович Татев одну дочь выдал за князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, другую за Алексея Ивановича Воротынского. Иван Андреевич Татев спас Самозванцу жизнь при Добрыничах. Он, князь Михайла Скопин-Шуйский, нес меч на свадьбе и венчанье царицы Марину Мнишек, а женат он на Головиной. Головин был казначеем при царе Федоре и в свойстве с Романовыми. Дочь Ивана Никитича Романова за Иваном Михайловичем Воротынским, матушка ее княгиня Мосальская. Мосальский наусыкивал убийц на семью Годуновых. Царь Борис был женат на дочке Малюты Скуратова Марии, а Мария родная сестра Екатерины, жены Дмитрия Ивановича Шуйского, а дядя Иван Иванович Шуйский — Пуговка — женат на дочери боярина Василия Петровича Морозова, а вторая его дочь, красавица Евдокия Васильевна, жена князя Ивана Борисовича Черкасского, Черкасский — родня Романовым... И тот клубок и есть, и вся Россия, все в ней совершенное, злое и добре — родственное дело этих самих-то по себе совсем неплохих людей, христиан, вкладчиков русских монастырей, строителей храмов Божих.

Сидя на почетном месте, но опять-таки неприметно, Михайла Васильевич глядел на родню, будто видел впервые. Всепрощение распирало его грудь. Любовь и всепрощение. Слетелись, как птицы, в гостеприимное гнездо ради малого птенца, ради княжича Алексея, ну, и ради того, кто ныне озарен светом царской любви, ради тебя, князь Михайла. Закачает завтра деревья ветер лют, и все эти птицы бросятся

кто туда – в траву, в кусты, иные на воду сядут. Но то завтра. И быть ли ветру, а любовь да согласие – до слез приятны.

Любовался князь тихою красотой и кротостью своей супруги. Александра Васильевна могла бы нынче, как белочка, на виду у всех попрыгивать-поскакивать, муж-то вон как воспарил, а она, милая, все в тенечек, все за чью-то спину становится.

– А что же это князь не пьет не ест? – перед Михайлом Васильевичем, плавная, как пава, черными глазами поигрывая, стала кума княгиня Екатерина Григорьевна.

– Завтра надо в Думе быть, – отговорился князь.

– От кумы чашу нельзя не принять! За здравие крестника нельзя не выпить! Твоя чаша, Михаил Васильевич, особая – пожеланье судьбы будущему воину русскому от русского Давида.

– Ай, красно говоришь! – воскликнул хозяин дома князь Воротынский. – Пей, Михаила Васильевич, кумовскую чашу. Пей ради княжича.

И, приникая губами к питью, посмотрел князь Михаил, блодя вежливость, в глаза Екатерины Григорьевны. Черны были глаза кумы. Лицом светилась, а в глазах света совсем не было.

«Не пить бы мне этой чаши», – подумал князь и осушил до дна.

Пир шел веселее да веселее, а Михаиле Васильевичу страшно что-то стало, все-то он руками трогал и вокруг себя и на себе. И не выдержал, встал из-за стола и, ухватя жену за руку, взмолился:

– Отвези меня домой, княгиня Александра Васильевна!

Сделался вдруг таким белым, что все гости увидели, как он бел. И тотчас хлынула кровь из носа.

– Льда несите! Пиявок бы! Да положите же его на постель!

– Домой! – крикнул Михаила Васильевич жене. – К Якову скопре! Пусть доктора пришлет. Немца.

Докторов навезли и от Делагарди, и от царя, самых лучших...

9

Вороны что ли прокаркали, но Москва, пробудившись спозаранок, уже знала: князь Михаила Васильевич отошел еси от сего света. Вся Москва, в чинах и без званий, князья, воины, богомазы, плотники из Скорогорода, боярыни и бабы простые, стар и мал кинулись к дому Михаилы Васильевича, словно, поспевши вовремя, могли удержать его, не пустить от себя, от белого света, но приходили к дому и, слыша плач, плакали.

Удостоил прибытием своим к одру слуги своего царь с братьями. Пришел патриарх Гермоген с митрополитами, епископами,

игумнами, со всем иноческим чином, с черноризцами и черноризицами.

С офицерами и солдатами, в доспехах, явился генерал Яков Делагарди. Иноземцев остановили за воротами и не знали, как быть, пускать ли, не пускать? Иноземцы, лютеране...

Делагарди страшно закричал на непускальщиков, те струсили, расступились.

Плакал генерал, припадая головой покойному на грудь:

— Не только я, не только Московское царство, вся земля потеряла. А какова потеря, про то мы уже назавтра узнаем.

Слух о том, что князь отправлен, ознобил Москву не сразу. Но к вечеру уж все точно знали: отправлен. Кинулись к дому Дмитрия Ивановича Шуйского кто с чем, но хватая что потяжелее, поострей, а там уж стрельцы стояли, целый полк.

Вотчина рода Шуйских и место их упокоения в Суздале. Но в Суздале сидел пан Лисовский. Хоронить Скопина решили временно, в Кремлевском Чудове Архангело-Михайловском монастыре, а как Сузdalь очистится от врагов, то туда и перенести прах покойного.

Пришли сказать царю о месте погребения.

Шуйский сидел в Грановитой палате, один, за столом дьяка.

— Так, так, — говорил он, соглашаясь со всем, что сказано было.

И заплакал, уронив голову на стол. И про что были те горькие слезы, знали двое: царь да Бог.

И поплакав, Шуйский вытер глаза и лицо и позвал постельничего с ключом, и тот привел человека в чинах малых и совсем почти безымянного, но царю нужного.

— Они боялись, что он будет царь, — сказал Шуйский тайному слуге. — И они — нет, никогда, а он уже нынче будет среди царского сонма. Ступай и сделай, чтоб было по-нашему.

И запрудили толпы народа площади Красную и Кремлевскую. И звал народ царя, и кричал боярам:

— Такого мужа, воина и воеводу, одолителя многих чужеземных орд, подобает похоронить в соборной церкви Архангела Михаила! Да будет он гробом своим причтен к царям, ради великой храбости и по делам великим.

Царь Василий Иванович, услышав народный глас, повелел тотчас:

— Что просят, то и сотворите. Был он наш, а теперь он их, всей России возлюбленное чадо.

Похоронили князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского в каменном саркофаге в Архангельском соборе в приделе Обретение честные главы пророка Иоанна Крестителя.

Сыскался и прорицатель. Сказывал, что на Пасху был ему сон. Будто стоит он, приказной писарь, на площади между Успенским и Архангельским соборами и смотрит на царские палаты. И один столп в этих палатах вдруг распался, и хлынула из него вода, черная, как деготь.

Народ, слушая, вздыхал:

— Где ты ране был со своим сном? Пал столп русского царства. Нету у нас, горемык, князя Михайлы Васильевича. И как мы без него будем — подумать страшно.

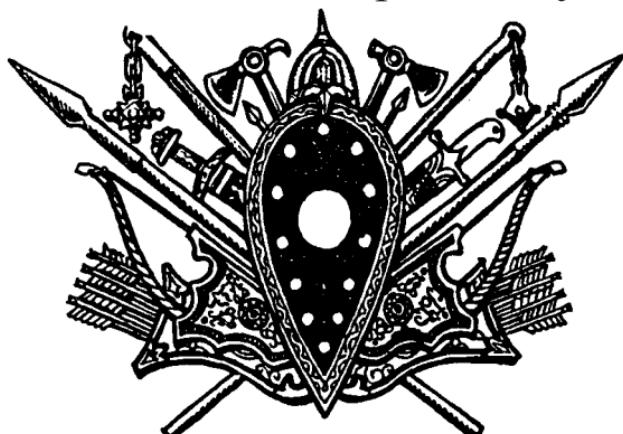
"Русское язычество"



Велес

Александр Чернобровкин

"Были Древних Русичей"



ЧУМАК

Рассказ

Стоявшая на вершине кургана каменная баба – серо-желтая, безносая, безухая и безглазая, похожая на плохо ошкуренный, толстый пень, – вдруг загорелась в последних лучах заходящего солнца робким, неярким, розоватым светом, словно вытекающим из крупных оспин, сплошь изъевших ее. Она казалась и величественной и понурой одновременно, вроде бы ничего не могла видеть и в то же время как бы смотрела во все стороны: и на небо, голубое и безоблачное, чуть подрумяненное на западе, где из него выдавливается узкий золотисто-красный солнечный серпик, и на степь, распластавшуюся от края до края зеленовато-рыжей шкурой с седыми пятнами ковыля, и с особым, казалось, вниманием на обоз из шести возов, запряженных парами лениво вышагивающих серых волов.

В шестом возе, выстланном попоной из воловьей шкуры, лежал на боку, подперев голову рукой, молодой чумак в надетой набекрень соломенной шляпе с широкими, обвисшими краями, в холщовой белой рубахе навыпуск, подпоясанной коричневым кожаным ремешком, в серо-черных портах с латкой на левом колене. Он неотрывно смотрел на каменную бабу, точно надеялся поймать ее взгляд, и на его вытянутом скуластом лице шевелились, как бы беззвучно упрашивая посмотреть на него, чувственные, красиво очерченные губы.

И вот – то ли на самом деле, то ли это была игра света и тени – каменная баба чуть повернула голову и уставилась двумя глазницами-

оспинами на человека и будто всосала ими его взгляд. Чумак, испугавшись, сжал веки крепко, до боли в висках, а потом и рукой прикрыл глаза. Какая-то невидимая сила попробовала оторвать ладонь, но не смогла и медленно убыла. Человек убрал руку и долго смотрел на каменную бабу, окруженную колеблющейся, розовой дымкой, будто парила от внутреннего жара. Дымка постепенно исчезла, и баба превратилась в неумело обработанный камень. Чумак вытер тыльной стороной ладони капельки пота со лба и висков, покачал головой и тихо вымолвил:

— Да-а...

— Чего? — обернувшись к нему, спросил возница — пожилой мужчина с длинными усами, похожими на метелочки ковыля.

— Померещилось, — нехотя ответил молодой чумак и, перевернувшись на спину, потянулся до хруста в костях. — Эх, пожевать бы чего-нибудь!

— Потерпи: за курганом свернем налево, спустимся в балку там остановимся на ночь.

— Пока доплетеемся, пока сварим кулеш... Отрежу я хлеба краюху, а?

— Ну, отрежь, — разрешил возница и передал лежавшую у его ног торбу.

Молодой чумак развязал торбу, достал из нее каравай ржаного хлеба и узелок с солью, отрезал краюху обоюдоострым ножом с деревянной резной рукояткой, которой вынул из висевших на ремешке ножен. Посыпав краюху серой крупной солью, откусил чуть ли не половину.

Примерно в версте от обоза над травой поднялся столбик черного дыма, закрутился вокруг своей оси, быстро вырастая и раздаваясь в ширину, отчего стал похож на огромную воронку, которая стремительно, будто подгоняемая ураганным ветром, понеслась к последнему возу.

— Гляди! — удивленно-испуганно крикнул возница, показывая на нее.

Молодой чумак посмотрел в ту сторону — и чуть не поперхнулся недожеванным хлебом. Уронив краюху, он неотрывно, как перед этим на каменную бабу, смотрел на вертящийся столб пыли. Когда воронка добралась до воза и возница зажмурил глаза, закрестился и забормотал: «Господи, спаси и сохрани...», молодой чумак, инстинктивно защищаясь, метнул в нее нож.

Нож вонзился в воронку, как в мягкое дерево, и послышался то ли скрип, то ли скрежет, то ли сдавленный, сквозь зубы, вскрик, а из-под ножа, как из раны, хлынула кровь, выкрасневшая дым. Воронка замерла на месте,

стала быстро уменьшаться, словно вверчивалась в землю, а потом стремительно понеслась от обоза – и сгинула.

Молодой чумак спрыгнул с воза, подошел к тому месту, где остановилась нечистая сила. Земля и синевато-серые кустики польни были там забрызганы бурой кровью, причем травинки, на которые попали капли, пожухли, будто припаленные огнем.

– Во как! – показывая такую травинку, сказал молодой чумак.

– Заколдованное место, – перекрестившись, сказал возница, – едем отсюда побыстрее.

– Сейчас, нож найду. Он у меня особый, заговоренный.

– Заговоренный, говоришь? – переспросил возница. – Ну, тогда не найдешь его, в теле ведьмака торчит. Будет маяться с ножом, пока не помрет.

– Жаль, хороший был ножичек, сам рукоятку ему делал, – произнес молодой чумак. Заметив, что остальные пять возов продолжают ехать как ни в чем ни бывало, воскликнул: – Гля, а они что – не видели?!

– Наверное нет, а то бы остановились.

– Во дела, да?!.. Ну, расскажу им на привале – то-то будут удивляться!

– Не поверят, – сказал возница и стегнул кнутом волов, трогаясь с места.

– Как не поверят?! – возмутился молодой, запрыгнув в воз на ходу. – Мы же с тобой оба видели!.. Или ты не подтвердишь?

– Подтверждаю, – пообещал напарник.

Обоз спустился в широкую и глубокую балку, пологие склоны которой поросли степной вишней, терновником и шиповником. На ночевку расположились у родника с чистой и холодной водой. Волов выпрягли и пустили пасть ниже по течению ручейка, вытекающего из родника, насобирали хвороста на склонах, разложили костер и повесили над огнем огромный медный котел, в котором варился кулеш. Чумаки расположились вокруг костра – кто сидел, поджав под себя ноги, кто лежал – и слушали рассказ о вертящейся черной воронке. В наступившей как-то сразу, без перехода, темноте, человеческие лица, освещенные пламенем, казались сложенными из кусочков, черных и серо-красных, которые смешались влево-вправо, вверх-вниз, уменьшались или увеличивались, и невозможно было понять, какое чувство вызывает услышанное, верят или нет рассказчику. А когда он закончил и посмотрел на напарника, ожидая подтверждения, заговорил вожак – старый мужчина с седыми, желтоватыми, трехвершковыми усами, похожими на льняную кудель:

— Да, места здесь нечистые. Когда я еще парубковал, тут неподалеку хутор был, старуха в нем жила. Сколько ей лет было — никто не знал, но все помнили дряхлой. Не любила она, чтобы обозы у нее на ночь останавливались, зато одиноких путников привечала. Переночует у нее человек — и просыпается порченый: или убьет кого-нибудь, или на себя руки наложит. А то и вовсе пропадал бесследно. Спросят у старухи: «Ночевал он у тебя?» — «Ночевал. — «А куда делся?» — «Ушел поутру. А куда — кто его знает, степь большая». Долго так продолжалось, пока один обоз не наткнулся в степи на замордованного парубка. Успел он перед смертью сказать: «Старуха с хутора». Чумаки долго не разбирались: подъехали к дому, подперли дверь колом и подожгли. Когда крыша рухнула, из пламени вырвался столб черного дыма, завертелся воронкой и унесся в степь. Наверное, с ним вы и повстречались.

Вожак зачерпнул деревянной ложкой из котла, попробовал. По его знаку два чумака сняли котел с огня, установили в заранее вырытую ямку, чтобы не перевернулся. Все расселись вокруг котла с ложками и ломтями хлеба в руках, вожак произнес молитву, перекрестился, подождал, пока перекрестятся остальные, заправил кончики усов за уши и первым зачерпнул кулеш. За ним по очереди, по ходу солнца, остальные чумаки. Ели молча, слышны были лишь сопение и плямканье, а поев, облизали ложки.

— Твой черед, — сказал вожак молодому чумаку.

Тот помыл котел в ручье, повесил на ближний к костру воз.

— Будет сильно смаривать, меня разбуди, подежурю, — предложил напарник молодому чумаку.

— Чего там, справлюсь сам. — Он сел у костра, подкинул в огонь несколько прутиков.

На небе появился узкий серпик месяца, высветил затихшую степь. Прямо над балкой пролег широкий Чумацкий шлях. Казалось именно с него, сдугая ветром, упала звездочка. Чумак проследил за ее полетом, загадав не заснуть до утра. Но дрема накатывала волнами, клонила голову к земле, и он встал, размялся.

Громко и вроде бы испуганно мыкнул вол, за ним второй, третий... Чумак заметил, как между животными мелькнуло что-то светлое. Посмотрев на спящих в возах товарищей, решил не будить их, пошел к волам один. Они стояли с задранными мордами, будто любовались звездами, и, казалось, не замечали гибкую стройную девушку, поглаживающую их по шее. Она была одета в белую сорочку до пят, вышитую по вороту и подолу черной змейкой и перехваченную в талии черным пояском, поблескивающим в лунном свете, а длинные густые черные волосы ее были распущены и скрывали лицо, которое

— почему-то верилось чумаку — должно быть удивительно красивым. Она потрепала по холке комолового вола, и после каждого ее прикоснения он задирал голову все выше, непонятно было, почему до сих пор не хрустнули шейные позвонки.

— Причаровываешь, красна девица? — подкравшись к ней, спросил чумак.

Она не испугалась и не обернулась, но убрала руку с холки вола.

— Лучше меня причаруй! — попросил шутливо чумак.

— Могу и тебя! — задорно произнесла девушка хрипловатым голосом, оборачиваясь и убирая волосы с лица.

На чумака глянули черные глаза, огромные, в пол-лица, и холодные, и словно бы втянули в себя тепло из него, отчего ему стало зябко и жутко, и тут же из них, как бы взамен, хлестнула обжигающая волна, охватившая с головы до ног и наполнившая легкостью и любовной истомой. Чумак почувствовал, что готов выгибать шею, как это делал комоловый вол, только бы к ней прикасались девичьи руки. Сдерживая дрожь в голосе, он попросил:

— Причаруй...

Тонкие губы ее тронула легкая улыбка, девушка отпустила волосы, скрывшие лицо, развернулась и плавной походкой — казалось, маленькие и белые босые ступни ее не касаются земли — пошла по балке прочь от волов, от чумацкого табора. Отойдя шагов на тринацать, оглянулась и еле заметным движением поманила за собой чумака. Он глупым телком затрусиł за ней.

Девушка села на камень-песчаник у куста шиповника, обхватила колени руками. Длинные волосы точно черным платком укрыли ее всю, видны были лишь маленькие ступни, казавшиеся серебряными в лунном свете. Чумак наклонился к ней, попытался разглядеть сквозь густые волосы лицо, чудные глаза, не смог и потянулся к ним рукой. Голова девушки чуть вздрогнула, выражая негодование. Чумак отдернул руку и, винясь, припал губами к девичьим стопам, холодным и скользким, будто вырубленным из льда. Маленькая рука потрепала его по щеке, перебралась на шею, скжала ее очень сильно, а потом погладила нежно. Пальцы ласково бегали по позвонкам вниз-вверх и будто размягчали их, превращали в податливую глину: чумак все круче загибал голову, но не чувствовал ни боли, ни того, как слетела шляпа. Прямо над собой он увидел огромные провалы девичьих глаз, в которых вспыхивали красные искорки и падали в его глаза, перекатываясь в сердце. Оно вдруг перестало биться, раздулось и взорвалось, наполнив тело сладким блаженством.

— Любя ли я тебе? — Хрипловатый голос шел непонятно откуда, ведь девушка не размыкала тонких губ, сложенных в грустную улыбку.

— Ой, люба!

— Тогда поцелуй меня.

Чумаку показалось, что голова его отделилась от шеи и, как поднятая ветерком тополиная пушинка, плавно полетела к голове девушки, жадно припала к ее губам, податливым и холодным, мигом потушившим жар в его теле.

— Обними меня, — попросила девушка.

Руки чумака, тоже словно бы отдавшись от туловища, обняли ее, маленькую и хрупкую.

— Крепче...

Непонятным образом оказалось, что она лежит на спине, а чумак — на ней. Она извивалась, медленно, лениво, точно пытаясь выползти из-под него, но руки се, маленькие проворные, как бы не давали, вопреки ее желанию, сделать это, цепляясь за его шею. Вот она поймала руку чумака, приложила к своему животу.

— Там застежка, — обдав его ухо горячим дыханием, прошептала девушка, — расстегни ее.

Застежка была странной, продолговатой формы и располагалась не вдоль тела, а как бы торчала из него. Чумак потянул ее и сразу же остановился, потому что девушка вскрикнула и напряглась.

— Тяни! — с болью в голосе попросила она.

Чумак, перехватив застежку поудобнее, удивился, что она покрылась чем-то липким и теплым. Слишком знакомо, привычно лежала она в ладони. Внезапно осенившая догадка заставила чумака отпрянуть от девушки и одновременно вогнать нож еще глубже да так, что рукоятка воткнулась наполовину в ее живот.

— У-у-у!.. — завыла девушка, извиваясь на земле и царапая ее ногтями.

— Свят-свят-свят! — осенил чумак себя крестным знамением. — Сгинь нечистая сила!

Девушка застыла, широко раскинув руки и ноги. На белой рубашке расплывалось темное пятно, вскоре вымочившее ее всю. И тут девушка произнесла скрипучим, старушечьим голосом:

— Не хочешь по-хорошему — сделаешь по-плохому! Сам ко мне прибежишь! — Она вдруг задынилась сразу вся — и пропала.

Чумак перекрестил то место, где только что лежала девушка, и побежал к табору, к еще заметному огоньку костра.

Волы стояли сбившись в кучу и наклонив головы, будто приготовились отбиваться от волчьей стаи. Чумак хотел обогнуть их слева, но

волы, потеряв обычную неповоротливость, быстро перестроились, загородив ему дорогу. Чумак попробовал обогнуть справа – и опять ему помешали. Волы наступали на него, оттесняя от табора к широкой прогалине на поросшем кустами склоне, по которой обоз спустился в балку. Чумак побежал по прогалине, а когда добрался почти до верха, увидел темный силуэт каменной бабы на кургане. Казалось, она звала его к себе, обещая защитить от волов. Чумак кинулся было к кургану, чувствуя, что бежать становится все легче, будто кто-то подталкивал его в спину, но тут же, догадавшись, что поступает неправильно, метнулся к зарослям степной вишни. Упав на четвереньки, он пополз в кусты, не обращая внимания на колючки, которые впивались в его тело, удерживая на месте. Позади хрустели ветки, ломаемые волами, но погоня отставала все больше, и вскоре послышалось недовольное мычание животных, застрявших в кустах. А чумак полз и полз, стараясь придерживаться середины склона, пока не скатился в ложбинку, над которой ветки сплелись в такой плотный шатер, что невозможно было разглядеть ни единой звездочки на небе. Чумак перевернулся на живот, прижался щекой к сырой земле, вдыхая успокаивающий запах прелых листьев.

Волы перестали мычать, кусты немного еще потрещали, и наступила тишина, тягучая и тревожная. А потом со всех сторон послышалось шуршание, точно легким ветерком гоняло по склону ворох опавших листьев. Что-то маленькое сползло в ложбину, добралось до скованного страхом человека. Он затаил дыхание и мысленно повторил несколько раз: «Чур меня, мое место свято!» Что-то холодное длинное и узкое впоплзло на него, задержалось на миг на спине, скользнуло на землю и тихо зашипело, словно призывая на помощь. В ложбину спустилось еще несколько змей. Чумак почувствовал, как по его шее заскользила толстая и короткая, наверное, змея-кущехвостка, заелозила, будто протирала своей жесткой кожей мягкую человеческую перед тем, как укусить, но видимо передумала и поползла под рубашку на спину, потом вернулась на шею, куда уже взобралась другая змея. Они переплелись и зашипели, то ли радуясь встрече, то ли пугая друг друга. К ним присоединились третья, четвертая, пятая... Вскоре змей наползло в ложбину так много, что чумак не мог вздохнуть под их тяжестью. Впрочем, если бы не запах прелых листьев, то он решил бы, что не дышит вовсе. Он лежал похороненный под змеями, которые, казалось, сползлись сюда со всей степи, а они шипели, шипели...

Вроде бы неоткуда здесь взяться петуху, но кукареканье, звонкое и задорное, прокатилось по степи. Змеи замерли, будто прислушались, а потом зашипели громче и забились, точно им прищемили хво-

сты. Сперва чумак подумал, что они дерутся между собой, но вскоре почувствовал, что дышать ему становится легче: гады уползали. Когда петух пропел во второй раз, последняя змея, выскользнув из-под рубашки чумака, торопливо выбралась из ложбины.

Чумак долго лежал не шевелясь, затем открыл глаза и осторожно, в несколько коротких движений, повернул голову. Шатер над его головой посерел и распался на отдельные ветки и листья, причем листья казались пожухшими. Чумаку подумалось, что и сам он пожух, хотя тело было влажным и липким, точно гады обтерли об него слизь с себя. Выбравшись из ложбины, он пополз вниз по склону.

Солнце еще не взошло, но уже было светло. Волы лениво щипали траву, а комолый, фыркая, пил воду из ручья. Они даже не обратили внимания на человека, обогнувшего их.

– Где тебя черти носят?!

Чумак испуганно вздрогнул, медленно обернулся и увидел обозного вожака, который гневно накручивал длинный желтоватый ус на скрюченный указательный палец.

– Костер потух, волы в мыле и крови – ты что, всю ночь по кустам их гонял?! Ах, ты... – Вожак вдруг дернул ус, будто хотел вырвать его, и удивленно уставился на голову молодого чумака. – Так-так... – понимающе произнес он и смотал с пальца ус. – Ты иди поспи, а купишь я сам готовлю.

– Не хочу, – буркнул молодой и пошел к роднику.

Вода была студеной, а на вкус – не оторвешься. Заныли зубы, и чумак отпал от родника, перевел дух. Наклоняясь к воде по-новой, увидел свое отражение и поразился тому, что волосы от темени ко лбу будто выстригли, оголив белую кожу. Дотронулся: нет, не выстригли, вырвал одну волосину. Она была белой.

Подойдя к своему возу, он сел на землю, прислонившись спиной к заднему колесу, пахнущему дегтем. Напарник уже проснулся, но вставать не собирался, кряхтел и ворочался. Громко чихнув, он задал вопрос, который молодой чумак не рассыпал, потому что неотрывно смотрел на каменную бабу на вершине кургана. Первые солнечные лучи выкрасили ее в багряный цвет, точно облили молодой кровью, горячей, испаряющейся, образующей вокруг бабы золотисто-красный ореол дивной красоты, который манил рассмотреть его вблизи.

– Ты куда? – окликнул вожак, помешивая деревянной ложкой варево в котле.

– Туда, – не оглядываясь, махнул молодой чумак в сторону кургана.

– Не долго, скоро снедать будем.

Молодой чумак ничего больше не сказал, побежал быстрее. Поднявшись на вершину кургана, он не увидел ореола, как будто баба всосала его оспинами, а серо-желтая безглазая, безносая и безухая голова ее словно бы отворачивалась от человека, боясь встретиться с ним взглядом. Чумак медленно ходил вокруг нее, а она незаметно отворачивалась. Он неожиданно даже для самого себя рванулся вперед – и заметил, как громоздкий, бросший в землю истукан начал поворачиваться, понял, наверное, что не успеет, и, скрипнув жалобно камнем о камень, затих смиренно. Отворачивалась баба потому, что не хотела показывать нож, который торчал в ней, вогнанный глубоко, даже резная деревянная рукоятка влезла наполовину и покрылась чем-то бурым и рыхлым, похожим на ржавчину. Чумак перекрестил себя, затем – рукоятку и опрометью кинулся к табору.

МИРОШНИК

Рассказ

Мирошник – пожилой кряжистый мужчина с волосами, бровями и бородой пепельного цвета (когда-то темно-русыми, а теперь выбеленными сединой и мукой) – сидел при свете лучины за столом перед пузатой бутылкой красноватого стекла, чаркой, наполненной на треть водкой, огрызком луковицы и недоеденным ломтем ржаного хлеба в просторной горнице, в которой царили беспорядок и грязь, потому что давно не хозяйничали здесь женские руки, а у мужских были свои заботы. Из горницы вели две двери: одна во двор, а другая в мельницу водяную, сейчас не работающую, но поскрипывающую тихо и тоскливо какой-то деревянной деталью. Когда скрип на миг смолк, мирошник поднял чарку, долго смотрел в нее мутными, будто присыпанными мукой, глазами, потом выпил одним глотком и крякнул; но не смачно, а грустно и обиженно: жаловался ли, что жизнь у него такая поганая, или что водка заканчивается – кто знает?

– Апчхи! – словно в ответ послышалось из-под печки.

– Будь здоров! – по привычке пожелал мирошник.

– Как же, буду! – недовольно пробурчал из-под печки домовой и зашевелился и заскреб когтями снизу по половицам.

– Не хочешь – не надо, – примирительно произнес мирошник и захрустал огрызком луковицы, заедая его хлебом. Крошки он сгреб ладонью со стола к печке. – На, и ты перекуси.

Домовой заскребся погромче, потом недовольно хмыкнул и обиженно сказал:

– И все?!

– Больше нет. Сам, вишь, впроголодь живу.

– Бражничать надо меньшие, – посоветовал домовой.

– Надо, – согласился мирошник. – Было бы чем заняться, а то сидишь, сидишь, как кикимора на болоте, поговорить даже не с кем.

– Ага, не с кем! – обиженно буркнул домовой. – Смолол бы чего-нибудь, а? Я бы хоть мучицы поел.

– Нечего молоть. Вот новый урожай подоспеет... – Мирошник тяжело вздохнул.

— Апчхи! — подтвердил домовой, что не врет человек, громко и часто застучал лапой, как собака, гоняющая блох.

— Будь здоров! — опять по привычке пожелал миросник.

Домовой пробормотал в ответ что-то невразумительное, поерзал чуток и затих, наверное, заснул.

А миросник вылил в чарку последние капли из бутылки, зашвырнул ее в красный угол под икону. Водки хватило только язык погорчить, поэтому миросник зло сплюнул на пол и замер за столом, лишь изредка поглаживая ладонями плотно сбитые доски, точно успокаивал стол, просил не сердиться на него за беспричинное сидение поздней ночью.

Во дворе послышался скрип тележных колес, заржала лошадь. Мужской голос, трубный, раскатистый, потребовал:

— Эй, хозяин, принимай гостя!

Миросник даже не пошевелился: мало ли он по ночам голосов слышал — мужских и женских, трубных и тихих, раскатистых и шепелявых, — а выглянешь во двор — там никого.

— Миросник! — опять позвал мужской голос, теперь уже с крыльца.

Заскрипела дверь, послышались тяжелые шаги с прихлюпыванием, будто сапоги были полны воды, и в горнице появился низенький, полный и кругленький, обточенный, как речная галька, мужчина в выдровой шапке, сдвинутой на затылок и открывающей густые и черные с зеленцом волосы, со сросшимися, кустистыми бровями и длинной бородой того же цвета, в сине-зеленых армяке и портах и черных сапогах, выгаченных из непонятно какой кожи и мокрых — после них оставались темные овалы на половицах, — словно хозяину пришлось долго брести по ручью, где вода доставала как раз до края голенищ, потому что порты были сухи. Гость снял шапку, поклонился. Волосы и борода его напоминали растрепанную мочалку из речных водорослей и пахли тиной.

— Вечер добрый этому дому, всех благ ему и достатка! — произнес гость, выпрямившись.

— Кому вечер, а кому ночь, — сказал вместо приветствия миросник.

— Хе-хе, правильно подметил! — весело согласился гость. — Я вот тоже думал: а не поздновато ли? Но люди говорили, что у тебя до поздна окошко светится, мол, сильно не побеспокою.

— Слишком много они знают. За собой бы лучше следили, — недовольно пробурчал хозяин.

— Глаза всем не завяжешь, а на чужой роток не накинешь платок, — осторожно возразил гость. Он подошел к столу, наклонился к ми-

рошнику и прошептал на ухо: – Выручай, друг, мучицы надо смолоть, три мешка всего. Гости, понимаешь, нагрянули, а в доме ни горсти муки. Я уж и соседей обегал – но у кого сейчас выпросишь?! Выручи, а я тебе заплачу.

Гость вынул из кармана серебряный ефимок, повертел его перед носом хозяина, кинул на стол. Мирошник, как комара, прихлопнул монету ладонью и охрипшим вдруг голосом сказал:

– Заноси мешки, – а когда гость вышел из горницы, полюбовался монетой, спрятал за икону Николая-угодника и вышел на крыльцо.

Во дворе, освещенном яркой луной, стояла телега, в которую был впряжен жеребец без единого светлого пятнышка, даже белки глаз были фиолетовыми, словно от долгого трения о веки въелось в них маленько черной краски или крови и перемешалось. Хвост у жеребца волочился по земле, передние колеса должны были давно уже наехать на него и оторвать, но почему-то это до сих пор не случилось. Гость достал из телеги три больших мешка с зерном, взвалил их на плечи и играющи отнес в мельницу.

Мирошник проводил его удивленным взглядом, почтительно крякнул, проявляя уважение к недюжинной силе, а потом недовольно гмыкнул, потому что из хлева вышла сгорбленная старушка в белой рубахе до пят, с растрепанными длинными седыми космами, длинным крючковатым носом, кончик которого чуть ли не западал в рот, узкий и беззубый, лишь два темных клыка торчали в верхней десне, да и те во рту не помещались, лежали на нижней губе и остриями впивались в похожий на зубило подбородок, поросшей жиidenькой своей бороденкой. В руках она несла ведро молока, и хотя шла быстро, молоко даже не плескалось. Спешила она, чтобы первой выйти со двора, не столкнуться с мирошником у ворот. Поняв, что не догонит ее, мирошник произнес:

– Мне бы хоть кринку оставила. Я уже и забыл, какое оно на вкус – молоко!

– Все равно ты доить не умеешь, а жена у тебя померла. Посватай меня, для тебя доить буду, – сказала она и, шлепая губами, засмеялась.

– Какая из тебя жена, карга старая! – обиделся мирошник.

– Могу и молодой стать – как скажешь, – остановившись в воротах, молвила она и снова засмеялась, а кончик ее носа затрясся, как ягода на ветру.

– Для полного счастья мне только жены- ведьмы не хватало! – произнес мирошник и замахнулся на старуху.

Она, хихикнув, выскочила за ворота и исчезла, наверное, сквозь землю провалилась. Мирошник плюнул ей вслед и пошел на плотину поднимать ворота мельницы.

Вода в реке была словно покрыта гладкой белесой скатертью, на которой выплывались золотом лунная дорожка и серебром – звезды, а ниже по течению – киноварью дорожки от горящих на берегу костров. Оттуда доносились звонкие голоса и смех: молодежь праздновала Ивана Купалу. В запруде плавало несколько венков. Один венок выловила сидевшая на лопасти мельничного колеса русалка – писаная красавица с длинными, распущенными, пшеничного цвета волосами и голубыми глазами. Она надела венок на голову и посмотрелась в воду, как в зеркало. Две другие русалки – такие же красавицы, но одна черноглазая черноволоска, а вторая зеленоглазая зеленоволоска – тоже посмотрели в воду: идет ли ей наряд или нет? Очень шел, поэтому все три весело засмеялись.

Зеленоглазка, сидевшая на мельничном колесе выше подруг, увидела мирошника, убрала с лица волосы, чтобы лучше была видна ее красота, чистая, невинная и потянулась, заложив руки за голову выставив напоказ большие вздыбленные груди с крупными, набухшими, розовато-коричневыми сосками. Нежным, полным любовной истомы голосом она спросила:

– Мирошник, я тебе нравлюсь?

– Нравишься, – равнодушно ответил он. – Слезь с колеса.

– И ты мне нравишься! – Она сложила губы трубочкой, подставляя их для поцелуя, правой рукой взбила зеленые волосы, отчего они тонкими змейкам заскользили по белым округлым плечам, а указательным пальцем левой потребила набухший сосок. – Поцелуй меня, любимый! Приголубь-приласкай, обними крепко-крепко – я так долго ждала тебя!

– Долго – со вчерашнего вечера, – произнес мирошник и дрыгнул ногой, словно хотел ударить ее: – Кыш, поганка водяная!

Русалки с деланным испугом взвизгнули и попадали в речку, на-делав в белесой скатерти прорех. Они вынырнули неподалеку от плотины, зеленоволосая обиженно округлила глаза и ротик, произнесла томно, сладко, как после поцелуя, «Ах!» И, русалки съпнули на речную скатерь пригоршни беззаботного смеха словно растворилась в воде, а в тех местах, где торчали их головы, прорехи моментально затянулись, будто защитные снизу.

Мирошник поднял ворота, колесо с жутким скрипом, стремглав убежавшим вверх и вниз по реке, завертелось, набирая обороты. Зашумела вода, и венки, прикорнувшие у плотины, проснулись и поплыли узнать, что там не дает им спать. Мельничное колесо подгребло их под себя, вытолкнула по ту сторону плотины. Мирошник проводил их взглядом и пошел в здание мельницы. По пути он увидел золотисто-красный, точно сотворенный из раскаленного железа, цве-

ток папоротника, от которого исходили зыбкие радужные кольца, постепенно растворяющиеся в воздухе. Мирошник походя ударил цветок. Стебель хрустнул, сияние исчезло, а потом и цветок потемнел и осыпался.

Молоть закончили к первым петухам. Жернова крутились тяжело, будто зерно было каменным. Гость пытался было развлечь миросника пустой болтовней, но заметив, что его не слушают, ушел на двор, где, гремя цепью и гулко, неумело хлопая пустым ведром о воду, набирал се из колодца и поил коня. Поил долго – ведер двадцать извел. Заслышиав первых петухов, гость подхватил мешки с мукою, бегом отнес их в телегу, позабыв поблагодарить и попрощаться, вскочил в нее стеганул жеребца длинным кнутом. Жеребец вылетел со двора, чуть не утянув за собой вместе с телегой ворота – и скрылся в ночи.

Мирошник закрыл за ними ворота и пошел останавливать мельничное колесо. Белесая скатерть вылиняла от долгого лежания на воде, узоры были почти не видны. Неподалеку от плотины косматая старуха в белой рубашке кормила творогом змей, ужей, лягушек. Гадов наползло столько, что шуршание их тел друг о друга заглушало шум падающей воды и скрипение мельничного колеса.

– Кушайте, мои деточки, кушайте, – приговаривала старуха, кормя гадов с рук – Тебе уже хватит, отползай, – оттолкнула она ужа, и его место заняла толстая гадюка, обвившая черной спиралью белый рукав рубашки. Старуха сунула змее в пасть комочек творога, приговаривая: – Ешь, моя красавица, ешь, моя подколодная...

Когда мирошник отпустил ворота, из воды вынырнула зеленоволосая русалка. Изобразив на лице умиление, она громко чмокнула, посыпая воздушный поцелуй, весело хохотнула и пропала под водой.

– Прельщают тут всякие, понимаешь! У-у, чертово отродье! –rugнулся мирошник и пошел спать.

Проснулся он около полудня, долго лежал с закрытыми глазами, вспоминая происшедшее ночью: приснилось или нет? Решил, что спьяну привиделось.

– Все, больше ни капли в рот не возьму! – дал он себе зарок и вылез из постели.

Прошелев босиком к бадейке с водой, стоявшей на лавке у двери, зачерпнул из нее деревянным ковшиком в форме утки. Выпив чуть, остальное выплеснул себе под рубашку на спину. Зачерпнув еще раз, плеснул в лицо, размазал капли свободной рукой и утерся рукавом. Потом обул сапоги, надел серый армяк и суконную шапку.

Под печью кто-то негромко заскребся – то ли домовой, то ли мышь. Мирошник топнул ногой и грозно сказал:



Водяной

— Тихо мне! Сейчас корову подою, сварю болтушку и покормлю.

День стоял погожий, легкий ветерок ласково перебирал листья на деревьях, отовсюду доносились беззаботное чириканье воробьев. Дверь хлева была нараспашку, а корова на огороде с хрустом жевала молодую капустную поросль. Прихватив ведро, миросник подошел к корове, потрогал пустое вымя и пинками выгнал скотину из огорода.

— Чтоб без молока не возвращалась! — наказал он и пошел на мельницу.

В мельнице стоял полумрак. Несколько узких полосок солнечного света, прописнувшихся в щели в крыше и стенах, пронизывали помещение наискось к полу, из-под которого слышался мышиный писк. Миросник зачерпнул горсть муки, оставленной ему ночным гостем, удивился ее твердости и колючести, попробовал на вкус. Мука была костяная. Миросник долго не мог сообразить, откуда она взялась, ведь молол ночью зерно, затем швырнулся на пол брезгливо вытер руку о порты. Новая догадка заставила его побежать в горницу к красному углу. Вместо серебряного ефимка за иконой Николы-угодника лежала круглая ракушка.

— Ну, водяной, ну, мразь речная!.. — захлебнувшись слюной от обиды, миросник не закончил ругань угрозой, побежал на плотину.

По воде в затоне пробегала легкая рябь, образованная ветерком, лениво шелестели камыши. Около них плавала серая дикая утка в сопровождении двух десятков желтых утят. То тут, то там всплескивала рыба, а на мелководье выпрыгивали стайки мальков, вслугнутых окунем или щуренком. На верхней лопасти колеса висел венок, цветы в котором увяли и поблекли. Миросник скинул венок в воду, размахнулся левой рукой, в которой была зажата ракушка, но бросил не сразу, сначала крикнул, глядя в темную реку:

— Подавись своей обманкой, харя мокрая! Ракушка не долетела до воды. Упав со звоном на склон плотны, она превратилась в серебряный ефимок, сияя в солнечных лучах, покатилась к воде. Миросник рухнул, пытаясь накрыть монету телом, промахнулся и пополз за ней на брюхе. Ефимок катился все медленнее, будто дразнил человека, а когда его чуть не накрыли ладонью, вдруг подпрыгнул на полсажени и канул в воду. Неподалеку от того места из воды вылетел огромный черный сом с фиолетовыми глазами, развязил, как в улыбке, огромную пасть, затем упал брюхом на воду, шлепнув широченным хвостом и обдав миросника фонтаном брызг.

Миросник скривил лицо и затряс бородой в безмолвном плаче. Горевал долго — брызги на лице успели высохнуть. Тяжело вздохнув, он пошарил по карманам, проверяя, нет ли там денег, — и вздохнул еще тяжелее. Какое-то воспоминание просветлило его, миросник

подскочил и побежал к тому месту, где видел цветущий папоротник. Попадались ему лишь крапива и иван-да-марья, папоротник здесь отродясь не рос. Опять помрачнев, миросник снял шапку и швартнул ее об землю. Из шапки выбилось белое облачко, которое подхватил и утащил за собой ветерок. Миросник сел на землю, стянул сапоги, внимательно осмотрел их, оценивая, поплевал на голенища и протер их рукавом, встал, сунул их под мышку и решительно двинулся по дороге к корчме.

Александр Чернобровкин

ТОЛМАЧ

Рассказ

На деревянных крепостных стенах собирались почти все горожане: вооруженные мужчины в шлемах и кольчугах молчаливые и суровые, встревоженные женщины, которые часто ойкали плаксиво и обменивались негромкими фразами, беззаботные мальчишки, которые, привстив на цыпочки, выглядывали поверх зубцов стены и удивленно восклицали, тыча пальцем в то, что их поразило, или сновали у костров, на которых в больших чанах кипятилась вода, или у груд оружия, сложенных на площадках у башен, примерялись к двуручным мечам, длинным и тяжелым, пытались натянуть боевой лук, большой и тугой, махнуть булавой шипастой и с кожаной петлей в рукоятке, делая все это весело, не задумываясь о беде, нависшей над городом, — безбрежной, как разлившаяся река, орде степняков на малорослых мохнатых лошадях. Басурманы с гиканьем и свистом сновали в разные стороны и поджигали все, что попадалось им на пути, и клубы дыма казались частью орды и вместе с ней приближались к городу.

Пока на крепостных стенах готовились к битве, на птичьем дворе она была уже в полном разгаре. Сцепились два петуха — черный, без единого светлого пятнышка, и красный, с радужным ожерельем на шее, — оба крупные, крепкие и люто ненавидящие друг друга. Гордо выпятив грудь, они прошли по кругу против хода солнца, злобно коксясь, затем одновременно бросились, подлетев, в атаку, столкнулись в воздухе, забили клювами и крыльями, и мелкие перышки, черные и красные, плавно закачались в поднятой петухами пыли.

За поединком наблюдали птичник — сухощавый старичок, безбородый и с крючковатым, хищным носом, отчего напоминал изголовья давшего коршуна, одетый в старый армяк с латками на локтях и в белых пятнах куриного помета — и толмач — дородный муж лет сорока, среднего роста, с крупной, лобастой головой, темно-русыми волосами и светло-русой бородой и усами, плутоватыми, зеленовато-серыми глазами, которые прятались в пухлых румяных щеках, оде-

тый в нарядный темно-коричневый кафтан с золотыми пуговицами и шапку с собольей опушкой. Птичник все время дергался, переступая с ноги на ногу, размахивал руками и вскрикивал то радостно, то огорченно, и армяк мотылялся на нем так, что казалось, вот-вот расползется по швам и опадет на землю. Толмач стоял неподвижно, засунув большие пальцы рук за кожаный с золотыми бляхами ремень, и на застывшем лице не отражалось никаких чувств, как будто без разницы было, какой петух победит, вот только глаза неотрывно следили за дерущимися, и когда красный давал слабину, малость прищуривались.

Петухи расцепились, заходили по кругу, но теперь уже по солнцу, потому что у черного исчез передний зубец на гребне, из раны текла густая темно-красная кровь, заливающая левый глаз. Черный петух двигался чуть медленней, чем раньше, и часто дергал головой, наклоняя ее к земле, чтобы стряхнуть кровь. Увидев это, толмач презрительно сплюнул, попав прямо в середину гальки, что валялась в двух саженях от него.

На птичий двор забежал дружиинник – здоровенный детина с румянцем во всю щеку, в кольчуге и шлеме и с мечом и булавой на поясе.

– Вот он где! – крикнул возмущенно дружиинник, увидев толмача, подбежал к нему и схватил за плечо. – Бегом, князь зовет!

Толмач, продолжая наблюдать за петухами, левой рукой сдавил запястье дружиинника, вроде бы не сильно, но у детины округлились от боли глаза и подогнулись ноги.

– Не суетись, – тихо произнес толмач, отпуская запястье.

Детина помотылял в воздухе рукой, погладил ее другой, снимая боль, посмотрел на толмача с таким благоговением, с каким не глядел и на князя, стал чуть позади и начал наблюдать петушиный поединок, не решаясь больше напомнить о спешном деле.

Петухи, подлетев, снова ударились грудь в грудь, вцепились клювами друг в друга и забили крыльями, поднимая пыль и теряя перья. Вскоре птицы скрылись в облаке пыли, и лишь по количеству выплетающих перьев можно было догадаться, что бьются они жестоко.

Вот птицы выскочили из облака, боевито встряхнулись и вновь заходили по кругу, но уже против солнца, потому что у черного петуха не стало второго зубца на гребне и кровь теперь текла на правый глаз. Черный двигался еще медленней и осторожней, чаще останавливался и тряс головой, кропя землю густыми каплями, а красный задиристей выпятил грудь, распушил радужное ожерелье и будто стал выше и толще. Толмач опять презрительно сплюнул, попав в центр той же самой гальки.

Подловив черного петуха, когда тот наклонил голову, красный налетел на него, оседлал, вцепившись клювом в гребень, но прокатился самую малость, не удержался и соскочил. Черный петух, лишившийся третьего зубца в гребне и с залитыми кровью обоими глазами, пробежал вперед, пока не ударился о забор. Здесь он стряхнул кровь с глаз и трусливо метнулся к приоткрытой двери курятника. Красный погнался за ним, правда, не особо напрягаясь, а когда противник исчез в курятнике, вернулся вальяжной походкой на середину двора, отряхнулся, поиграв радужным ожерельем, гордо вскинул голову и прокукарекал, звонко и радостно.

Толмач удовлетворенно хекнул и скосил плутоватые глаза на птичника, ссугулившегося и неподвижного.

— Знай наших! — произнес толмач ехидно и пригладил усы согнутым указательным пальцем.

— Князь зовет, — напомнил дружинник, бессознательным жестом погладив запястье.

— Успеем, — ответил толмач. — Сейчас рассчитаюсь с этим, — кивнул на птичника, — и пойдем. Ну-ка, заголяй лоб!

Птичник скривился, точно отвел кислицы, соскреб ногтем пятно помета на рукаве, потом тем же ногтем почесал затылок и только тогда снял шапку, оголив лысую голову с седыми перьями волос на затылке. Он наклонился и оперся руками в полусогнутые колени, подставив лоб, морщинистый, с дергающейся жилкой над правой бровью. Толмач положил на лоб широкую ладонь, оттянул другой рукой средний палец.

— Не лютуй! — взмолился птичник.

— А не спорь больше! — насмешливо произнес толмач.

— Каюсь, лукавый попутал! — скулил птичник и пыгался отодвинуться.

— Ладно, уважу: в пол силы щелкну, — благожелательно сказал толмач, но придвигнулся ровно на то расстояние, на какое отодвинулась жертва.

Палец его с громким ляском врезался в голову птичника, который, охнув коротко, шмякнулся на зад. Продолговатая шишка вспухла посреди покрасневшего лба и как бы вобрала в себя морщины. Птичник захныкал и приложил ко лбу обе руки, а седые перья на затылке возмущенно вздыбились.

— Ирод проклятый! — плаксиво ругнулся он. — Обещал же в полночи!

— Если бы в полную врезал, твоя пустая голова треснула бы, как перезрелая тыква, — возразил толмач.

Схватив птичника за шиворот, он рывком поставил его на ноги. Проигравший покачался вперед-назад, послюнявши шишку, убедился, что не кровоточит и больше не растет, и нахлобучил на голову шапку.

— Вот видишь, в прошлый раз тебя дважды пришлось ставить на ноги, а сегодня с первого удержанялся, значит, не обманул я, — насмешливо сказал толмач. — С тебя причитается.

— Нету у меня ничего, — буркнул птичник, потирая кончик хищного носа.

— Ах, врешь! — лукаво подмигнув, возразил толмач. — Дело твое, но запомни: не последний раз спорим!

Птичник погладил шишку, покряхтел, почесал затылок и, отчаянно махнув рукой — гори все синим пламенем! — направился в пристройку к курятнику — узкую хибару, в которой едва помещались печка, лавка и стол, заваленный грязной посудой и обглоданными куриными костями, окружавшими полуведерный бочонок с медовухой. Птичник сперва сам попробовал хмельное, отлив малость в расписной ковшик, а последние капли плеснув на шишку и перекрестил ее, наверное, чтобы не болела, затем нацедил гостям в медные кубки, давно не чищенные, позеленевшие.

— Не жадничай! — прикрикнул на птичника толмач, заметив, что тот наполняет кубки на две трети, заставил долить до краев, поднял свой. — За твое здоровье! — пожелал он и добавил с усмешкой. — И чтоб спорил со мной почше.

Выпил толмач одним духом и осторожно поставил кубок на стол. Промокнув тыльной стороной ладони светло-русые усы и бороду у рта, дружелюбно хлопнул хозяина по плечу, отчего птичника перекосило на один бок.

— Жаль, дела ждут, а то бы селезней стравили, еще бы разок врезал тебе по лбу! — сказал толмач, лукаво подмигнув птичнику, и на ходу толкнул плечом дружинника, как бы нарочно, однако молодца словно припечатало к тонкой дощатой стене, а кубок вылетел из рук

Дружинник восхищенно крякнул, будто сам двинул плечом толмача и тот не устоял на ногах, и пошагал за ним следом.

В гриднице было людно: кроме князя, сидевшего на возвышении, воеводы и попа, стоявших по правую и левую руку его, и бояр, разместившихся на лавках вдоль стен, у входной двери толпилось десятка два дружинников. Все смотрели на сидевшего на полу посреди гридницы посла — маленького толстого степняка, круглоголового, с раскосыми глазами-щелочками, черной бороденкой в десяток волосин и кривыми ногами, одетого в необычайно высокий колпак из серо-рыжего меха степной лисицы и бурый халат из толстой ворсистой ткани, а на шее висело ожерелье из волчьих и медвежьих клыков и

черепов маленьких грызунов, наверное, сусликов. Руки он спрятал в рукава – левую в правый, правую в левый, – и казалось, что вместо рук у нехриста что-то вроде перевернутого хомута, соединяющего плечи. Сидел он смирно и как бы не замечал людей, наполнивших гридницу, но из-за раскосости глаз создавалось впечатление, что подмечает все, даже то, что у него за спиной творится.

Толмач протиснулся между дружинниками, остановился в трех шагах от возвышения, снял шапку и поклонился князю – вроде бы старался понизже, но то ли полнота помешала, то ли позвоночник не гнулся, то ли еще что, однако получилось так, будто равный поприветствовал равного, – и, пригладив на макушке непокорно торчавшие вихры, спросил:

– Зачем звал, князь?

Князь показал глазами на посла:

– Узнай, чего он хочет?

Толмач повернулся к басурману, посмотрел сверху вниз, прищурил глаза, точно рассматривая что-то ничтожно малое, презрительно скривил губы, точно попробовал это что-то на вкус и остался недоволен. Засунув большой палец правой руки за ремень (в левой держал шапку) и выпятив грудь, он зычным голосом, будто через поле переговаривался, задал вопрос на половецком языке. Нехристъ не ответил и не пошевелился, даже голову не поднял, чтобы посмотреть на говорящего. Толмач повторил вопрос на хазарском, ромейском, варяжском и еще на каком-то, одному ему ведомо каком, языке. И опять не дождался ответа.

– Ишь, морда басурманская, никаких языков не знает! – обиженно доложил князю толмач. – Может, он немой?

И тут посол заговорил, тихо, но внятно, и длинная речь его напоминала то клекот орла, то рычание раненого зверя, то шипение змеи. Толмач какое-то время прислушивался, пытаясь выхватить хотя бы одно знакомое слово, потом беззвучно хркнул и покачал головой: откуда ж ты такой свалился?! Басурман замолк, и все уставились на толмача.

– Грозится, харя некрещеная, – после паузы сказал толмач и пригладил согнутым указательным пальцем усы.

– Это и без тебя поняли, – произнес воевода. – Если он пришел сюда, значит, хочет без боя получить дань. Спроси, чего и сколько?

– Если не много запросит, дадим, – добавил князь, – если совести не имеет...

– ...тогда посмотрим, кто кого, – закончил воевода.

– Бог рассудит, – дополнил поп, откормленный, с красным в синих прожилках носом.

Бояре и дружины загомонили, забряцали оружием, правда, не очень громко.

Толмач подумал малость, достал из кармана золотую монету и кинул ее к ногам посла. Басурман высвободил руку из рукава и грязным пальцем с черным ногтем отшвырнул монету, которая посунулась по половице, превращаясь в дорожку желтого речного песка. Этим же пальцем нехристь начертил в воздухе круг, давая понять, что ему нужно все. Толмач не долго думая свернулся кукиш и, присев, ткнул его в приплюснутый басурманский нос. Раскосые глаза-щелки, казалось, не заметили кукиша, разбежались в дальние от носа уголки, будто хотели увидеть, что творится на затылке посла. Толмач встал и отошел шага на три от нехриста, как бы давая место гневу, который сейчас должен изрыгнуться в ответ на кукиш.

Степняк ничем не показал, что обижен, протянул вперед правую руку и тряхнул ею. Из широкого рукава выпал маленький черный комок, который состоял из бесчисленного множества малосеньких червячков, стремительно расползшихся в разные стороны, причем, чем больше их отделялось от комка, тем объемнее он становился. Толмач брезгливо передернул плечами и шваркнул об пол шапку, накрыв и комок и расползшихся черных червячков, и затоптался на ней. Из-под шапки послышались стоны, детские и женские, но толмача они не остановили. Успокоился он лишь тогда, когда шапка рассыпалась на маленькие кусочки, разъеденная черной жижей, в которую превратились червячки.

Посол продолжал сидеть истуканом, однако правая бровь непривольно дернулась, выдавая огорчение или удивление. Басурман поднял левую руку и тряхнул ею. Из рукава вылетел плоский кружок огня, разбрызгивающий искры, и повис в воздухе под потолком — даже подпрыгнув не достанешь. Кружок стремительно разрастался, обещая перегородить гридницу, а затем располовинить и весь княжеский терем. Толмач плюнул в него, попав в самую середку и не пожалев слюны. Плевок зашкворчал, как на раскаленной сковородке, и вместе с огненным кружком превратился в облачко розового пара, которое со звоном ударило в потолок и лопнуло, осев на пол сиреневой пылью.

У посла дернулась левая бровь и сильнее, чем правая, а с глаз словно бы спала пелена, и они с настороженным интересом ощупали толмача с ног до головы, проверили по одним только им ведомым признакам, насколько стоявший перед ними силен, умен и хитер, решили, видимо, что имеют дело с достойным противником и закрылись. После долгого раздумья нехристь открыл их, встретился взглядом с толмачом и еле заметно кивнул головой. Он опустил руки к

полу, и из широких рукавов выкатились два шара одинакового размера, красный и черный. Не прикасаясь к ним, заставил шары несколько раз поменяться местами, а затем жестом предложил толмачу выбрать понравившийся. Толмач носком сапога показал на красный. Степняк провел над шарами рукой, заставив раскатиться в разные стороны и завернуться вокруг своей оси, отчего стали похожи на волчки, красный и черный. Посол хлопнул резко в ладони — и шары с невероятной скоростью покатились навстречу друг другу, столкнувшись с таким грохотом, будто гром прогремел посреди гридницы. Красный шар, целый-целехонький, откатился малость назад, а две неравные половинки черного остались покачиваться на месте. Басурман долго смотрел на них бесстрастным взглядом — не поймешь, огорчился или обрадовался, — затем взял половинки в левую руку, а красный — в правую, сжал — и на пол посыпалась пыль, черная и красная, которой посол очертил себя. Закрыв ладонями лицо, он протяжно взывал — и пыль загорелась ослепительно ярко и задымила так, что степняка не стало видно. Толмач попытился к возвышению, на котором сидел князь, и перекрестился, как и все христиане, находившиеся в гриднице, а поп еще и «Отче наш» забормотал.

Дым потихоньку рассеялся, оставив после себя неприятный запах серы и конского навоза. На полу, на том месте, где сидел посол, было темное пятно, будто половицы прижгли раскаленным железом. Первым к пятну отважился подойти толмач. Он смачно плюнул, попав прямо в центр, и когда слюна коснулась пола, на колокольне ударили колокол, а с крепостных стен послышались радостные крики. В гридницу ввалился запыхавшийся дружинник и прямо с порога заорал:

— Сгинули! Все, как один! Словно нечистая слизала!

— Божья помощь прогнала неверных! — поправил поп, но никто его не услышал, потому все бросились обнимать вестника, будто это он прогнал орду.

И толмач не был обделен дружескими тумаками, довольно крепкими, другой бы не встал после таких. Когда радостные крики поутихли, князь произнес торжественно, обращаясь к толмачу:

— Большую беду отвел ты от города. В награду проси, что хочешь.

Толмач без ложной скромности выпятил грудь, пригладил усы согнутым указательным пальцем и, придя побольше простоватости лицу, сказал:

— Мне много не надо: золотой верни да шапку, что поганый извел, — он лукаво прищурил плутоватые глаза, — а к ним добавь самую малость: коня справного, оружие надежное, наряд богатый и огром-

ную бочку медовухи, чтоб на всех, — он обвел рукой собравшихся в гриднице, — хватило!

Князь улыбнулся, подмигнул недовольно скривившемуся ключнику, изрек:

— Вдвоем, нет, втрое получишь. А медовуху, — он повернулся к ключнику, — всю, что есть в погребе, выкатывай на площадь, пусть весь город гуляет да князя и толмача добрым словом поминает!

— Быть по сему! — хлопнув себя по ляжке, согласился толмач и направился к выходу, чтобы первым отведать дармовую выпивку.

В дверях его перехватил дружиинник, тот самый детина, что прибегал на птичий двор.

— Слыши, толмач, скажи, как ты угадал, какой шар тверже?

— Как говорят мудрые люди: тайна сия велика есть, — бросил на ходу толмач.

— Ну, скажи, а? — не отставал дружиинник. — Век не забуду, отслушаю!

— Так и быть, — остановившись, произнес толмач и поманил пальцем, чтобы дружиинник подставил ухо, в которое прошептал очень серьезно. — После долгих лет учебы и странствий, я пришел к одному удивительному выводу. Знаешь какому?

— Не-а, — ответил дружиинник и еще ниже наклонил голову, чтобы ничего не упустить.

— А вот к какому, — четко произнося слова, будто втолковывал глуховатому, изрек толмач наставническим тоном, — красные петухи всегда бывают черных.

— А почему? — допытывался дружиинник, не поняв скрытой мудрости услышанного.

— Черт его знает! — весело крикнул ему в ухо толмач и, хохотнув, заспешил на площадь, облизывая губы, словно уже осушил не меньше бочонка медовухи.

Сергей Стрельченко

УЛЕЙ

Андрей Ружинский скупал и продавал все – китайскую тушенку с иероглифами Великой Стены и мокрый, залежавшийся на складах уголь, подержанные катера и очень интимные товары для одиноких женщин.

Он покупал и людей, которых легче купить, чем запугать, и делал это всегда с большой выгодой.

В свои неполные тридцать два он имел сотни миллионов в открытых для глаз налоговой полиции счетах. Андрей был совсем не похож на старый карикатурно-расхожий образ пузатого буржуа с сигарой в толстых губах.

Поджарая, стройная фигура Андрея всегда вызывала зависть у многих знакомых из круга новой элиты. Его загорелое волевое лицо под шапкой тугих темных волос казалось лицом воина и жреца, и у него действительно был свой бог. Волей судьбы попав еще подростком в город из маленькой, почти опустевшей, степной деревни, он сразу выбрал его из пантеона прочих.

Рубли, доллары и ценные бумаги, власть над людьми и очень широкие связи в политике и преступном мире были для него лишь средством для достижения главной цели. Он собирал золото.

* * *

Быстро раздевшись с текущими делами, Андрей отключил компьютер и подошел к окну. Сквозь толстое, но очень прозрачное бронестекло был виден внутренний двор принадлежавшего ему особняка. Большая клумба с редчайшими орхидеями, небрежно поставленный вкось ярко-вишневый «альфа-ромео» жены и штабели ящиков, купленных по случаю марокканских апельсинов. Они уже были

проданы мелким оптовикам с наваром в тридцать процентов, и к вечеру их должны увезти.

С приходом холодов двор должен успеть стать зимним садом. Андрей прикидывал варианты решения этой архитектурной проблемы. Причуды жены всегда раздражали Андрея, мешая работать. Но орхидеи все-таки жалко. Придется что-то придумать.

Отбросив прочь мрачные мысли, он начал готовиться к обряду поклонения любимому богу. Он приходил к нему не чаще раза в неделю и черпал там от него свои силы.

Андрей опустил жалюзи на окно и капнул на ладони розовым маслом, умащивая им лицо и шею. Пора.

* * *

Зеленая с позолотой стена ушла в сторону. За ней была маленькая дверь из светлого титанового сплава. Андрей отпер ее цилиндром комбиключа, дающего в замок сложно закодированные пакеты электромагнитных и ультразвуковых импульсов и оказался в маленькой комнате, которая сама по себе была сейфом. Его окружали титановые стены, пол, потолок.

Стоящий внутри объемистый сейф по праву являлся предметом гордости Андрея. Строгая простота и изящество линий. Несокрушимая, как у брони тяжелого танка, прочность массивных многослойных стен. Сверхсложная система оригинальных замков. Андрей внимательно следил за всеми новинками и тратил на них целые состояния. Цилиндр для первой двери с меняющимся каждый раз шифрованным кодом был здесь не больше, чем детская игрушка.

Один из замков открывался при помощи запаха роз, его ощущали точнейшие химорецепторы. Ключом для другого служил отпечаток всех пальцев хозяина в подсветке инфракрасных лучей, и он прижимал умащенные розовым маслом ладони к черной, как эbonит, пластине как будто касался магического фетиша.

Сейф был смертельно опасен, как дремлющий в тишине лютый зверь. Он мог постоять за себя без посторонней помощи. Малейшая ошибка в ритуале – и на вошедшего обрушатся потоки свинца, кислоты и ядовитых газов. Задрапированные тонкой фольгой жерла извергнут из разных концов комнаты толстые огнеметные струи, и даже сами стены, пол, потолок способны ударить пятисотвольтным разрядом.

Последний щелчок, и в монолите сверхпрочной стали возникла тончайшая, как волос, щель. Она начала медленно расширяться, давая ход тяжелой бронеглите.

В такие мгновения Андрей всегда закрывал глаза и слышал в висках биение своего сердца.

Спустившаяся бронеплиты негромко ударила о пол. Сейф был совершенно пуст... Андрей ошарашенно смотрел в него, стоя, как соляной столп.

Его не хватил удар, он даже не упал в обморок. Андрей умел сохранять хладнокровие даже под автоматным огнем, когда полсотни наемных убийц средь бела дня ворвались в его офис, сметя немногочисленную еще охрану, и позже, когда связавшись с одной иностранной фирмой, вдруг оказался на грани банкротства. Его компаньон-сопределец Саша Кравцов пустил пулю в висок. Андрей выпрямил положение, взяв крупные суммы под липовые проекты и всё пустил на рекламу. К нему вновь потекли золотые ручьи... и все теперь пошло прахом.

* * *

Вернувшись назад в кабинет, Андрей подошел к бару и выпил, не морщась, целый стакан крепкой французской водки. Она прошла, как вода, и он не почувствовал малейшего опьянения. Такое случалось с ним только в минуты сильнейшего нервного напряжения.

Густой сигаретный дым наполнил комнату. Андрей размышлял о случившемся. Сейф опустел. Невероятно, по факт. Андрей принимал мир таким, как он есть, – значит возможно, но как? Вскрыть его, не оставив следов, не в силах даже агенты лучших разведок, не говоря уже о врагах и грабителях. О сейфе с его содержимом не знал никто, включая жену и охрану. «Маленькая» золотая заначка принадлежала только ему.

Сидя за столом, он продолжал односложно отвечать на деловые звонки. Лишенный эмоций, холодный, словно у автоответчика голос не выдал никому того, что творилось в душе.

И тут позвонил Боря Штейн – частный партнер Андрея по биржевым операциям. Он говорил что-то о новых акциях и предлагал скинуться на контрольный пакет «Золото-маркет», красноречиво расписывая дальнейшие перспективы.

Долго молчав, Андрей вдруг выдал в трубку такое, что не решился бы напечатать самый антисемитский журнал на любом языке мира. Растущее в душе напряжение вдруг выплеснулось наружу. Андрей почувствовал, что у него начало дергаться веко. Такое было с ним лишь раз в жизни в начале карьеры, когда в одну ночь повязали пять из семи его товарищей по рэкету.

Зажегся экран телевизора. Андрей всегда программировал его память на несколько дней вперед, надеясь увидеть самые интересные для себя передачи. Фильм с Брюсом Ли помог успокоиться.

Опять затрещал телефон. Судя по номеру на табло, звонил Гриша Григорьев – экс-чемпион Европы по дзюдо, а ныне шофер и телохранитель Андрея, успевший уже обзавестись своими телохранителями для защиты семьи и быстро растущего, как на дрожжах, состояния.

– Андрей, ты? Прости, шеф, я не смогу сегодня приехать. Ты разрешаешь? У меня большие проблемы.

– Какие?

– Да хату мою грабанули и взяли только золото. Зеленые на мете.

– Что??!

Андрей бросился к ящику стола, достал из-под кучи бумаг коробочку с подаренным на днях «от чистого сердца» массивным золотым перстнем, работы лучшего московского ювелира. Коробочка была пуста. Лежавшая рядом высокая пачка стодолларовых купюр на мелкие расходы даже не похудела. И, судя по мелким приметам, вроде специально подложенных, рассыпанных якобы невзначай, спичек и скрепок, в стол никто не заглядывал.

Андрей вышел из кабинета и опустился вниз на этаж, пройдя мимо сидящего в кресле Гориллы. Здоровый сорокалетний мужик, более чем двухметрового роста, с огромными бицепсами и мощной волосатой грудью, действительно оправдывал свою кличку. Горилла смотрел по видео какой-то порнографический фильм и, как всегда, жевал свой неизменный сладкий хвост, скирая его коробками за каждое трехчасовое дежурство. В его большой плечевой кобуре торчала рукоятка «магнума 357», способного разворотить стену и проломить прочный бронежилет.

Андрей миновал еще двух телохранителей с короткоствольными пистолетами-пулеметами «ингрэм», пока дошел до семейного сейфа.

Шкатулка с драгоценностями заметно полегчала. Он поднял крышку. Под ней перекатывалась россыпь драгоценных камней. Платиновые серьги с алмазными глазками и антикварные монеты из серебра остались целы.

* * *

Он снова сидел в кабинете за запертой, непробиваемой для крупнокалиберных пуль, дверью и время от времени подливал в стакан водки.

Вместо обещанного футбольного матча с бразильцами из телевизора лилась унылая музыка. Мрачные музыканты в строгой одежде играли на камерных инструментах.

«Военный переворот или смерть президента», – подумал Андрей мимоходом. Его не волновали такие мелочи. Имея солидные счета в больших зарубежных банках и целый набор паспортов с престижными и не очень гербами разных стран, он мог позволить себе это и в лучшие времена. Его занимали куда более важные проблемы.

Кто на него наехал? Что это – демонстрация силы способных забраться в замочную скважину? И сколько придется платить?

Здесь были суперпрофессионалы. Вынести слитки. Успеть вытащить из колец и колье камни и, словно в насмешку, оставить их в закрытой шкатулке.

Бороться с хозяевами таких людей глупо. Они дадут о себе знать не слишком скоро. Будучи тонким психологом, Андрей хорошо знал, что значит томление ожиданием удара из темноты. Он сам применял этот метод, когда сжигал чужие склады и похищал близких людей конкурентов. Позвонишь такому сразу – начнет ерепениться, а выдержишь паузу – становится шелковым.

«Продам пару офисов, яхту, бумаги и камни и попрошу вернуть золото», – подумал Андрей.

Музыка прервалась, по телевизору выступил пожилой, давно забытый диктор и попросил народ сохранять спокойствие, ни слова не говоря о причинах возможного беспокойства.

Андрей запустил в экран пустой бутылкой.

* * *

На отделения полиции посыпались заявления о кражах золота. Люди выбрасывались из окон, глотали яды, стрелялись из пистолетов и охотничьих ружей, вешались в своих гаражах и квартирах.

Психушки и отделения реанимации были парализованы наплывом клиентов.

За несколько часов заметно поредели ряды больших политиков и бизнесменов.

Волнения вылились кое-где в уличные беспорядки и даже в вооруженные столкновения.

С Земли исчезло практически все золото, которым владели люди, за исключением мелочей, вроде золотых зубов, и содержавшемся в приборах и оборудовании ценном металле.

Прошло несколько дней. Мир постепенно приходил в себя, оправившись уже немного после тяжелого шока. Политики и бизнесмены искали новый всеобщий эквивалент стоимости.

Поднявшиеся на волне недавних событий разноглазенные пророки вещали о приближении конца света или пришествия справедливых богов, избавивших человечество от дьявольского металла.

Американский профессор из колумбийского университета Дональд Симпсон выдвинул солидную теорию о вакуумной аннигиляции достигшего критической массы химического элемента с атомным весом 196,9665, а немец из Киля доктор Эрих Иоган Риттер блестяще обосновал идею, введя под нее мощный математический аппарат.

* * *

Прямая, как стрела, широкая автострада была в этот час полупуста. Андрей мчался в машине по серому от утреннего дождя сырому асфальту.

На этот раз он выбыл из своего обширного, на пятнадцать машин, подземного гаража небесно-голубой «вольво», выбрав его как самую подходящую для скверных проселочных дорог иномарку. Он все еще помнил волнистую, будто стиральная доска, сухую и твердую степную грунтовку.

Мелькавшие мимо километровые столбы напоминали ему вехи короткой, но емкой жизни. Сельская восьмилетка... Город и шумная, вечно грязная общага для пэтэушников с разбитыми стеклами и заплеванным полом... Армия. Служба в спецназе... Учеба в университете. Студенческие наброски так и не сделанной диссертации и параллельно с этим ржет и первые валютные операции.

Не доезжая до деревни, Андрей свернул на степную пасеку и долго петлял между гречишных полей и бахчей с мелкими неполивными арбузами.

Дряхлый белобородый старик с добрыми голубыми глазами Прохор Авдеич, казалось, совсем не изменился за все эти годы. Он резал медовые соты острым ножом и угостил Андрея, узнав, но все же не сразу припомнив, – чей он здесь правнук.

Андрей сидел под навесом за грубым столом из плохо обструганных досок, и перед ним стояла почтая бутылка любимой французской водки с двумя старыми гранеными стаканами хрущевских времен. Мясные консервы и разные деликатесы, в столь притягательных для взглядов городской бедноты фирменных упаковках, не вызвали у старика особого интереса.

Питался Авдеич главным образом медом и молоком, черствым, из местного сельмага, хлебом и луком со своего маленького огорода.

Андрей наблюдал за работой старика возле ульев. Авдеич осторожно снимал крыши пчелиных домиков и вынимал рамки, но оставлял при этом немного меда, заботясь о пропитании пчелиной семьи. Мед был их жизнью.

Андрей подумал, что сам поступает так с подвластными ржету фирмами, и люди для него – не больше, чем пчелы. Ничто не стоит раздавить пчелу и разорить злой улей.

В свободную от насущных забот голову лезли праздные мысли, и снова он вспомнил о золоте. Он не был одинок в своей страсти. Кто объяснит, почему люди всех времен и народов так ценят золото? Ведь это касается людей из разных, совсем изолированных друг от друга культур – Америка до прихода европейцев и Старый Свет. Новозеландские маори и степные кочевники из глубины Евразии.

Зачем им всем золото? «Красиво, редко, легко и долго хранится» – так объясняли ему когда-то на лекциях в ВУЗе. Не убедительно. Всеобщий эквивалент стоимости. Но почему именно он? Мало ли в мире красивого, редкого и долговечного. Одни народы ценили раковины каури, другие – бобы какао, все это случайно, но – золото – всеобщий знаменатель. Его собирали и инки, практически не знавшие торговли, и наполняли им храмы в виде своих святынь. Что это, как не поклонение золоту почти в чистом виде?

Андрей знал из книг по истории, что это первый металл, с которым познакомился человек. Но мягкий желтый металл был в древности почти бесполезен, ведь из него не сделать прочных орудий, а тусклый блеск украшений не так уж красив. Еще он читал, что человечество сохранило почти все добытое за историю золото, и в слитках его сейфа могло быть и золото римлян, шумеров и египтян.

Наверное, тяга к золоту заложена в самой природе человека, как у пчелы к меду.

Андрея вдруг словно ударило током. Хозяева улья! Возможно, они обходят сейчас другие планеты. А гибель древних цивилизаций Земли... Ученым не всегда ясно, что погубило их вдруг в период расцвета. Психический шок!

Планета зомби. Он был одним из них и очень хорошо исполнял работу. Но он осознал, что зомбирован первым.

Среди людей встречаются и те, кто очень ненавидит золото и связывает его с именем дьявола. В них бьет идущий из глубины души, пусть неосознанный, протест против заложенной кем-то программы. Судьба их всегда трагична.

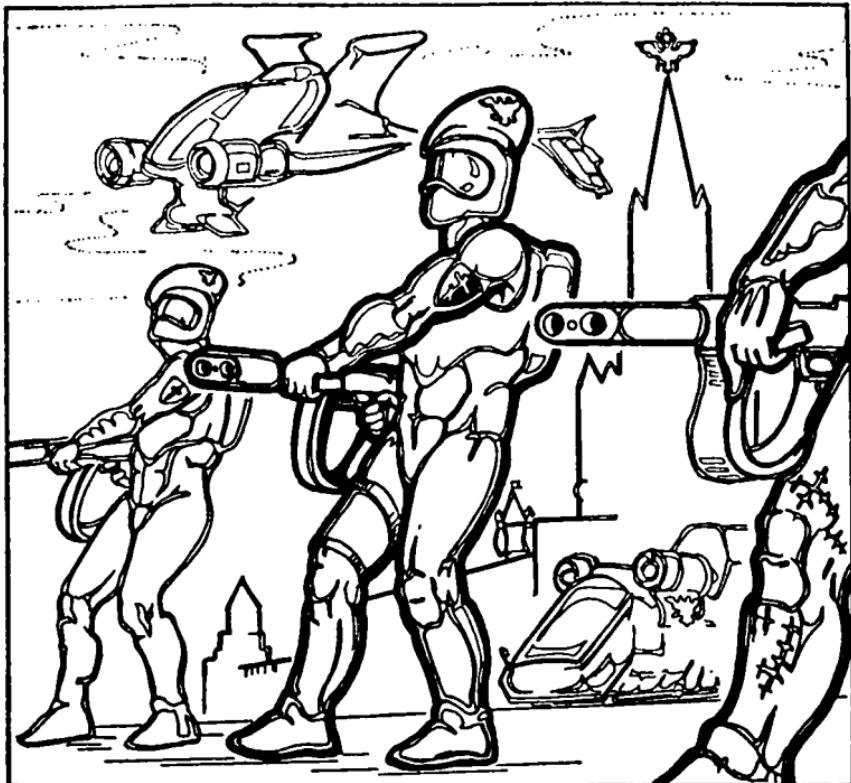
«Все золото от лукавого» – звучит русская поговорка, а запорожцы предпочитали серебряные нательные кресты и оклады икон. Народная мудрость была глубока.

«Выходит, человечество находится в рабстве... – решил Андрей – ... и черт с ним. Плевать! Я буду работать.»

Андрей бросил теперь всё на скопку резко упавших акций оставшихся золотодобывающих фирм и компаний, не только российских, и преуспел в этом.

Одни считали его свихнувшимся идиотом, другие – ужасно рисковым парнем. Он не был ни тем, ни другим, им двигал только холодный расчет.

Добытое вновь из земли золото больше не исчезало. Пройдут еще тысячи лет. Жизнь пчел коротка в сравнении с жизнью хозяев.



Юрий Петухов

СВЕРЖЕНИЕ ИЗВЕРГОВ

Во мраке, холоде и лютости ночи, оскользаясь на обледеневших горных тропах, вбиная в себя все ветра и всю сырость океанов воздушных, озираясь на пропасть смертную и вздымая глаза вверх, к незримым пока сочным лугам, ведет чрез скалы паstryр стадо свое. Бережет его и лелеет, хранит от блуждающих в ночи хищников, алчущих крови агнцев, ограждает от стервятников небесных и гадов подземных. Не спит, и не считает мозолей на руках и ногах своих, не щадит сердца, и гонит прочь болезни, усталость, уныние, не дает покоя подмоге своей, псым охраняющим, несет на себе слабых и ожигает кнутом строптивых и мятущихся – во их же благо, из рук своих выкармливает, выпаивает немощных и малых, грудью встает на пути лихих людей и зверей, не дает в обиду и поругание, не оставляет на смерть и заклание... Ибо паstryр есть. Ибо облечен крестной ношней своюю – вести стадо к лугам и беречь стадо, умножая его и укрепляя. И берет он со стада этого и шерсть, и молоко, и мясо, потому как не

Святым духом питается, потому что во плоть облачен и смертен, как смертны и псы его, и гомонящие подле.

Паршивая овца портит стадо. И пастьрь, желающий сберечь по-допечных своих, извлекает ее, отделяет от стада, если он добрый и радеющий. Паршивая овца, не изгнанная из стада, сеет болезни и смерть вокруг себя, обрекая на муки и погибель здоровых и чистых. Пастьрь, закрывающий глаза на паршивую овцу, плохой пастьрь, ибо бросает на смерть многих, доверенных ему – тяжела для такого крестная ноша его, тяжела и непомерна, и не пастьрь он, а враг стаду своему... За болезнями телесными, зрывыми приходит парша невидимая, проникающая в душу и в голову. И звереют, начинают бесноваться псы охраняющие – режут тех, кого стеречь и беречь обязаны, рвут зубицами мясо доверившихся, сатанеют в крови многой. Не столь хищник ночной, алкающий поживы страшен, сколь берегущий тебя и идущий рядом, но по безумию и болезни возжелавший вдруг крови твоей. Враг, высверкивающий из мрака горящими глазами и воюющий лютно, старый и привычный враг, против которого уберечься можно. Друг, обратившийся во врага, страшен вдесятеро, в стократ! Ибо сила его больше силы твоей, и не остановится он в безумии и алчи... А остановит его только пастьрь благой и добрый, и излечит болезнь в нем, выбив из тела его больную душу вместе с бесами, вселившимися в нее. И чем раньше сделает он дело свое, тем больших убережет. И не будет ему хвалы и награды за это – просто ношу несет, как и надо нести, не останавливаясь и не озираясь, не блуждая суетным умом в потемках, а свое дело делая, от паршивых овец и паршивых псов стадо очищая.

Но горе тому стаду, где сам пастьрь болезнь страшную примет в душу свою, изнутри паршой покроется и служить бесам станет, вселившись в него. Сбросит он крестную ношу свою посреди холода и льда тропы горной, оттолкнет слабых и малых, и взорится изнутри доверившихся ему звериными, лютыми, кровавыми глазами хищника. И заразит он заразою своей псов охраняющих, вселит в них бесов черной души своей, и начнет творить дьявольскую потеху, низвергая несчастных в смертную пропасть, вырезая стадо свое, губя больших и малых, слабых и сильных. И не будет ему окорота, не будет узды... Горе стаду этому! Горе, ибо пастьрь заботливый и псы охраняющие обратятся в убийц. И кого винить в горе этом – самого ли пастьря? бесов ли вселившихся в него?! Некому в стаде истребляемом тешиться поисками виноватых, ибо не дано, ибо обречено уже, ничего не поможет, не исцелятся бесноватые изверги-убийцы, не придет помочь извне, некому помочь – один был защитник, и тот врагом стал. Никто и ничто не спасет... Только чудо одно.

И случится это чудо из многих тысяч однажды. И обретет один из стада нарождающуюся душу нового пастыря. И почует в себе силы встать на пути убийц одержимых. И погибнет он в неравной схватке. Или победит. И низвергнет в пропасть смертную, адскую извергов. И сам поведет стадо вверх... поведет, если будет кого вести, если пойдут за ним оставшиеся, если не разбредутся, не пропадут, если останутся на тропе.

Людские стада ведут по тропам горним во мраке Бытия не благие пастыри. Ибо алчут со стад шерсти, молока и мяса больше меры своей. Ненасытны и суетны есть, как и псы их охраняющие – и не оточных хищников одних, но и от стад ропущих. Редко по тропе Бытия идет пастырь праведный и добрый. И не осторегаются уже люди пастырей неправедных и злых. Привыкли. К беде своей привыкли, к горю привыкли, к ножам пастырским и ножницам... и потому молчат в движении своем к лугам, отдают положенное и неположенное: Богово Богу, кесарю – кесарево. И не ждут беды большей, ибо не знают ее – кто познал, тот уже в пропасти смертной, оттуда возврата нет. Живые не знают.

А беда – в пастыре, отдающем паству свою хищникам ночным и лютым, в пастыре, готовящем пастве бойню кровавую, ибо не пастырь он уже, а враг, служащий бесам, но властвующий над паствой незрящей и неслышащей. Он не приходит из ночи, не крадется. Он уже здесь. И он во власти полной. Не по нему крестная ноша. Он враг Креста. Он дьявол.

И не ведают люди настоящего своего. Не знают будущего. Спят. И нет уповающих на чудо.

И лишь свершившись оно станет Чудом. Или не станет. И развернется тогда черная пасть пропасти. И судить будет некому. И виновных искать некому. И незачем.

Светлана проснулась первой. И сонным, ничего не понимающим взглядом уставилась на карлика Цая. Лишь через минуту она обрела дар речи и спросила:

– Я снова в Освом?

Цай ван Дау покачал головой, молча приложил палец к губам.

Но Иван уже не спал. Сквозь спутанные светлые лохмы он глядел на жену. И в его взгляде не было и тени сомнений. Светлана натягивала на свое прекрасное, но исхудавшее тело рубаху, его рубаху. Озиралась. Ей явно не нравилось в серой камере.

– Куда ты меня заманил? – спросила она с улыбкой, приглаживая Ивану волосы. И поцеловала его в щеку, возле самого глаза.

— Это Земля, Светик, — прошептал Иван. — Что бы там ни было, а это Земля! Мы выберемся из ловушки. Я знаю как... — он вдруг уставился на Цая. — Болит еще?

— Что болит? — не понял тот.

— Да вот, говорили мне, что ку-излучение штука препротивная, малополезная.

— Не напоминай! — карлика Цая передернуло. — Не дай Бог, еще испытать. Сколько лет прошло, а до сих пор хребет ломит!

Иван кивнул. Пересказывать будущее, которого наверняка уже не будет, ему не хотелось.

— И серые стражи не заходили? — поинтересовался он, прижимая голову жены к груди, улыбаясь полублаженно.

— Сюда и таракан не прошмыгнет.

— Хорошо. А как насчет Правителя с его охраной?

— Никак, — коротко ответил Цай.

— Значит, не заходил?

— Нет.

Теперь Иван заулыбался в полный рот, он был доволен, даже рад. План созрел в считанные секунды. Выберутся! Еще как выберутся отсюда. Главное, без суеты.

Он протянул ретранс карлику.

— Держи! Тебе пригодится.

— А ты?!

— А я сам выйду.

— Но где же мы?! — заволновалась Светлана.

— В надежном месте, — отшутился Иван. — Тут нас ни один гмых не достанет. Скучала, небось, по земельшке родимой? — Он встал на ноги, поднял ее, прижал к себе сильнее. — Думала про лужайки и бе-резки, про пляжи и песочек... а очутилась в палатах подземных.

— Мы под землей? — Светлана уставилась на Цая, ожидая подтверждения.

— Ага, — промычал тот, — и очень глубоко. А наверху нас дожидаются, между прочим!

— Ну и идите наверх! — Иван отстранил от себя жену. Заглянул ей в глаза.

— Я никуда от тебя не пойду! — сразу отрезала Светлана.

— Так надо, — повторил Иван. — Здесь будет серьезная драка. — Он вдруг осекся, достал из подмышечного клапана Кристалл, сияющий всеми багряными гранями, и добавил: — А может, и не будет.

— Я остаюсь! — Светлана отвернулась к стене, стиснула губы, давая понять, что не двинется с места.

— Ладно, пусть будет так, — согласился Иван. — А ты возвращайся. Гугу передашь дословно: он, его люди — Европа, мы с Кешей остаемся здесь, на запад усиленная делегация — ты, Дил, Хук, Арман, «длинные ножи». Остальное он знает. Сигнал будет. Всё!

Карлик Цай ван Дау, наследный император Умаганги и беглый каторжник, поднял на Ивана глаза. Лицо его стало окаменевшее-уродливым, будто лицо мертвого младенца, изъеденное старческими морщинами и безобразными шрамами. Не было жизни и в глазах, огромных, потухших, отсутствующих. Цай понял, что теперь обратного хода не будет, что все они обречены.

— Передам, — просипел он еле слышно, — передам слово в слово. До встречи!

Он отвернулся, прижался лбом к серому синтокону, до хруста сжал костищные кулаки. И исчез.

— До встречи! — отозвался Иван.

И обернулся к Светлане, к жене ненаглядной, вновь обретенной. Сердце сладко сжалось. Они будут вместе. Еще несколько дней вместе, до прихода в камеру Правителя. А там... Перед глазами у Ивана встало озаренное звездным светом лицо Небесного Воителя, засияло золото доспехов, зазвенела музыка иных сфер, могучая, великая, придающая сил и веры, прекрасная заоблачная музыка. Иди, и да будь благословен, воин!

Дил Бронкс стал серым как мышь. Кеша никогда прежде не видел его таким растерянным и жалким. Цай смотрел в потолок и настыривал. Они сменили уже шестой по счету бункер... седьмого не будет.

Гуг сказал коротко и прямо:

— Хоть сдохнем как люди!

Хар засопел, заскулил, он не понимал унылых бесед и всегда тревожился, терял спокойствие, если кто-то заводил непонятные разговоры. Оборотня Хара тянуло на Гиргею, к своим. Но он терпел.

— Меня другое удивляет, — прерывистым, чужим голосом протянул Бронкс, — почему нас еще не схапали. Ведь мы готовимся почти на виду! Нас могли сто раз просечь и выловить всех! Может, и они ждут, э-э... сигнала?

— А какой сигнал-то? — спросил из угла Хук Образина.

— Он не сказал, — ответил Цай.

— Значит, сами догадаемся! — отрубил Гуг Хлюдрик. Ему не нравилось, что пошли всякие вопросы да расспросы, только болтовни и сомнений не хватает! Нет! Кто сомневается и трусит, пускай отваливает! Гуг побагровел и ударил кулаком по антикварному малахитово-

му столику, стоящему прямо на цементе, хватил так, что угол обломился и с грохотом полетел на грязный пол. – Даю три секунды на размышления. Кто передумал, может уйти! Кто останется, будет слушать меня и не вякать! Ну-у-у!

Никто не встал, никто не вышел. На лбу у Дила Бронкса выступила испарина, но он не утирал ее, он улыбался – жалкой, извиняющейся улыбкой: слишком много сделано, слишком много вложено в дело, не уйти, да и лицо терять не хочется – сам торопил, сам гнал машину. Будь что будет! Одна подготовка вылилась в три «дубль-бига» да по континентам разбросано вкладами полтора миллиарда. Дил побледнел еще больше, за такие денежки он мог умотать от любого Вторжения! Или откупиться... Нет! Что за чушь лезет в голову!

– Кто будет старшим в Штатах?! – спросил он с тревогой.

– Ты! – ответил Гуг Хлодрик. – А Цай тебе поможет.

– Не доверяешь? – скривился Дил.

– Хватит болтать!

– А почему именно меня на запад?!

– Так сказал Иван!

– Ну и что?!

Гуг встал во весь свой огромный рост, сжал кулаки.

Дил Бронкс тоже встал, не отводя взгляда от сузившихся глаз седого викинга. Остальные сидели молча, наблюдали, даже Хар перестал поскучливать, приподнял унылую морду.

– Я поеду, – выдавил Дил Бронкс сквозь зубы, – поеду... но чует мое сердце – висеть нам на реях.

– Кому суждено быть повешенным, тот не утонет! – выкрикнул дурашливо из своего угла Хук Образина, пытаясь разрядить обстановку.

Не получилось.

Гуг Хлодрик ухватил Бронкса за грудки, с легкостью оторвал от цементного пола многопудовое накачанное и холеное тело. Прошибипел в ухо:

– Ты б у меня в другое место поехал! Понял?! Моли Бога за Ивана... и убрайся!

Негр вскинул руку, огромную, литую, чуть дрожащую. Но удастся не посмел.

Гуг отпихнул его от себя. И выразительно посмотрел на карлика Цая. Тот прикрыл налитые кровью, усталые глаза – покоя и тюльпанов не будет, теперь уж точно.

Бормоча под нос ругательства, сверкая белками, разъяренный и уже совсем не бледный Дил Бронкс вышел вон. Вслед за ним потянулись Арман-Жоффруа дер Крузербильд-Дзухмантовский, он же Крузя,

пошатывающийся, мутноглазый Хук Образина, непроницаемо-скорбный карлик Цай ван Дау.

В дополнительном инструктаже никто из них не нуждался, план был отработан до деталей в семи вариантах, Большой Мозг боевой альфа-капсулы просчитал все досконально, недаром Цай напичкивал его данными и вводил программы. Теперь сама капсула-координатор болталась на орбитах между Меркурием и Марсом, и была совершенно неприступна и неуловима, для пущей надежности Цай запустил ее на тройное самоуничтожение в случае возможного перехвата, при этом капсула сделает залповый выброс программ управления и координации в две другие капсулы, находящиеся на иных орбитах, уловить такой выброс невозможно. И понапрасну нервничал Гуг-Игунфельд Хлодрик Буйный, Дил Бронкс сделал все, что мог, его бешеные деньги работали на полную катушку, такое обеспечение могло позволить себе только крупное государство или бандитский межсистемный синдикат, Дил по звеньям распродал свою бесценную цепь... но была у Диля Бронкса и задняя мыслишка, которой он бы и сам не признал за собой: ведь коли Система войдет во Вселенную, таких цепочек, такого железа будет навалом, и он не успеет сбагрить свою, Дилю имел практический склад ума и он спешил.

– Не подведут, ничего, – прохрипел Гуг вслед уходящим. – А у тебя чего, тоже сомнения? – повернулся он к Иннокентию Булыгину.

– У матросов нет вопросов, – теребя облезлое ухо обратояня Хара, ответил Кеша.

Хар издал утробный звук, переходящий в повизгивание. Он все больше входил в роль зангезейской борзы.

Гуг облегченно вздохнул. Ему хотелось, чтобы все началось как можно скорее. Когда будет сигнал?! Цай сказал, что Иван созрел, что он вообще никогда прежде не видел Ивана таким... и это хорошо, это главное, вожак должен быть сильным и смелым, он не имеет права сомневаться, иначе провал, иначе труба... Но когда же будет сигнал? И какой сигнал?! Иван ничего не сказал.

– Я отваливаю в Европу, – пробубнил Гуг и протянул Кеше свою огромную ладонь. – Связь три раза в сутки, как обусловлено.

– Счастливого пути! – кивнул Кеша и заранее сморщился, вкладывая свой биопротез в лапищу седого викинга. Протез имел нервные окончания и эдакая камнедробилка не сулила приятных ощущений.

– И все же Седого нужно было придавить, – бросил на прощание Кеша.

– Нужно было, – согласился Гуг. Он думал о Ливадии. Как там она в своей усыпальнице? Надо сходить проведать... нет, не получится. Теперь только после победы... или никогда.

Правитель подошел совсем близко, склонился над лежащим посреди серой камеры телом, вглядился в затылок, скрытый взлохмаченными волосами, хотел коснуться их, но не решился. Левая, от рождения сухая, рука дрожала, и он ничего не мог с ней поделать. Дергалась в нервном тике правая бровь... Да, надо, обязательно надо лечиться, надо ехать на отдых. Но как?! Куда?! Правитель боялся покидать свой кабинет, он и ночевал в нем, там было надежно, там многослойная система охраны и предупреждения, там бдительная стража во главе с этим... Правитель недовольно покосился на широкоскулого и узкоглазого сопровождающего – черт его знает, может, он и воткнет нож в спину, так бывает, так уже много раз было в истории, преторианцы убивали своих владык, императоров да царей, и сами садились на троны, эхе-хе, черт его знает! Здесь тоже надежно, почти километровая глубина, спец психушка для особо опасных конкурентов – правители конца ХХ-го века знали, что делали, знали, только и сами не убереглись. Он тяжко, с присвистом вздохнул. Нет веры, никому нет веры – кругом негодяи, подлецы, карьеристы, только и думают, как бы скинуть его, подсидеть, отправить на «заслуженный отдых», нет им доверия, ненадежные людишки, сволочь всякая, всех бы их сюда! Нет, тогда один на один с народом, это не годится, без них нельзя, а надо бы, надо – всех к ответственности, всех за решетку, всех под землю, а лучше в могилу, к стенке... Правитель отер со лба холодный пот. Теперь он был не тот, что семь лет назад, теперь он знал, что и над ним есть сильные мира сего, да еще какие сильные, да еще и не совсем «сего мира». Нет, тут надо иметь железные нервы и железную выдержку.

– Света... уходи! – прохрипел лежащий. – Уходи!

Правитель отшатнулся в испуге.

– Что с ним?

– Бредит. Все время бредит! – пояснил начальник охраны.

Правитель отвел ногу и пнул лежащего впол силы, чуть не упал сам. Но узник лишь чуть вздрогнул, не вышел из забытья.

– Вот ведь гад какой! – посочувствовал Правителю начальник охраны.

– Короче, – оборвал тот. – Докладывайте!

– Слушаюсь. Субъект полностью прослеживается...

Правитель слушал монотонный доклад плотного шестидесятилетнего человека с настороженным широкоскульным лицом и узкими щелками глаз, а сам думал о своем: надо было уматывать отсюда, отваливать! еще пять лет назад! три года! год! всегда можно где-то укрыться, купить островок, виллу в горах, вырыть бункера-убежища, запасов на сто лет... нет, сто лет он не протянет, но лет шестьдесят еще

запросто, шестьдесят лет – это же целая вечность! и пускай тут разбираются другие, пускай делят власть, выполняют или не выполняют неясные инструкции извне, но он-то причем, его же потом и обвинят, а может, безо всяких обвинений пустят на распил, кто их знает! еще и этот тип свалился на голову, за ним следят, не может быть, чтоб не следили... и никакой он не псих, просто шустрой слишком, лезет куда не следует, всех погубит и сам сдохнет! на него плевать! а зачем других подставлять-то, и так кругом одна сволочь, одни изменники! тяжко! и страшно! и не повернуть назад, черт возьми! тяжела ты, шапка Мономаха, ой тяжела, шею сломишь! И убивать его нельзя, нету распоряжений оттуда, а вдруг он и м нужен, что тогда? тогда накажут! это запросто, этого всегда жди! нет, надо было бежать, отваливать... теперь поздно! И в Систему он проник, мать его! И Синклит тут замешан – эти гады везде лезут, все своими сетями оплели, все опутали, а никуда без них не денешься, они первыми на контакт вышли, они ближе к тем. А Реброва, этого фрайера дешевого, он угробил, точно, он, только чужими руками, вот и верь всем этим спецслужбам – на себя, небось, работают, или еще хуже, двум хозяевам служат. Правитель недовольно взглянул на узкоглазого. Тот вздрогнул, попятился.

– Я вышвырну тебя отсюда, понял?! – заорал он. – Ты знаешь, куда вышвырывают отсюда??!

– Знаю, – ответил широкоскулый, – на тот свет!

– Верно мыслишь, молодой человек, – Правитель отвернулся от начальника охраны. Ткнул пальцем в угол камеры. – А это еще что?

В углу, в полумраке камеры-палаты чуть высветлялась на фоне серого, унылого синтокона тень худощавой женщины с распущенными волосами. Посконная серая рубаха скрывала ее тело, сливалась с синтоконом.

– Фантом.

– Что?!

– Фантомное изображение... так бывает при сильных потрясениях. Когда этот тип придет в себя, фантом исчезнет.

– Ты хочешь, чтобы он пришел в себя?

Узкоглазый растерянно развел руками.

Дебилы! Ублюдки! Правитель сдерживался, но это ему дорогого стоило, как можно работать с такими кретинами! Они его подставят, если не из корысти и властолюбия, так по тупости своей и дурости! вот и доверяй таким! нет, все надо самому проверять, все! иначе угробят, в дерьмо втопчут... а еще рано, рановато, он еще повластвует, он покажет всем! и пускай они его не любят, зато боятся, а это важней! нет, никаких вилл в горах, никаких островков, для этого, что ли, он

рвался к власти, шел по головам и телам, не щадил самого себя?! нет! не для этого! пускай все они сдохнут! пускай эти дебилы и ублюдки все в огне сгорят, туда им и дорога, а он еще повластвует над ними всласть, он еще силен, он всемогущ! такие нужны всем – и самим баранам, самому стаду и тем волкам, что затаились где-то, а рож своих не кажут, только инструкции да распоряжения шлют, проверяют, пригоден ли? поживем еще, повоюем, не лыком шиты! с чужими проще поладить, чем со своими! а там еще поглядим, чья возьмет. Правитель с ненавистью уставился на начальника охраны. Надо узнать, что у этого парня в башке.

– Сколько времени потребуется на полную мнемоскопию?

– От силы полторы недели!

– Так вот, чтобы через полторы недели вопрос с этим смертником, – Правитель снова пнул безвольное тело, – был решен. Ясно?

– Так точно!

– И никаких фантомов! – Правитель поднес кулак к носу широкоскулого. – Ты думаешь, это у меня в глазах мельтешил? Думаешь, сдаст старик?! Ошибаешься! Убрать!

Начальник охраны ринулся в угол. С налета ударил ногой по тени... Но удара не получилось: прежде, чем сапог коснулся виска, узкая, но сильная рука перехватила голень, рванула на себя, опрокинула – мига не прошло, как грузное тело широкоскулого оказалось привязанным к серому полу. Другая рука молниеносно сдавила горло, не дав из него вырваться даже легкому хрипу.

Это был конец! Правитель все понял. Он сразу же повернулся к лежащему... Но тот уже не лежал. Он сидел, скрестив под собою ноги, глядя прямо в глаза и сжимая в пальцах поднятой руки какую-то красную штуковину... ну и пусть, значит, так надо, значит, все правильно, молочно-белый водоворот замутил Правителю взор, повлек в себя, закружиł, унес куда-то далеко, где нет ни звуков, ни мельтешения тел и предметов, ни времени.

– Светик, шепни этому чучелу, – сказал Иван тихо, – что если он подаст хоть один сигнал наружу, даже мысленный, сразу сдохнет.

– Он умненький, он все понимает, – откликнулась Светлана, вдавливая широкоскулому за ухо фиолетовую гранулу. – Он теперь на поводке у нас, трепыхнется разок – и поминай как звали.

Светлане за эти дни донельзя осточертела серая камера. Как ни сладко и прекрасно было с любимым после долгой разлуки, но душа рвалась на волю, наверх. Может, именно по этой причине она немножко переборщила с начальником охраны, не ожидавшим отпора, чуть вовсе не вышибла из него дух.

А Правитель стоял столбом и лупоглазо пялился на Ивана, он был в прострации – Кристалл работал на славу.

Иван подошел к кособокому и преждевременно состарившемуся человеку, имевшему огромную власть надо всей Великой Россией, подошел вплотную, ощупал карманы, достал из бокового яйцо-превращатель – никому его Правитель не отдал на проверку и экспертизу, не доверял, значит, – и сунул его в нагрудный клапан комбинезона.

– Лови! – Светлана бросила распылитель.

Иван поймал, привычным движением пристегнул к поясному ремню.

– Нет, – проговорил он, – на заслуженный отдых в преисподнюю его еще рано отправлять, он нам не все рассказал.

– Любая задержка может вызвать подозрения, – забеспокоилась Светлана.

– А мы и не станем задерживаться. Эй, ты! – Иван подошел ближе к поверженному начальнику охраны. – Хватит лежать. Нам пора наверх!

Светлана убрала руку с загривка широкоскулого. И тот стал медленно приподниматься – сначала на четвереньки, потом на корточки, на полусогнутые... выпрямиться окончательно ему не дали – заскрежетав зубами от боли и ухватившись обеими руками за виски, широкоскулый повалился наземь.

– Управление работает, все нормально, – пояснила Светлана, – может, еще попробуем?

Широкоскулый отчаянно замотал головой. Он все понял. Жизнь одна, и надо подчиняться тем, кто взял верх, пока... а там видно будет.

– Выходим??

– Нет! – осек Светлану Иван. – Нельзя, надо наверняка.

Он снова подошел к застывшему столпом Правителю, вытащил яйцо. На миг задумался. Прижмешь к своему горлу – станет два Правителя, к его дряблой шее – будет два Ивана. Нет, надо попробовать! Иван, преодолевая отвращение, приблизил свое лицо к перекошенному, морщинистому лицу старика, вдавил превращатель прямо над кадыком, запрокинул голову и вжался в другой конец яйца своей шеи. Будто холодком пахнуло, но не снаружи... а внутри.

– Я сейчас с ума сойду! – ошалело и сипло пролепетала Светлана, глядя, как омерзительный старикашка на глазах превращается в статного и крепкого молодца, а ее Иван становится кривобоким и обрюзгшим уродом. Только этого еще не хватало!

Широкоскулый сделался белым, а его узкие глаза расширились. Он не испугался, не изумился, он знал, что такое превращатель. Он

просто все сразу понял. Обвели! Обхитрили! Теперь хана... нет, теперь один резон – служить новому хозяину, может, не тронет, может, и ему понадобится верный пес со всей его сворой. Широкоскулый чуть не заскулил от нетерпения. Он готов уже был выказать свою преданность... но не посмел, холодный блеск серых прозрачных глаз остановил его, Светлана умела говорить без слов.

– Вот теперь порядок, – Иван-Правитель быстро сунул яйцо в карман двубортного костюма, отпихнул от себя Правителя-Ивана, крепкого и высокого парня, каким еще полминуты назад был сам. И добавил, чуть приподняв Кристалл: – А сейчас ты будешь спать. Ложись!

Правитель в теле Ивана послушно опустился на колени, лег ничком. И уснул.

– И никаких мнемоскопий, – предупредил Иван-Правитель, – нечего время зря тратить. Когда он нам понадобится, ты его приведешь... понял?!

Начальник охраны весь согнулся, заулыбался приторно и закивал – голова его немного тряслась, нервы сдавали. И немудрено. Хотя ничего почти и не изменилось в камере: крепкий парень в десантном комбинезоне лежал на сером полу в той же неудобной позе, как и полчаса назад. Разлохмаченный и дергающий бровью Правитель крикливобоко и шатко стоял над ним... только не пинал, а так – в точности, он, отец родимый и кормилец. Вот только «тень» в рубахе не сидела в углу призраком-фантомом, а прислонившись к серой стене спиной, пристально следила за ним. Ну что ж, такой расклад, ничего не поделаешь. Даже если он, начальник всей охраны, поднимет шум и станет чего-то заявлять, его высмеют, а потом и выбгонят. Ну и плевать. Король умер, да здравствует король!

– Пошли!

Иван-Правитель шагнул к тому месту, где должен был открыться незримый люк. Ему было до отвращения неуютно в этом болезненном, хилом, заплевывшем жирком теле: сердце трепыхалось само по себе, пугливым вороненком, одышка подкатывала к горлу, сухая рука почти не слушалась, ноги расплзались и дрожали... нет, надо привыкнуть, ко всему можно привыкнуть, ведь жил же этот выродок в своем теле и еще сто лет прожил бы. Он ощупал правую руку – рукоять меча была на месте, значит, она не перешла к тому. Иван-Правитель скосился на самого себя, лежащего на полу... так, так, все, что было на теле, перешло, а вот комбинезон? Он склонился над лежащим, вытащил из клапанов несколько шариков, еще какую-то мечочь.

– Оружие отдай! – сказал Светлане.

— Ага, сейчас, — покорно ответила она, не принимая сердцем нового облика Ивана — с таким бы она не стала обниматься и целоваться, нет уж. Но без промедления, не сводя глаз с широкоскулого, вытащила из прорезанного мечом слоя синтокона лучемет и бронебой, сунула их пленнику, шепнула: — Поднимешь ствол, сдохнешь.

Тот обиженно надулся. Ему хотелось, чтоб эти лихие люди принимали его за своего, ведь он же с ними, а они не доверяют... ну ничего, он еще заслужит доверие. Широкоскулый даже подошел к лежачему, хотел было пнуть его в знак преданности новым хозяевам, но поразмыслив малость, передумал.

За стенами палаты, в таком же сером коридоре их дожидались четверо парней в серых масках на лицах. Они и глазом не мигнули, увидав странную женщину в разодранном балахоне — в психушке, да еще спецпсихушке, и не такое увидишь, главное, их шеф вышел, жив-невредим, как тому и положено быть, а с ним этот черт кособокий. По мыслесвязи шеф приказов не дает, стало быть, все нормально, работать надо в штатном порядке, и слава богу, отпахать бы скорей смену да на боковую.

В лифтовой капсуле Иван-Правитель молчал, недовольно шевелил кустистыми бровями. Всю механику и автоматику тут с конца XX-го века поменяли, немудрено, позабочились, значит, опасались. Ему хотелось хорошенько врезать этому олуху охраннику, разметать всю его щоблу, вырваться наверх, на свежий воздух, прямо посреди Москвы-матушки... но нельзя, да и тело не то, не совладает. Надежда одна — на Светлану, ежели она оплошает — всем конец, но она не оплошает.

Широкоскулый покорно нес оружие, играть с огнем он явно не хотел. Лицо у него было скорбным и торжественным.

На поверхность они так и не выбрались. Иван не помнил, как его волокли в подземную тюрьму, он был в бессознательном состоянии, и теперь мог положиться только на начальника охраны. Сам он шел шаркающей походкой, горбатился, шмыгал носом. Впрочем, идти пришлось недалеко: от лифтового шлюза коротким переходом к горизонтальной ветке, снова в капсулу, несколько секунд пневмополета в трубе, остановка, фильтрационный шлюз... ребятишки в масках так и остались в нем, будто растворились... и наверх в древнем уютно-теплом, отделанном резным дубом лифте.

Широкоскулый распахнул дверь.

И они оказались в том самом кабинете, с которого все и началось.

Первым делом Иван-Правитель подошел к огромному резному столу, уселся за него — даже если охранно-сигнализационные системы настороже — на Правителя они не среагируют, а он Правитель, он в

его теле, опасаться нечего. И действовать надо немедленно, время прошло, контрольные системы работают в авторежиме, и даже само появление в кабинете босоногой женщины в драной рубахе и оружия не пройдет бесследно, да, ни секунды нельзя терять!

– Правительственная связь! – потребовал он.

– Одну минуту! – широкоскулый суетливо подбежал к резной ореховой панели за спиной у Ивана-Правителя, зашевелил губами, провел ладонью. И доложил: – Теперь полное управление на мыследатчиках, повторите команду.

Иван-Правитель не стал открывать рта, он только произнес то же самое в мыслях, молча. И тут же верхняя задняя панель ушла вбок. Из потаенных глубин выплыла вперед и зависла над его головой черная, матово поблескивающая сфера. Иван вздрогнул. Вот он – трон властелина Великой России и большей части освоенной Вселенной, прямо здесь, в кабинете. И не надо никаких шифровок, кодов, всякого мудрежа – здесь все диктуется открытым текстом, и все исполняется, эта связь не поддается никаким расшифровкам, и переданное по ней – приказ, подлежащий немедленному исполнению. Но все равно спешить нельзя, ибо и действия Правителя, особенно серьезные, масштабные, просчитываются, анализируются, проверяются – и если они могут нанести ущерб государству и нации, блокируются до рассмотрения на Совете и утверждения. Правда, есть режим Особого положения. Но для этого нужны веские основания, просто так Особое положение ввести не дадут. Надо быть осторожным, предусмотрительным, по крайней мере, на первых порах... сколько удастся продержаться – день, два, три... потом все равно придется сбрасывать эту маску. Но за это время надо успеть многое, очень многое.

Широкоскулый в угодливом полупоклоне стоял по левую руку от Ивана-Правителя. Светлана сидела на резком кресле, том самом кресле, вид у нее был и впрямь странный. Иван кивнул в ее сторону и сделал начальнику охраны выразительный жест пальцами. Тот сразу смекнул, засуетился, снова зашептал что-то, зашевелил губами: внутренняя связь – никаких переговорников, антенн, кнопок и прочей мишурь – все в крохотной черной пластине, искусно вшитой под кожу виска... можно и не шевелить губами, это он уже от усердия, по привычке, ничего, ничего. Иван-Правитель сидел окаменевшей статуей. Не спешить! Две-три минуты, оглядеться, освоиться, не спешить! У Светланы подготовка не хуже, чем у этого шустряка, да плюс к тому «управление», она себя в обиду не даст, нечего волноваться, теперь главное, спокойствие. В кабинете должна быть топо-кабина, в каждом доме есть, и пускай синтетика, пускай плазмолитье, неважно, потом сменит, сейчас надо себя в приличный вид привести.

Светлана выразительно поглядела на него. Она знала, что все прослушивается, что никаких вольностей она себе позволить не может.

Иван-Правитель кивнул.

— Сюда-сюда, пожалуйста! — залебезил широкоскулый, приглашая в дальний полутемный конец огромного кабинета, приоткрывая резную дверцу.

Светлана вошла. Широкоскулый застыл недвижным изваянием метрах в трех. Всем видом он показывал свою покорность и преданность. На всякий случай Иван не спускал с него глаз. Но думал о другом — кого? кого надо вводить сюда?! охране Правителя верить нельзя! спецполк внешнего кольца подчинен Правителю напрямую, то есть, ему самому, но полк, вызванный внутрь Кремля, наделает переполоху — зачем? почему? с какой стати? даже батальона будет много! Черный шлем? это уже лучше, хватит двух взводов... нет, третий должен блокировать подступы, иначе всякое может случиться, ошибаться он не имеет права! Сомнений не было, сомнения и отчаяние остались позади. Все долгие дни ожидания прихода Правителя в камеру Иван отрабатывал последние детали плана. Он думал об этом чертовом плане даже тогда, когда целовал свою Свету, обнимал ее, он не мог не думать о нем. И вот теперь последние штрихи. Последние!

— Я готова!

Светлана выскочила из топо-кабины будто провела там не полторы минуты, а полгода. Узнать ее было невозможно. Стройное тело облегал плотным серым слоем защитный комбинезон-полускаф с матовым отливом — четыре миллиметра гибкого биотитанового пластикона. Ремни и портупеи черной пористой стальной кожи стягивали хитрыми переплетениями грудь, талию, бедра, вились по рукам и ногам. Черные высокие сапоги без шнурков и прочих причуд скрывали босые прежде ноги, мелкими складками вздымались по икрям. Иван давненько не видывал своей женушки в таком отличном виде, она была просто прекрасна, она сейчас напоминала ему не ускользающий и расплывчатый образ Светы, меняющейся от поиска к поиску, от одной экспедиции к другой, а светловолосую Лану. Хороша! Но не время предаваться восторгам. Иван-Правитель кивнул, улыбнулся, кривя старческий рот, указал рукой на кресло.

Пора!

«Альфа-корпус. Командира!» — приказал он мысленно.

И почти сразу прямо перед ним без всяких мониторов и экранов возникло изрезанное морщинами и шрамами лицо Глеба Сизова. Иван знал, что ни Светлана, ни начальник охраны сейчас ничего не видят и не слышат. Но он знал, что правительственный «черный



ящик» накручивает в свою память каждое слово, каждую мысль-приказ... не сорваться прежде времени, не выдать себя, спокойствие!

Глеб был устал и хмур, наверное, он только что проснулся, а может, собирался лечь отдохнуть. Ничего, для таких как он выходных, отпусков, дней и ночей не существует. Иван всматривался в знакомые черты и машинально отмечал: постарел, помрачнел, но глаза те же, Глеб не будет вести двойной игры, он будет поступать по приказу и по совести, как всегда.

«Три взвода ко мне, – мягко выговорил Иван-Правитель, – через десять минут я вас жду». Иван был полковником, а Глеб еще семь лет назад получил генерал-лейтенанта, но пребывал в опале, лишь три раза выходил на серьезные задания, командовать им было неловко, да ничего не поделаешь, теперь времена иные и расклад иной, Глеб кончил Школу на три года раньше его, по учебе Иван почти и не помнил Сизова, зато на Гадре им пришлось постоять плечом к плечу, такое не забывается.

«Спецвыход?» – поинтересовался командир альфа-корпуса.

«Нет, облегченный вариант, – ответил Иван-Правитель, хотя по уставу и инструкциям ему ничего объяснять не следовало, как не следовало и Сизову задавать лишних вопросов. – Не теряйте времени».

Иван вытащил из нагрудного кармана Кристалл. Надо проверить психо-экраны, пора. Он положил руку, с зажатым в кулаке усилителем на резную столешницу. Пристально посмотрел на широкоскулого и сказал:

– А не кажется ли вам, молодой человек, – поддеваясь под натурального Правителя, – что ваши люди переутомились и стали не слишком усердно нести службу, а?

Широкоскулый побелел как полотно, потом позеленел. Он был догадливым, он сразу все понял – они захлестнули удавку у него на горле, а теперь еще и лишают его последней власти, власти над своими же службами, этим может все и кончиться, он перестанет быть им нужен, но сначала надо проверить, проверить.

– Я мигом! – выдавил он.

Внутренняя связь не сработала. И тогда широкоскулый выскочил из кабинета, не прикрыв за собой дверь, выскочил и тут же, опасаясь наказания, вбежал обратно. За руку он волок за собой одного из своих парией. Тот был полусонный, одуревший, ничего не соображающий и, уж понятно, не работоспособный, мимо такого и слон пройдет и бронеход промчится.

– Они все очумели! А четверо на полу, лежат...

– Спят в служебное время, – укоризненно вставил Иван-Правитель, – утомились и спят, устали... Распустил, совсем распустил ты

людей! Заелся! Жиром зарос! Службу забыл! – отчитывал он начальника охраны, входя в роль и удовлетворенно отмечая, что Кристалл действует, прошибает любые психобарьеры, эх, сейчас бы Авварона сюда, раздавить бы гаденыша, раз и навсегда, нет, сказок не бывает, не все сразу. Но надо успокоить этого, а то с перепугу еще наломает дров, испортит все. – Ладно, не суетись! Не твоя вина. Сядь-ка вон, и водички выпей.

На длинном столе для совещаний и впрямь стоял старинный, антикварный хрустальный графин с водой и двенадцать пузатых стаканчиков на огромномискрывающимся гранями блюде. Широкоскулый не посмел отказатьсь, выглушил полный стакан. Затих.

В незакрытую дверь, припадая на перебитую еще на Гадре в трех местах ногу, вошел командир альфа-корпуса, бывший десантник-смертник, инструктор «черного шлема», генерал-лейтенант Глеб Сизов. Вошел и сразу остановился, блюда субординацию, вещь нужную в деле военном и государственном, более того, необходимую.

– Ну что, видали? – с ходу спросил Иван-Правитель. Вместо уставного доклада Сизов коротко бросил:

– Видал!

И с презрением обжег взглядом широкоскулого. Тот отвернулся и засопел обиженно.

– Надо заменить, – сказал Иван.

– Уже сделано, – доложил Глеб Сизов. – Эта смена отправлена в регенерационный блок. Последующая на проверке с целью предотвращения аналогичного срыва. Мои люди расставлены по постам.

– Хм, хорошо, – заметил Иван-Правитель, – оперативно и четко. Недовольных не было.

– Были, – коротко ответил Сизов.

– Ну и что?

– Служебные обязанности выше эмоций.

Иван-Правитель только руками развел и поглядел на широкоскулого. Лучшего объяснения и он бы не нашел. Пока все шло чисто. Но надо, чтобы все шло и по-человечески.

– Глеб Сергеевич, – начал он проникновенно, оторвавшись от своего кресла, подходя ближе, – надеюсь вы понимаете, что ситуация странная, и объяснить ее просто недобросовестностью и разгульдяйством охраны никак нельзя. Тут что-то иное... возможно, и неслучайное. Мы не может сидеть да выжидать. Потом, конечно, разберемся, Совет созовем...

– Я все понял, – оборвал пространные излияния штатского лица Сизов, все ходы-выходы по всем уровням блокированы, сюда и мышь не проскользнет. Надо бы еще пару взводов на внутренние позиции

и... – он помедлил, осмысливая, не перебарщивает ли, нет, не перебарщивает, – и три батальона во внешнее оцепление. Хуже не будет.

– Не будет? – с недоверием переспросил Иван-Правитель, косясь на начальника охраны. – А то еще насмешим всю Москву – дескать, тени собственной испугались, переполох навели?!

Начальник охраны смущенно заулыбался.

А Сизов сморщил свое лицо еще больше, нахмурился, поправил обеими руками ремень, и без того сидящий там, где ему положено, потом приподнял костистый подбородок и сказал:

– Не будет. Кроме того два подразделения прочешут все по квадратному миллиметру от ваших дверей до Белого Города. Раз уж возникла нештатная ситуация, позвольте нам выполнять свои обязанности... или отменяйте приказ!

– Ну зачем же отменять, – Иван-Правитель радушно похлопал генерала по плечу. – Вы специалисты, вам и карты в руки. Действуйте!

Он был доволен. Он не ошибся в выборе. Едва Сизов вышел из кабинета, широкоскульный рухнул перед Иваном на колени.

– Я буду верно служить вам! Только не убивайте, не гоните! – взмолился он.

Иван не ответил. Он возвращался к своему столу, к полусфере правительственной связи.

– Эти генералы только по уставу могут! – причитал вслед широкоскульный. – Они и служат по уставу, России служат, государству! А я вам буду служить! Лично! Как собака! Как пес преданный!

– Ладно, ладно, – успокоил его Иван. – Погладим еще, как ты служить будешь. Пока свяжись с теми, кто не впал в прострацию – с третьей сменой, с четвертой, как там у вас, и скажи, чтоб без суety, без паники. Тихо чтоб!

Он уселся в кресло. Сосредоточился.

«Всем боевым соединениям! Всем частям! Флотилиям! Эскадрам! Флотам! Армиям! Немедленно остановить продвижение к заданным объектам! Обеспечить в кратчайшие сроки возвращение на базы! Командование орбитальных оборонительных поясов! Прекратить демонтаж вооружений! Немедленно приступить к восстановлению прежней боеспособности рубежей по всей глубине обороны! Перевооружение и тотальная смена оборудования отменяется! Выполнить!»

Пот градом струился по морщинистому лбу. Иван полностью отдавал себе отчет. Сейчас там, в боевых соединениях и на базах решат, что тут, в Москве, чокнулись окончательно, ну кто дает за неполные два месяца две взаимоисключающие команды?! Ничего. Они знают,

откуда исходит приказ, есть лишь одно такое место, ослушаться никто не посмеет. Все объяснения потом, стоит только начать объясняться и все, крышка, завязнешь как в болоте!

— Ваше распоряжение исполнено! — подкатил широкоскульный. — Все в точности. Но, осмелюсь доложить...

— Что еще за «но»?!

— Второй слой охраны мне неподвластен, там не мое ведомство, могут зашебуршиться. Это одно. И другое, ваш первый помощник уже десять минут топчется в приемной, у вас же сегодня семь встреч.

— Зови!

Помощник не заставил себя ждать, деловито влетел в кабинет и уже прошел полпути до резного стола. Но Иван-Правитель решительно остановил его жестом.

— Никаких встреч! Все отменяется! Передать всем помощникам и советникам — на двое суток все откладывается. Спокойно, без суэты, причины сами найдете, можете ссылаться на непредвиденные обстоятельства и нездоровье, на что угодно, дипломатично и тактично, ясно?!

— Да, но как же... — раскрыл рот помощник, разводя руками.

— Никаких «но»! Никаких обид! Все встречи состоятся, позже. И все совещания, заседания и приемы тоже! Вам что, от меня письменное распоряжение требуется?! Вы что, не понимаете, что такая государственная необходимость? Или вам надо подробный отчет предоставить?! Исполняйте!

Мясистые щеки помощника Правителя побагровели. С ним, наверное, еще никогда не говорили так резко. Но он подавил гордыню, сдержался. Теперь отдувайся, красней, оправдывайся перед людьми непростыми и нужными.

Он склонил голову. И медленно вышел из кабинета.

— А что касается второго слоя, — повернулся к широкоскулому Иван-Правителю, — пока не принимать никаких мер, не надо. Будут осложнения, решим, что с ними делать.

Теперь следовало заняться службами безопасности государства и контрразведкой. Здесь лезть напролом опасно — руководители этих служб вполне могли работать на Правителя или, минуя посредников, сразу на Систему. Тут можно напороться.

Следовало бы пойти самым простым путем: через систему Видеоинформа выступить перед гражданами Великой России и Федерации, рассказать об угрозе, призвать... Нет! Это провал! Неминуемый провал. Этот вариант у противной стороны тысячи раз просчитан, никаких обращений они не допустят, пойдут на любые меры, на ликвидацию Правителя, нарушившего правила игры, да и само выступ-

ление ничего не даст – человечество размякло, изнежилось, оно просто не поймет, о чем речь, а если и возникнут какие-то группы самообороны, стихийные, их немедленно подавят. Нет! Пока никто из работающих на Систему и другие миры не понимает, что произошло. И это залог успеха. Когда они поймут – будет поздно, для них будет поздно. Сейчас спать некогда.

Иван поймал встревоженный взгляд Светланы. Про нее все позабыли. Все, кроме широкоскулого. Она ждала дела. Она казалась себе лишней здесь, в этом огромном и странном кабинете. Иван ободряюще посмотрел на нее – ничего, ничего, надо набраться терпения. Надо!

«Ко мне председателя комитета безопасности. Срочно! И главу контрразведки! Немедленно!»

Сизова он вызвал в кабинет по внутренней связи.

Тот не заставил себя ждать. Вытянулся у дверей будто лейтенант. Да-а, отметил Иван, не привык Глеб к милостям властей.

– Я тут жду кой-кого с докладами из комитета и контрразведки, – пояснил он вслух, – пускать по одному, обеспечить безопасность. Понимаете? Пусть ваши люди проследят за выполнением моих распоряжений, а то время, сами знаете, смутное.

– Нормальное время, – коротко ответил Сизов, – выполним. Задержек не будет. – И как-то особо пристально поглядел из-под выголовивших бровей на Правителя.

Ивана будто током тряхнуло. Неужели узнал? Нет! Исключено! Тут другое. Пока неважно что, но он чувствовал, что этот генерал, бывший браток-десантник, будет с ним, он и сейчас уже с ним. Надо только прощупать его.

– Вы что-то хотели добавить, – мягко сказал Иван, – говорите.

– Если я правильно понимаю ситуацию, – начал Сизов, не отводя глаз, сведя брови к переносице и будто не замечая ни Светланы, ни начальника охраны Правителя, – надо поднимать корпус. Весь корпус!

– Хорошо, – согласился Иван.

– И еще! Не помешало бы доставить для доклада министра обороны и его первого зама по вопросам перевооружения Звездных флотов.

– Именно доставить?

– Именно доставить!

– Хорошо. Действуйте! – Иван-Правитель чуть склонил голову и пристально поглядел в глаза Глебу Сизову. Он не ошибся в нем. Но радоваться рано.

Генерал не уходил.

– Что еще?!

– Я прошу срочно вернуть с Дериза бригаду Семибратова.

– Насколько срочно?

– Да, это потребует колоссальных энергетических затрат, я знаю, но если сейчас отдать приказ – через полтора дня бригада выйдет из Осевого в околосолнечном пространстве, а еще через два часа будет на Земле.

Иван покачал головой. Неужто все настолько плохо. Неужели войска разложены и «перевооружены» до такой степени, что надо на землю вызывать черт-те откуда Семибратова с его Особой гвардейской бригадой?! Значит, так оно и есть. Глеб знает лучше, он давно не покидал Землю, Россию. Что ж, ему видней! Иван-Правитель откинулся на резную спинку кресла, обитую грубой кожей. Отключился от внешнего. Раз надо, значит, надо. «Сверхсрочно! Дериз! По получении данного приказа немедленный вылет на Землю! Верховный Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами Великой России». Все! Такие приказы обжалованию не подлежат.

– Будет вам Семибратов, – сказал он, вставая с кресла. – Вы свободны, идите, исполняйте!

Впервые за все время устало-изможденное лицо генерала Сизова озарила улыбка – совсем простая, почти детская. Иван отвернулся, еще немного, и он бы не выдержал, бросился бы к Глебу с объятиями, а то и прослезился бы. Нет, нельзя, это потом можно будет, а сейчас нельзя.

Когда Сизов вышел, Светлана подбежала к Ивану, хотела дотронуться рукой до плеча, но отдернула ее – какой это Иван! не Иван, а чучело гороховое: кривой, противный, страшный, недобрый даже внешне... выродок какой-то! А вдруг случится самое нелепое? вдруг превращатель потеряется, испортится, отнимут его – и тогда Иван навсегда останется в этом гнусном и гадком теле, она не сможет быть с ним рядом, не сможет! Что ж это за проклятье такое! Всего лишь несколько дней счастья и было у них в подземной камере! А вся остальная жизнь сплошные мытарства и мучения. Она вернулась из Осевого, вернулась из Системы. Думала, Земля прекрасна и чиста, думала, воскреснет от одного лишь воздуха ее... ан, нет! в этом кабинете она и не на Земле вовсе, и не в России-матушке, а будто в той же Системе! ну почему так не везет!

– Иван! – взмолилась она. – Бежим отсюда! Какое нам дело до них! Двоим всегда найдется место, двое всегда спрячутся от зла! Я боюсь!

– Осталось немного, потерпи, – успокоил он ее. – Вспоминай, как нам было хорошо с тобой. И не спускай глаз с этого... – он кивнул на широкоскулого. Садись и сиди как мышка, сюда идут!

И впрямь, не успела Светлана присесть, как дверь распахнулась, и в кабинет вошел худощавый седой мужчина в старомодном сереньком костюмчике со старомодной черной папочкой под мышкой – председатель комитета безопасности Великой России.

Иван разглядел в прикрывающихся дверях настороженное лицо Глеба Сизова. Это хорошо, он рядом, можно и без канители.

– Присаживайтесь, – предложил Иван-Правитель.

– Чем обязан столь срочному вызову? – спросил седой, оставаясь стоять.

– Ну вот и хорошо, – Иван встал сам, вышел из света огромной причудливой лампы под зеленым абажуром. – Есть ряд вопросов по вашему ведомству.

– Я готов ответить.

Можно было бы вести долгую беседу, пытаясь поймать седого на мелочах, на несовпадениях, выявить его, а если получится, прощупать психозондажем... но уж больно тертый мужик, непростой, выкрутиться. Тут надо иначе, надо ошеломить его и проследить за реакцией. Только так.

– Опять ваши люди, – начал он брюзгливо, – проявляют излишнюю мальчишескую прыть, ну что же это такое? В Охотске раскрыли какую-то ...э-э, sectу, под Вильнюсом устроили облавы. Нехорошо.

Седой и бровью не повел. Хотя у Ивана была точная информация: на местах сотрудники безопасности работали по старой привычке, на совесть, забывая иногда выполнять досконально инструкции из Москвы, именно так было и в Охотске, где накрыли подпольное отделение Черного Блага, семьдесят шесть тысяч сатанистов, два дня назад накрыли, Арман четко отслеживал это дело и сообщал.

– Наши друзья не одобрят такой прыти, – быстро проговорил он.

Седой напрягся, чуть ссугутился и как-то искоса поглядел на начальника охраны. Он явно клюнул. Но он боялся себя выдать.

– Система нам не скажет спасибо за эдакую шустрость!

И вот тут седой выдал себя. Он пристально, в упор поглядел на Ивана, нет, именно на Правителя, в коем теле обитал ныне Иван, а потом чуть повел зрачками на широкоскулого. Большего и не требовалось.

– Взять его! – прохрипел Иван.

Широкоскулый опрометью бросился исполнять приказание, перемахнул через стол... и тут же полетел в угол, сбитый с ног, мастерским ударом. Седой держал в руке парализатор. Но рука его дрожала, ствол перемещался с Ивана, на начальника охраны, потом на Светлану, потом опять на Ивана. Седой успел бы нажать на спуск, успел. Но дверь позади распахнулась бесшумно, и он просто осел на пол, на

роскошный зеленоватый ковер. Глеб Сизов стоял над ним и хмурил брови.

— Вы знали, чем занимался этот?.. — Иван-Правитель не договарил.

— Нет, не знал. Но догадывался, — ответил генерал. И добавил: — Второй сидит, ждет. Скоро третьего доставим.

— Добро! — заключил Иван. Поглядел на подымающегося широкоскулого. — Здесь есть боксы?

— Как не быть, — развел тот руками.

— Убрать. Внутреннюю связь парализовать. Разбираться с ним будем позже!

Начальник охраны принялся выполнять порученное с явным удовольствием. Он подхватил тело за ноги, грубо, резко поволок к боковым панелям. Седая голова безвольно постукивала по ковру, но его густой ворс топил в себе звуки.

— Светлана, проследи! — бросил Иван. И тут же повернулся к генералу. — В комитете есть надежные люди?

— Люди на смену? Точнее, один человек, правильно я понял?

— Да.

— Есть. Но сначала надо убрать ненадежных. Иначе все бесполезно.

— Про ненадежных нам сейчас сообщат, — Иван мотнул головой в сторону панели, за которой скрылись широкоскулый и Светлана вместе с телом. Он знал точно, Света вытянет из этого гада все что нужно вместе с его поганой душонкой. Конечно, проще всего было бы давить гнусных гнид, предателей. Но нельзя, они унесут с собой в могилу агентурные списки и многое другое. Нельзя!

— Вводить следующего? — спросил генерал.

— Да.

Через полминуты перед Иваном стоял начальник контрразведки — плотный и кряжистый, в черной рубахе под пиджаком, с мешками под глазами. Стоял и маялся с ноги на ногу.

— Плохо работаете! — без приветствий и вступлений заявил Иван.

— Как можем, — нагловато ответил контрразведчик.

— За полтора года ни одного раскрытия?!

— Как и было приказано вами, — кряжистый подчеркнуто надавил на «вами» и скривил губу.

— Вот как? — растерялся Иван-Правитель.

— Вот так! Именно так! — с вызовом начал контрразведчик. — И еще в довесок кое-что! — Он вытащил из кармана сложенный вдвое лист. — Вот!

— Что это?

– Рапорт об отставке. В таком режиме я отказываюсь работать!

– В каком это таком?

– Я не собираюсь больше покрывать всю эту сволочь, что беззаконно шурует в России и на всех наших планетах! Я не понимаю вашего приказа! Я его отказываюсь понимать! Я все эти полтора года думал как самый натуральный простофиля, что здесь какой-то смысл есть, непонятный мне смысл! Теперь я убежден, что это просто открытое вредительство, что это... – он был разъярен и не мог найти нужного слова.

– Вот видите? – Иван взял рапорт и медленно разорвал его на две части, отбросил их от себя. Поднял руку вверх, пресекая новую вспышку гнева. – Я отменяю прежний приказ. И даю новый: немедленно, вы слышите, немедленно накрыть всю агентурную сеть, всю резидентуру, всех косвенно причастных, всех! Ведь у вас есть информация?!

Кряжистый дважды беззвучно разевал рот, прежде чем выдавил одно лишь слово:

– Есть!

– Ну и прекрасно! – Иван-Правитель подошел вплотную, протянул руку контрразведчику, с силой сжал его ладонь. – Я верю вам. И вы будете работать не просто в прежнем режиме, в старом режиме, но с уроенным рвением, с удесятеренным. – Он помолчал, соображая что-то, домысливая, потом продолжил: – Мы специально давали им увязнуть, понимаете?!

– Понимаю, – совершенно ошалело ответил кряжистый. В глазах его начинало высвечиваться что-то доброе и надежное, былого возмущения и в помине не было. – Понимаю!

– Ну, тогда за дело! Связь держать только со мной! Прямую связь! Никаких замов и помов, никаких посредников! И прежде всего хорошенко протряхнуть весь аппарат, ваш аппарат – без канители, без сюсюканий, не до них! Я даю вам двое суток – сеть должна быть раздавлена!

– Есть! – глаза у кряжистого загорелись пуще прежнего. Но тут же потухли. Он опустил голову и проговорил почти шепотом: – Всю раздавить не получится, ниточки наверх тянутся, в вашу епархию, у меня нет такой власти, таких полномочий.

– Ничего! Тут мы и сами управимся, данные о всех «ниточках» мне на стол... нет, прямо генералу Сизову. И действовать, действовать! Не робей! – Иван прихлопнул по плечу кряжистого. Этот будет землю рыть, не подведет.

Только он вышел, Светлана выволокла из бокса седого. Вид у бывшего председателя комитета безопасности был жалкий – не лицо,

а сплошной синяк, левый висок разодранный донельзя – выдириали блок «внутренней связи», костром разорван, рубашка в запекшейся крови.

– Готов! – доложила Светлана.

– Как это готов? – не понял Иван.

– Широкоскульный угодливо заулыбался. Молча протянул карманнй мнемоскоп – серую коробочку на ладони.

– Вся агентура комитетская здесь, все завербованные да еще и связники, выход – пятнадцать резидентов в России и шесть за бугром.

– Отлично! – обрадовался Иван. Все шло как по маслу, он даже не ожидал, это очень странно, это чревато... нет, подвоха тут нет. – Скинь в память «большого мозга»! Мнемоскоп с собой! И в комитет, живо!

– Я одна?! – испугалась Светлана.

– Ты ж стосковалась по серьезной работе?! – съязвил Иван, не удержался. Но потом перешел на другой тон: – Сизова сюда!

Генерал не заставил себя ждать.

– Десять человек ей в придачу. Объект – комитет. Снаружи три взвода! Ни души не выпускать! Пока она летит туда, свяжитесь с этим, надежным, как его?

– Рогов.

– Артем Рогов?!

– Нет, его брат. Артем сгинул в Осевом. Артем работал против России. Этот старший – Игорь.

– Пусть будет так. Игорь Рогов – председатель комитета. По мнемоскопу семерых крупных в боксы и сюда. Остальных уничтожать на месте. Приказ ясен?!

Генерал промолчал. Ему все было предельно ясно.

– Тогда вперед!

Светлана с тоской и болью поглядела на Ивана. Потом на широкоскулого. Тому деваться было некуда, и без «управления» будет работать на совесть. Иван кивнул Светлане. Надо!

Еще через минуту Сизов за шиворот втащил в кабинет какого-то огромного, упирающегося типа, швырнулся под ноги Ивану-Правителю.

– А это еще кто? – спросил Иван.

– Министр обороны, – укоризненно ответил генерал. Иван понял, что выдал самого себя. Смутился на миг.

Но тут же выкрутился.

– Чего-то он сегодня не такой бравый как обычно!

Сизов снова улыбнулся своей детской улыбкой. Его вполне устраивал такой ответ – никакой бравости в министре и в помине не было, наоборот, он был жалок как никогда.

– Этот – гад! – прямо и грубо выдал Сизов.

– И много таких в войсках?

– Хватает. Он кое-что успел, к Москве идет спецдивизия «Летний гром». Его личная дивизия!

– Нет личных дивизий! – взъярился Иван и ударил кулаком по столу. – Есть только дивизии Российской Армии!

– Это скоро выяснится, – с сомнением заметил Сизов. – Что делать с ним? – Он пнул сапогом министра обороны.

– Связь отключена?

– Еще пятнадцать минут назад. Мы его взяли тепленьkim. Личная охрана в подвалах, троих пришлось списать... но в аппарате могут спохватиться в любую минуту, если они поднимут армию, трудно будет разобраться, кто за кого.

– Есть надежный из заместителей?!

– Есть. Сергей Голодов, первый заместитель Сил планетарного базирования. Его должны были убрать не сегодня так завтра, последний из могикан...

– Вы уверены?!

– Да!

Иван-Правитель опустился в свое кресло.

«Министерство обороны Великой России. Секретариат. Довести до сведения всех уровней, помощников, командующих флотами, армиями и группами войск. В связи с тяжелой травмой, полученной в автокатастрофе, Министр обороны временно освобождается от выполнения своих обязанностей и ввиду острой необходимости поменящается в регенерационную клинику при Правителе ВР. Исполняющим обязанности Министра обороны назначается генерал-полковник Голодов. Приказ вступает в силу немедленно. Верховный Главнокомандующий».

– Усильте охрану Голодова. Взвода хватит?

– Два отделения уже у него.

– Экий вы предусмотрительный, э-э, молодой человек, – одобрительно сказал Иван-Правитель. Ему все больше нравился Глеб, видно, зря он печалился, есть еще на Руси-матушке заступники, не один он в поле воин. – А этого, – Иван указал на бывшего ministra, – передайте начальнику охраны.

Широкоскульный весь так и засиял. Доверие оказали. Это уже не плохо... хотя и бабушка надвое сказала, как дальше все сложится, но пока он служит сильному, это уже хорошо.

Сомнений по части ministra-предателя не было. Главное, выбить из него имена и фамилии тех сволочей, что наверху засели и немедленно обезвредить их, порвать все агентурные

связи, разгромить структуры координации, а мелочь или сама попрячется или будет выбита на местах. Но без проволочек! Срочно! Наверняка в Сообществе уже просекли кое-что, резиденты работают, все отслеживается. Но сунуться они не посмеют, десант на Москву исключен, в этом случае Генштаб будет отрабатывать одну из позиций Особого плана, даже если полностью блокируют управление отсюда. Но где гарантия, что Генштаб не работает на чужих? Нет, никаких гарантий нет. Теперь пускай Голодов выясняет. Иван никак не мог вспомнить этого Сергея Голодова, ни в одном из спецучебных подразделений он не обучался, это точно. Значит, армейский. Тоже не плохо, там ребята терпкие и простые, не то что штабная братия, исхитрившаяся в подсиживаниях друг друга. Но «Летний гром»? Что с ним делать? Или пора вводить Особое положение? Нет. Рано еще! Он не собрал все силы в кулак, на местах могут не понять, точнее, поймут все наоборот, что в центре переворот, что чужие захватили власть, они будут драться «за Россию» но против России, против него – системы дезинформации работают четко, Видеоинформ наверняка уже давно в руках у этих тварей, они пустят в эфир то, что им нужно. Пора давать сигнал? Нет. И сигнал давать рано. А вот Кешу пора привлекать. Нечего ему отсиживаться да прохладиться.

Когда все поразъехались и поразлетелись, ветеран аранайской войны Иннокентий Булыгин сказал оборотню Хару:

– Бросили нас, дружище. Бросили на произвол судьбы! И ничего толком не растолковали, хоть обратно на Гиргено беги!

Хар обрадовался, заскулил, полез лизаться.

– Ты это мне брось, нашлась тут, понимаешь, зангезейская борзая! – Кеша оттолкнул облезлую и противную рожу оборотня от своего лица, небритого и почерневшего. – Понимаю, хочется тебе во-свояси... А я вот, вроде и дома, да и не дома как будто. Не думал, что эдак-то на родину возвращусь.

– Никто тебя не ищет, – сказал оборотень по-человечьи, – никому ты не нужен, и дело твое личное в архивах стерто.

– Откуда знаешь?

– Знаю. У вас сейчас по всей Федерации так идет, архивы стирают, катоги и спецлагеря открывают, за сроком давности все прощены... только почему-то никаких официальных сообщений нету и службы информа помалкивают.

– Да плевать на них! – засуетился вдруг Кеша. – Это что ж получается, друг ты мой сердечный, мне теперь можно идти сдаваться, не навешают новых сроков, домой отпустят?!

– Должно быть так, – заключил Хар уныло.

— А я тут, понимаешь, сижу! — горестно изрек Кеша.

Минуты две он пребывал в прострации. Потом тряхнул головой. Нетушки! Он третый калач, его не проведешь на мякине. У него своя дороженька. И плевать, что слежку сняли и прочее, он осторожности не утратит. Всякое бывает.

— Нам пора! — сказал Кеша, приподнимаясь из черного складного кресла, вставляя в чехол лучемет.

— Куда еще? — поинтересовался Хар.

— Этот бункер пора менять.

Хар возражать не стал. Его дело наблюдать... и иногда помогать Булыгину, иногда, если это не противоречит интересам трогтов. Хар и сам не знал до конца, зачем его послала королева Фриада, ему это и знать было не положено, потом, когда придет срок, все выяснится само собою. Хар встал на задние лапы, обмахнулся облезлым хвостом. Менять так менять.

Они не стали взрывать этот бункер, только заварили тигановые люки и засыпали входные лазы. Ежели кто-то сунется, провозится не меньше получаса, а ни хрена внутри не найдет, нету следов никаких.

Надо перебираться поближе к Москве. Не год же ждать сигнала! У Кеши оставалось еще четыре точки по России. Он выбрал заброшенную подземную котельную невесть каких времен неподалеку от Клина. Местечко тихое, спокойное. И сами они люди тихие, спокойные, мирные... до поры до времени. Низовая капсула, находящаяся где-то меж Землей и Луной, вела их, прикрывала. Никакого другого прикрытия не было, остальные капсулы, кроме координирующей, ушли вместе с Дилом Бронксом, Гугом Хлодриком, Хуком Образиной и другими. Но Кеша надеялся больше на самого себя, голыми руками его не возьмут, пускай только сунутся... но лучше и не думать об этом, лучше не ждать, бить первым. Боевая десантная капсула вещь хорошая, это он еще на проклятой Гиргее понял, но ее могут распылить или блокировать, околоземная защита хотя и не действует почти, еле дышит, но через пень-колоду да прощупывает временами пространство. А сигнала все нет. Вот и думай что хочешь!

Семь дней они торчали в котельной. От скуки и тоски Хар начал линять, и Кеша уже не мог на него глядеть без отвращения. Потеряно столько времени! Эх, Иван, Иван! Да за эти дни и недели можно было вычистить еще десяток притонов, пустить черную кровь гадам. Главное, поселять страх — у них все мигом расходится, по всей планете, по всей Федерации, они уже знают, что на силу сила нашлась, уже кого попало на мессы непускают. Правда, с ними можно было бы и сгореть, засыпаться на мелочах, не добравшись до главного... тут Иван прав: коль воровать, так миллион, любить, так королеву, а уж если и сши-

бать кому рога, так самому дьяволу, а не ряженным скоморохам. Прав! Но Гугу лучше, он со своей шоблой, он быстреонько порядочек навел, смуту пресек, и Сигурд молодой теперь ему верный друг-кореш и первый помощник, да-а, под Гугом сейчас тысячи ходят. И Бронксу неплохо, вон их сколько в Штаты махнуло – целая госделегация от дружественной, хе-хе, державы, один Крузя с его «длинными ножами» чего стоит! А тут приходится в одиночку! Оборотня Хара Кеша не считал – оборотень есть оборотень, нелюдь инопланетная. Дважды ему казалось, что за ухом начинало жечь, покалывать – внутренняя связь. Нет, один раз просто примерещилось, а во второй какой-то гнус мелкий укусил. На третий раз связь заработала.

– Кеша? – тихо спросил Иван, будто не в ухо говорил, будто в самой голове сидел.

– Он самый, – робко ответил Бульгин.

– Как слышишь меня?

– Нормально слышу. Это сигнал, что ли?!

На случай «сигнала» Кеша знал чего делать, до мелочей расписано было. Но Иван нарушил все планы:

– Это еще не сигнал. Сигнал потом будет. Слушай меня, и не бойся, нас никто не слышит. Ты где?

– На четвертом мы... с Харом. Остальные ушли, как ты приказал.

– Порядок. Я в самом центре, пока работаем «под ковром». Скоро будем выползать наверх. Понял?

– Понял, – ответил Кеша. Он и не сомневался, что рано или поздно Иван возьмет за глотку большого бугра, Иван умный, настырный и дошлый. Он и от довзрывников ушел чистым, не то что сам Кеша – отпустили, понимаешь, на время, через барьеры сигать. Эх, круто, круто взял Иван. Но только так и надо.

– Помнишь, как на Гиргее работал?!

– Было дело, – признался Кеша.

– Сегодня придется поработать по Космоцентру Видеоинформа. Наземные службы без тебя прикроют. А главное, Кешенька, на твои плечи ложится...

– Не сдюжу, там вертухаев восемь тысяч, спецназ, системы дальнего обнаружения прозрачников... твой дворец так не защищен! Не получится у меня!

– На Аранайе ты и не такие штуковины выделявал, – голос Ивана был напорист и решителен. – Не робей, Кеша, не один пойдешь. Через шесть минут два альфа-бота над твоей дырой будут.

Кеша не поверил, неужели он смог договориться с корпусом?! Нет! Может, Иван сверзился? Может, его недаром в психушку сажали?!

– Руководишь захватом ты! – поставил точку Иван. – Будет осечка, с тебя спрошу! Капсула ведет тебя?

– Ведет, – ответил Кеша.

– Пойдешь на капсуле. Смелость, Кеша, города берет. И второго такого как ты у меня нет. С Богом!

Внутренняя связь отключилась. В голове стало тихо и пусто.

Шесть минут... нет, оставалось всего четыре. Надо выползать. В особых сборах Кеша не нуждался, весь боекомплект со всеми причандалами на нем, спецснаряжение за плечами и в гравиаторбе. Дисколет не понадобится. Пусковик тоже. Эх, мать честная! Никуда уже не денешься – надо работу работать!

– Наверх! – скомандовал Иннокентий Булыгин единственному пока подчиненному, обратно Хару.

И первым выскочил за бронированную дверь, впрыгнул в открытую кабину подъемника. Оставалось две минуты. Это хорошо, не сгоряча, не второпях. Он сдернул вниз люковые створки, чуть высунул голову наружу – так не полагалось, но Кеша больше доверял собственному глазу, чем приборам. Оборотня он цепко ухватил за титановый, гравированный ошейник, присланный добной Таёкой. Тот дернулся поначалу, но потом притих. Полминуты! Пора бы уже...

Две серые точки выскочили из-за горизонта. Они шли стремительно, над самой поверхностью. Но Кеша знал, они снизят скорость, на несколько секунд, так его подбирали и на Аранайе, он знает, все знает... но зевать нельзя.

– Опа!!! – вырвалось из его глотки.

И тут же пусковик заплечной внутрискафовой микролебедки выбросил вверх крохотный крюк на прозрачном, невидимом тросике.

Две тени закрыли свет белый лишь на миг, а потом рвануло, дернуло. Кеша ухватил Хара за хвост другой рукой, для надежности. И снова потемнело. Все было закончено. Они сидели внутри альфа-бота, прямо на броне.

– На-ка, держи! – Кеша протянул руку ближнему бойцу, но не для пожатия – в ладони у него был зажат черный шарик. – Это ключ-код с координатами. Засунь-ка его, малыш, в самое нутро «мозга». Пора нам подниматься со дна.

– Есть, – четко ответил «малыш».

Еще через полминуты оба бота резко взмыли вверх.

Никто не знал, где располагается штаб-квартира Синклита Мирового Сообщества. По традиции считалось, что и сам-то Синклит – это нечто полуэфемерное, собирающееся лишь раз в шесть лет для торжественных словоизречений и пышных застолий. Но Дил Бронкс пре-

красно понимал, что до Синклита ему и не добраться, его задача проще – разобраться с верхушкой Объединенных Всеамериканских Штатов, а это тоже не малая работенка: Штаты поглотили всю Америку, и Южную, и Северную – одних космодромов восемьсот сорок штук, не считая мелочи, наземные авиационно-сухопутные силы – полтора миллиона голов с уймой всякой техники, четыре миллиона андроидов, полуторы тысячи бронеходов и бесчисленное количество стволов всех видов и размеров. Это помимо спецохраны непосредственной власти. Попробуй-ка ошибись!

Дил не стал соваться в Нью-Вашингтон, где бесконечно заседал колossalный аппарат – чудовищный гибрид Сената, Конгресса, национальных комиссий, представительств ЦРУ и ФБР. Нет, только не нью-вашингтонский Форум – это болото, в котором можно увязнуть напрочь. Планом сразу отбрасывались любые внедрения и вторжения в Форум.

Белый Дом в старом, провинциальном Вашингтоне, привычное убежище Президента, имевшего весьма сомнительную власть в Западном полушарии – также отмечался.

Все директивы, распоряжения, пожелания и прочие порождения Форума, одобренные Президентом и комиссариатом Синклита направлялись прямиком в Исполнительную Комиссию и ею же проводились в жизнь. Комиссия диктовала администрациям всех штатов, планет, городов и городков, что им делать и как им жить. Ослушания не допускались. И была Комиссия по сути заурядным техногородом с сотней живых людей, десятком тысяч андроидов, с огромным, постоянно наращиваемым «Мозгом» в сорока титановольфрамных шахтах и прочей принадлежностью, обеспечивающей своевременное доведение требований правящих кругов до тех, кому положено эти требования претворять в жизнь. Располагалась Комиссия в пригороде Нью-Вашингтона, всего в сороках милях от него за бронированными шестиметровыми стенами форта Видсток.

Дил Бронкс посадил свой дисколет прямо посреди пригорода, на зеленую лужайку. Вышел и сел на траву. Еще десять человек должны были собраться в этом пригороде из разных мест, поодиночке, не привлекая внимания. Дил не доверял чужим, это были его люди. Они хорошо работали и хорошо получали за свою работу. Как доберется до Видстока карлик Цай ван Дау, Дила не интересовало, он вообще не верил, что Цай хоть в чем-то поможет ему, навряд ли, скорее всего, будет просто мешаться под ногами и время от времени доносить на него Ивану. Ну и плевать. Дил Бронкс верил в своих людей и в свою капсулу, ведущую именно его. Капсула сейчас торчала в тихих высях над Северной Америкой, торчала на геостационарной орбите. Ни

одна собака не заметит ее, Дил обхитрил всех, он «приkleил» капсулу к орбитальному ретранслятору, ее невозможно обнаружить, «обманка» работает стопроцентно, наверняка, ни один локатор не возьмет капсулу, пока она не «отклеится». А там – поди-ка, попробуй срежь боевую десантную капсулу, она вперед уничтожит любого врага. Гуг сидел спокойно, поглядывал по сторонам. Он знал, что если в радиусе трехсот метров хоть кто-то поднимет на него ствол, капсула превратит его в пыль за долю секунды – гамма-излучение боевой направленности пронзает тридцать с лишним тысяч километров вместе со всеми атмосферными «фильтрами» за единый миг, без проблем. Но не в этом дело. Дело в другом.

За последние пятьсот лет, а может, и вообще за всю историю Штатов никто еще не решался на эдакое безумие, никто не работал столь крупно и нагло. Дилу было явно не по себе. Но в свое время Неунывающий Дил Бронкс, покоритель Аль-Завары, герой Гадры, Белого Шара, Чук-Гейры и Зангезеи, неистребимый десантник-смертник, входивший в двадцатку лучших десантников Федерации, проделывал и не такие дела... правда, они делались далеко от Земли, очень далеко, но тем не менее. Сейчас Дил сидел по колено в траве и вспоминал самого себя, прежнего Неунывающего Дила, не имевшего за душой не то что сказочного «Дубль-Бига», но и гроша ломаного. Попшел бы он в те годы на подобную авантюру? Нет! Не пошел бы... Но тогда было иное время – светлое, героическое, былинное, время романтических подвигов и веры, огромной и чистой веры в человечество, в его прогресс, во все доброе и прекрасное. А теперь? Теперь он старый циник и богач, он ни во что не может верить. А без веры разве пойдешь на смерть?! Прочь! Прочь мрачные мысли! Они возьмут верх, обязательно возьмут. Чтобы он ни болтал Ивану все эти годы, как бы ни пугал, ни грозил, а Иван всегда выходил сухим из воды, всегда оказывался если и не наверху, то где-то сбоку, живым и невредимым. Он не оплошает и сейчас. Он не подставит их! Да, простота хуже воровства. Иван всегда был прост и прям, не кривил, не юлил, не врал. Вот поэтому с ним можно идти и на смерть. Поговорки поговорками. А подлинная сила и заключается в простоте. Хитрый не бывает умным, это аксиома. Большой ум и большая сила, превосходящие все в окружающей сущности бытия, и порождают простоту. Хитрят и интригуют слабые и глупые, притворяющиеся умными и сильными... Нет, хватит философиями тешиться! Дил опрокинулся на спину. Прямо над ним, в голубых высях плыли белые кучерявые облака. Человеку не надо подниматься за них – почему-то именно это пришло первым в голову. Не надо? Да, не надо, все необходимое есть здесь, на Земле. Дил закрыл глаза.

Хук Образина и Арман-Жоффруа начнут с низов, они наготове со всеми своими головорезами. Им проще. Они смогут раствориться в людской массе, уйти в случае провала. А у него не будет такого шанса.

Когда, интересно, ждать сигнала? И что это за сигнал?! Долго оставаться незамеченными в Видстоке они не смогут. Сейчас время начинает работать против них. Впрочем, он не Булыгин и не Гуг Буйный, за ним нет ничего такого, и никто не сможет прицепиться к нему. Странные мысли. И почему они лезут все время в голову?

Дил Бронкс осторожно приоткрыл глаза. Прямо над ним уродливо сгорбившись, стоял, карлик Цай ван Дау.

– Чего надо? – грубо спросил Бронкс.

– Не бойся, – прохрипел карлик, – уже третий день по всем Штатам в архивах стирают криминальную информацию, прекращены все слежки, открываются тюрьмы и каторги... понимаешь? Я не наведу на тебя никого, не бойся. Они сами хотят немного подогреть свое варево.

– Бред! – прошипел снизу Дил.

Он знал, что Цай не лжет, но не хотел верить. Еще бы, верить во все это было жутко – каждое такое событие неумолимо приближало роковой день, просто так подобные вещи не делаются.

– Но бывает и особый учет, – добавил Цай.

– Конечно, – согласился Бронкс, – они выпускают уголовников?

– Я и есть уголовник, беглый каторжник, рецидивист.

– А кто тогда я? – неожиданно спросил будто сам у себя Дил.

– С этим будет сложнее разобраться! – Цай попытался улыбнуться, и снова его уродливые губы, напоминающие клов гадкой птицы, растрескались обнажая кровавые десны, капельки черной жижки потекли по подбородку.

Бронкс закрыл глаза, ему стало жалко несчастного карлика. На лечение надо! в регенерационные боксы! потом на год в отпуск, на пляжи Сан-Дифакса! А он в бой рвется. Калека, доходяга, полурутуп...

– Ты все еще держишь обиду на Гуга? – ни с того ни с сего спросил карлик Цай.

Бронкс оторвал голову от мягкого травяного покрова, сверкнул своим врезным бриллиантом, широко раззявив рот в белозубой улыбке.

– Мы никогда не были с Гугом друзьями. А обида это тонкое чувство, Цай, на каждого встречного-поперечного не обижаются, запомни это!

– Ты держишь на него обиду! – упрямко повторил Цай, но теперь утвердительно.

– Думай, как знаешь! – Бронкс отвернулся от карлика. Встал.

Он был в таком запале, что хоть сейчас на штурм... Штурм? Нет, тут никаким бараным лбом не прошибешь броню. Тут будет все идти по плану. Иван будто в воду глядел. И откуда он все знает?! Бронкс резко повернулся к Цаю.

— Почему ты не вернулся на Умагангуй?! — спросил он в лоб.

— Я там чужой, — прямо и просто ответил Цай. — Там живут очень красивые люди. А я урод.

— Ты и здесь урод! — озлобленно прорычал Дил Бронкс.

— Может быть, — согласился Цай ван Дау, наследный император далекой, полупризрачной империи, — но среди вас, землян, мое уродство заметно меньше. — Он немного помолчал, потом добавил: — Держи себя в руках Дил... а если ты передумал — уходи. Я справлюсь один.

— Ну уж нет!

Бронкс пристально посмотрел прямо в кровавые глаза карлика, полуприкрытые нависающими бельмами синюшных век. Отступать поздно. Главное, чтобы сигнал не запоздал.

Иван откинулся на спинку кресла. Все! Хватит! Надо передохнуть. Он подозревал широкоскулого.

— Комната отдыха есть?

— А как же! — широко осклабился тот. — Я провожу.

Провожать пришлось недалече — четвертая слева панель послушно поднялась вверх, освобождая проход. Иван-Правитель шагнул внутрь. И остолбенел. Сама комната была огромна и великолепна. Темнозеленый шелк с золотистой набивкой, зеленые ковры будто трава-мурава под ногами, мягкий свет, диваны, диванчики, кресла — все под старину, под XIX век, а может, и впрямь старинные, благодать... но не это поразило Ивана. А совсем иное. В половину стены, напротив прохода, уходил во глубину за зеленоватым же толстенным стеклом огромный аквариум. Чуть шевелились трехметровые водоросли, высвечивались изящные кораллы, мрачно поблескивал крупный зернистый песок... и тонуло все во мгле. И здесь! Они везде!

Иван резко развернулся к широкоскуловому. Тот отпрянул, в глазах его промелькнул страх.

— И давно это тут?! — спросил Иван.

— Что это? — не понял начальник охраны.

— Гиргейские рыбыны!

— Давненько... четыре, нет, пять лет как завели. Иван снова повернулся к стеклу. Прямо на него из мрака и зелени выплывала омерзительная, клыкастая, шипастая, плавникастая тварь. Она глядела в глаза своими выпученными багряными буркалами и плотоядно, нетороп-

пливо облизывалась. Именно такие сожрали Толика Реброва, подлеца и подонка, именно такие преследовали его повсюду – шупальца довзрывников, напоминания непостижимого. И глаза! уши! трансляторы! Они все передавали, все! до последнего вздоха, до словечка, до изгиба губ и взлета бровей... все шло в исполинский информаторий, туда, в само ядро Гиргей, а потом дальше... в Старый мир! да, именно в Старый мир. Но не это сейчас важно, а другое – из непомерного кладезя данных черпали все: Синдикат, Восьмое Небо, Система, Пристанище... Синклит, черт бы его побрал! Это означало одно, он уже заисчен! и против него работают! но втихаря, «пол ковром», как работает пока и он сам... нет! нервы! ничего это не означает.

Он подошел к дивану у окна, отодвинул тяжелую штору. Белый столп колокольни Ивана Великого, подсвеченный снизу, неугасимой свечой самого Господа высился во мраке... нет, это только на первый взгляд над Кремлем царил мрак, но глаз быстро привыкал, и становились видны величественные очертания башен с двуглавыми орлами, купола, зубчатые стены... Дивная, непередаваемая красота. И это все может погибнуть. Из-за него! Бомбить, обстреливать, жечь, убивать будут его, Глеба Сизова, бойцов корпуса... а погибнет все это – сама Россия погибнет, рухнет с пронзенным, разбитым сердцем, руинами рухнет, чтобы быть уже не Россией, а землей незнамой и пустынной. Белая свеча колокольни! Несчитанные мегатонны свинцовой беспощадной Тьмы... и почти бесплотный язычок пламени – слабый, нежный, чуть теплящийся... и он раздвигает Тьму! Горе безумцам, ползущим по грани меж Светом и Тьмою, горе! Это все было, раньше было, в Пристанище, и на Гиргее. Океан Тьмы! Вселенская Черная Пропасть! И крохотная золотинка Куполов. Да! Тогда он был вдали от них. Теперь он здесь, их отсветы ложатся на его лицо. Тогда он был странник. Теперь он воин!

Иван медленно и тяжело опустился на диван. Только три минуты. Три минуты полного забвения. Ни секунды дольше.

– Выйди! – приказал он.

И уставился прямо в кровавые зрачки гиргейской гадины. Ему не хватало своего собственного тела. Тело Правителя было слишком слабым, слишком немощным, это было тело не человека, но выродка. Ничего, еще совсем немного... а сейчас... Иван собрал в пучок сознание, подсознание, сверхсознание, скжал их словно под фантастическим прессом в кручинку, пылинку... и выдохнул се. Пройдет вечность и восстановятся силы, укрепится сном, отдыхом и осознанием единого воля. Пройдут три минуты, и он будет свеж и бодр как родившийся заново. Нет... не выходит, не получается, этот кровавый взгляд не дает ему отключиться. Хорошо! Иван принял вызов. Теперь он был сам



собой, но был и «алмазной палицей», только-только хватало сил, но он вдавливался, врезался под это мутноватое стекло, он проникал в тяжелое и нездешнее тело гиргейской гадины. Она пыталась оторваться, уйти в толщи мутной воды, скрыться. Он не давал ей сделать этого, не отпускал, не шевеля и пальцем, он пронзал ее излучаемой из чужих, старческих глаз, но все же своей собственной незримой силой. И гадина вздувалась, разбухала, из плоской, муренообразной твари превращаясь в раздувающийся шар, отчаянно трепыхая шипастыми плавниками, вываливая плоский непомерный язык, пучу безумно-ненавидящие глазища. Все! Конец! Гадину разорвало – коричневые пузыри пошли кверху, пеня воду, цепляясь за длинные, извивающиеся водоросли. Разодранное, мертвое, волокнистое тело медленно опускалось вниз, на песок. С рыбиной было покончено.

Он победил! Впервые он победил такую тварь! неземную тварь! сатанинское отродье сатанинских цивилизаций! Он сильнее их! Он воин!

Иван прикрыл глаза, расслабился. Три минуты. Только три минуты!

– Я не знаю, когда будет сигнал, мой мальчик, – в открытую заявил Сигурду Гуг Хлодрик, – но чтоб до того дня, до того часа и той минуты, ты слышишь, чего я говорю, чтоб этот гаденыш, этот паскудник Крежень лежал передо мной, вот тут! – Гуг плюнул на мраморный пол в двух метрах от себя, от кованного ажурного трона, на котором он восседал. Трон этот стащили еще лет десять назад из какого-то музея, он Гугу понравился – натуральный древний чугун, черный как отражатель десантной капсулы, с толстенными кожаными набивками и раскоряченно-мощными львиными лапами ножек.

Четыре Гуговых логова накрыл Европол, еще тогда. Но пятое оставалось нетронутым. Правда, Бонн не лучший из захолустных городишек Объединенной Европы, но другого такого тихого местечка не отыскать. Породы здесь скальные, надежные, последнее землетрясение было лет двести назад, а пусковые шахты со всеми лазами-перелазами забросили чуть позже, залпили сверху титановыми пробками да и успокоились. Гугова братия врубилась в брошенные коммуникации бундесвера не сверху, а сбоку – через четвертые руки, по старому знакомству Гуг откупил списанный десантный планетарный проходчик, дело уголовное, грозившее пожизненным заключением, но он уже тогда ни черта не боялся. Проходчик запускали с одной из вертикалей заброшенного пригородного пневмополитена, он прошел семнадцать миль в породе и заглох. Последние семьсот метров пробивали вручную, угробили девять андроидов и еще новичка-бедолагу.

Но пробились! Ни одна ищёйка Европола не знала, что под старым городишком на глубине полутора километров, в самом центре Объединенной Европы таилось бандитское логово... Не штаб-квартира преступного межзвездного консорциума, не офис всепланетарного гангстерского синдиката с тысячами клерков и секретарш, а именно бандитское логово доброго и старого, благородного разбойника Гуга Хлодрика Буйного, который по всем статьям и законам должен был махать сейчас гидрокайлом на гиргейской подводной каторге. Да, Гут был реликтом древнейших эпох, неизвестно как уцелевшей, диковинной особью давно вымершего мира, мастодонтом, мамонтом, динозавром непостижимо далеких, «золотых» веков. Он не признавал на живы на наркотиках, спиртных напитках, торговле женскими и детскими телами, органами, он не терпел подлости и грязи, мерзости и продажничества. Даже если он и брал с какой-нибудь сволочи «грязными» деньгами, он «отмывал» их, как не «отмывали» нигде и никто уже столетиями, он через подставных лиц строил школы и приюты, открывал театры, в которых не было голых и потных свивающихся в клубки тел, непонятные для подавляющего большинства поверхностных жителей театры с какой-то непонятной «классикой» полукаменного века – Чехов, Шекспир, Островский... Среди гнуси и мерзости он выстраивал лечебницы, лечил, выхаживал и выпихивал в жизнь сирых и обездоленных, тут же калеча, кроша в капусту, безжалостно давя направо и налево сытых, наглых, сильных... Преступный мир не любил Гуга Хлодрика, ибо он все делал не «по закону». Он делал по совести – такому же реликту как и он сам, давно вымершему и непонятному здравому человеку, забытому. Его не любили, но его и боялись. Гуг был одним из самых матерых и рисковых десантников-смертников, он входил в десятку отборных сорвиголов, покорявших в одиночку целые миры, громивших планетарную оборону и звездные флоты иных цивилизаций. Гуг-Игунфельд не мог жить без риска, без боя, без схваток и прорывов, без лихих налетов и вечной драки... драки за правду, за справедливость, за обиженных. И он никогда бы не ушел из Дальнего Поиска, не ушел бы из «черного шлема», но его списали! его выбросили за борт его собственной жизни! А он не смирился, он нашел свой путь. Правда, поговаривали, что Гут, как и большинство списанных десантников, сошел с ума, сверзился, потому и вытворяет невесть что, колобродит и дурит. Его боялись и по этой причине, даже тем, для кого преступление это профессия, проще иметь дело с живущими но профессиональным законам, чем с сумасбродами, готовыми пристрелить тебя на месте за какую-нибудь грошевую пятилетнюю соплячку, проданную на Зангезю. Но была и еще одна причина, по которой даже самые влиятельные трансгалак-

тические мафиозные картели со всем их штатом головорезов и программистов обходили Буйного стороной: десантный корпус, а это шестьсот тысяч человекообразных машин смерти со своим кодексом дружбы и товарищества, никогда не давал никого из «братьков» в обиду, будь он хоть списанный, хоть вписанный. Даже четверти этого корпуса с лихвой хватило бы на то, чтобы разорвать любой синдикат пополам, выгрысти все наворованное заодно с его черной душонкой и тысячами трупов.

Сигурд помялся и задал вполне законный вопрос:

– А если сигнал будет через десять минут?!

– Тогда мы все покойники, – невозмутимо ответил Гуг. Ему было плевать на Креженя в прямом и переносном смыслах. Крежень ничего не знал о деле... так, если только в самом общем виде. Но Крежень мог и в общем виде намекнуть на готовящиеся акции Синдикату. И тогда они и впрямь покойники – Синдикат работает быстро и четко. Гуг не боялся Синдиката, он готов был объявить войну всему миру, не то что какой-то межсистемной гангстерской сети. Пусть только сунется! Другое мучило Гуга – неспокойно у него было на душе. Еще совсем недавно они заливали горе с Дилом Бронксом на его сказочной космической станции, их обоих дубасила и подвешивала для проутрепления очаровательная крошка Таёка, казалось, душа в душу слились... и вот, на тебе! Вздыг разругались! В себе-то Гуг не сомневался, он свернет хилье шеи европейским plutokratам, вывернет наизнанку старуху-Европу! Но ежели Дил оплошает, Штаты задавят Старый Свет, задавят вместе с Гугом и всем его лихим воинством подземелей. Эх, Дил, Дил! Перед неминуемой кончиной, перед смертущей предстоящей им бы всем побрататься, покаяться друг перед дружкой, поплакаться... а они зубищами скрежещут брат на брата. Хорошо еще Иван не видал. Где-то он теперь горе мыкает? И дождешься ли от него сигнала? Гуг уже принял решение, для себя, молча, втихаря – не будет сигнала до загаданного дня – он сам даст сигнал, сам начнет! И тогда держись! Парни дрожат от нетерпения, рвутся в бой, их только спустя с поводка – каждый понял, смекнул, что не на трошковое дело пойдет, а на одно-единственное, фартовое, каких судьба за жизнь больше не дает, струсил – отпал, решился – иди до конца. Это как наркотик, Гуг по себе знал. Но ждать и догонять – хуже нету. Нервы не железные, не из колючей проволоки, их на лебедку жизни много не намотаешь.

– Ребятишки дно подняли? – спросил он у Сигурда.

– Угу, – отозвался тот однозначно.

– Совести у этого дерьяма нету, толковать не о чем. Но пусть передадут всем: по свистку работать, весь хабар ихний – после гона на

три дня гуляванье в полную масть, легавые вмешиваться не будут. Но ежели кто из гнилых наверх выползет, хоть в одну дыру, накажу по закону. Так и скажи. Но до свистка, чтоб тихо!

— Нам бы на подмогу... — начал было Сигурд. Но Гуг осек его сразу.

— Грязь грязью замочится... а мы на чистое дело идем. На святое дело, мой мальчик! Иван верно толковал, наши души загубленные, но Господу один раскаявшийся грешник дороже ста праведников, мы, своими руками спасем души миллиардов, даже если руки наши станут багряными от крови этих нелюдей... мне горько говорить все это тебе, мой мальчик, но кто ж знал, что именно на наш с тобой век выпадет конец света?!

Иван открыл глаза. Он был бодр, свеж и здоров — ровно настолько, насколько мог быть бодр, свеж и здоров Правитель, точнее, его уродливое тело. Трех минут хватило. Можно продолжать. Еще двое-трое суток кряду. Аквариум пуст. Тут не должно быть чужих глаз и чужих шупалец. Тут, в сердце России, вообще не должно быть чужих. Давно позабытая поговорка: «рыба гниет с головы». Верно, значит, и чистить ее надо с головы. А голова здесь. Гниль. Вырождение. Патология. Гниль. Дегенерация! Все было известно еще тысячетия назад. И рецепты были... И все оставалось по-прежнему. Опять гниль. Опять надо чистить. Чистильщик всегда не по нраву многим. Многим выродкам. Многим заблуждающимся. Многим одураченным. Многим недругам. Многим! Но это их личное дело. Хирург не спрашивает у раковой опухоли, нравится ли ей, когда ее вырезают или нет, он просто берет нож и вычищает гниль. И хватит, хватит философствований. Пора за дело браться.

Иван-Правитель встал с дивана.

И тут же чуть не повалился на него обратно.

Панель вылетела с треском и грохотом. Зарядом из бронебоя выбило непрошибаемое стекло, разметало по комнате кресла и креслица, диванчики и стулья... На пороге, точнее, в проеме стоял багрянолицый, избитый до полной неузнаваемости бывший министр обороны. Его огромная туша покачивалась, с трудом удерживаясь на ногах. Костюм был изодран в клочья, в здоровенные рваные дыры проглядывала шерстистая кудлатая грудь. Это был не человек, это было взбесившееся животное, раненный кабан, поднявшийся на две конечности.

Но где начальник охраны?! Почему этот гад вооружен?! Ах, Света, Света! Оставила в кабинете бронебой! Какая непростительная ошибка! Из-за таких вот мелочей рушатся грандиозные планы, обра-

щаются в пыль несвершившиеся великие свершения. Проклятье! Иван понимал, что он не успеет сбить с ног этого кабана, что тот определит его... ствол бронебоя медленно поворачивался от окна к дивану.

Кровавый след тянулся по паркету за министром. Но прежде, чем он истечет кровью, он успеет нажать спусковой крюк, это яснее ясного. Нет, не спешит! Глаз не видно, только узкие, запекшиеся щелочки... он торжествует! он видит перед собою немощного, слабого, болезненного старца, и он торжествует свою победу, он смакует этот миг! Ивана передернуло. Так глупо влизнуть, так глупо, когда все так хорошо шло, надо же!

– Ну что, сука?! – прохрипел министр. – Хотел один оставаться? Выслуживаешься?!

Иван молчал. Шли секунды. И каждая могла стать последней в его жизни. Но он не ошибся – министр обороны, этот бывший министр, предатель, подонок, мерзавец, ничтожество выдавал себя с головой – он работал на них, как работал сам Правитель, как работал тот, кому надлежало блюсти безопасность государства и народа. Выродки! Мразь! Гниль! Но где же начальник охраны? где широкоскульный?! Где Глеб Сизов?! Эх, если бы он был в своем теле! Один прыжок! Один удар! Нет, судьба распорядилась иначе. Значит, придется умереть. Придется. Он сражался до последнего. Не щадил себя. Но у каждого есть свой срок.

– Сейчас ты сдохнешь, старая сволочь, – почти беззлобно просипел министр, – но не сразу! Я отшибу тебе ноги, и ты будешь лежать на этом зеленом ковре и медленно изыхать, у тебя будет время подумать, старый козел, представить, как твой гнилой труп выбросят в мусорную яму, и как его будут обжирать вонючие, голодные, бездомные псы... не волнуйся, я сам позабочусь, чтоб все было именно так! А потом я прикажу привести сюда все твое ублюдочное семя, я скормлю их крысам в подвалах, понял?! Ты на кого посмел руку поднять, сука?! Ты что, забыл, кто за мной стоит?! – Злорадство распирало министра, он никак не мог остановиться, он ликовал – изуродованный, полумертвый, истерзанный и забитый, он верил, истово верил, что выживет, выкарабкается и будет править, ах, как он будет править! его трясло от вожделения и сладострастия, он захлебывался кровью, но хрюпел, хрюпел. – А теперь получай, сука!!!

Иван не услышал выстрела. Он лишь увидел, как опустилось вниз черное дуло бронебоя, опустилось до уровня его лодыжек. А потом его ударило будто десятью ломами, подбросило к потолку, расплющило об него, оставило кровавое пятно, бросило вниз, на разбитый в щепу паркет, снова ударило и бросило в беспрозрачный мрак. Но он пересилил шоковый удар, он вернул себе сознание, хоть на миг,

на долю мига – он воин, и он будет драться до последнего... как?! Глаза открылись ужасающее – ноги, самое колено были оторваны, из обгорелых, залитых черной кровью штанин, торчали раздробленные кости. Боль! Дикая, непереносимая боль! Он вздернул голову вверху. И прямо над собой узрел торжествующее, багровое лицо, нет, не лицо, рожу, кабанью, звериную рожу, скальную крупные, наполовину выбитые зубы.

– Ну как ты себя чувствуешь, сука?! – прошипела почти в глаза эта рожа. – А, Правитель? Теперь ты понял, что был не прав?!

– Понял, – еле слышно прошептал Иван.

Жизнь уходила из чужого тела. Уходила, убивая и его, находящегося в этом теле. Он держался лишь на своей чудовищной силе воли. И он выжидал. Ближе! Еще ближе! Рукоять меча скользнула в холодающую ладонь. Ну, давай же еще немного!

– Что-то ты слишком быстро изыхаешь, Правитель?! Ты не дашь мне насладиться твоими судорогами, – шипел министр, склоняясь над умирающим, заглядывая в мутнеющие глаза, будто именно в них должен был загореться ответ на какой-то очень важный для него вопрос. – Видишь, сука, они не вливают в тебя свою энергию, своего силу. Значит, они бросили тебя! Значит, ты не прав... а прав я! Подыхай, сука, подыхай!

Мертвенно-белая рука взлетела вверх. Лезвие меча вырвалось из рукояти подобно ослепительному лучу во мраке... то ли голова министра, то ли кабанья рожа с промелькнувшим на ней мимолетным изумлением, еще не переросшим в ужас, подпрыгнула над истерзанным, залитым черной жижей туловищем и тяжело упала на лохмотья, перемешанные со щепой, покатилась к мрачному, зеленому аквариуму, замерла, скаля остатки желтых зубов. Рука разжалась, рукоять поглотила сверкающее лезвие меча, скользнула из ладони вверх по предплечью.

– Я все понял, – оцепенело прошептал Иван.

И пополз в кабинет. Там нет никого, но туда придет, обязательно придет Глеб Сизов, его парни, они окажут помочь, они... нет, они не спасут его, он труп, полный труп. Но он успеет сказать Глебу пару слов, и тот все поймет, обязательно поймет!

– Господи! Помоги, дай сил, последних сил! – молил он бессвязно, еле шевеля губами. – И ты, Воитель Небесный... не спеши, я еще приду к Тебе, я встану в золотые полки, не спеши, мой меч – твой меч... Света, Светик, прости меня, за все прости!

Он полз, уже и не живой и не мертвый, полз преодолевая с чудовищным усилием каждый сантиметр, обливаясь кровью, ломая ногти,

до исступления кусая губы, лишь бы не потерять света, не уйти во мрак.

И он выполз. Возле самого стола лежал в уродливо-нелепой позе широкоскулый начальник охраны. У него был переломлен хребет. На лице, восковом, отрешенном, застыла гримаса боли. Труп! Потом скажут — умер на своем боевом посту... верно скажут. Иван прополз мимо. Жизнь истекала из него. Шли последние секунды. Он ясно и вполне осознанно чувствовал это. И никто уже не поможет. Никто! Сейчас наступит последнее, минутное просветление, будто вспышка света — так всегда бывает, он знал — а потом вечный, беспросветный мрак, ничто! Еще немногим позже, через неделю, месяц, год беспросветный мрак поглотит все человечество, и придет уже полное, безысходное, необратимое и всевластное Ничто. Так будет. Да, теперь будет так. Все понапрасну... Нет, вырывающаяся из тела жизнь, последняя ее капелька, озарила угасающий, меркнутый мозг. Яйцо! Превращатель! Как он мог забыть! Рука медленно, смертельно медленно полезла во внутренний карман, это была мука, это была пытка... но она нашупала его, последнюю соломинку, яйцо-превращатель. Все это длилось вечность. Все это длилось миг. Уходя в небытие, Иван вцепился зубами в холодное, утратившее упругость яйцо, сдавил губами... и оно приняло его последний выдох.

Кеша сразу узнал ее — родимую и дорогую сердцу. Капсула. Боевая, десантная, красавица, спасительница! Они вырулили прямо к поблескивающему черному боку. И она их приняла. Не отвергла. Еще бы, они ее родные детки. Ровно сорок три минуты понадобилось ботам, чтобы настичь ее возле Марса, играющую в прятки с полуразвалившимся пористым Фобосом.

— Все ребятки, теперь мы дома! — расчувствовался Кеша.

— Добрались без происшествий, — согласился командир отделения, но не сержант по званию, а капитан — само отделение состояло не из рядовых, а из лейтенантов и старлеев, это сразу удивило Булыгина. Впрочем, вскоре его волнения рассеялись: и капитаны, и лейтенанты, и старлеи бесприкосновенно подчинялись ему, все двадцать человек, два отделения, два альфа-бота. Ну и прекрасно. Так и должно быть. Иначе наделают дел.

Капитан был худой, жилистый, с перебитым носом, лет под сорок, может, чуть больше. Он не сутился, не нервничал, и вообще, вид у него был полусонный. Капитан получил приказ от своего командира, не известного пока Кеше Глеба Сизова, и он его выполнял. Второй капитан сидел во втором боте.

Капсула всосала оба бота одновременно. Ангары-приемники заполнились белесым газом, убивающим непрошенных «гостей». А Кеша уже ввинчивался в переходной шлюз, и по щеке его ползла слезинка. Сколько времени старался не вспоминать ничего, ни проклятую Гиргею, ни саму каторгу, ни глаз тех несчастных, кому он нес «свободу» – свободу покуражиться день, другой на своей подводной зоне, а потом сдохнуть в кошмарных судорогах на распятии – бунтовщиков наказывали строго. Да, это была та самая капсула, на которой он пропарывал дырявую Гиргею слой за слоем, на которой он вырвался из кромешного ада пытко, истязаний, убийственной работы в рудниках... Ее подремонтировали, подновили на «Дубль-Биге», пополнили боекомплект, приварили сбитые фермы и орудия, привели в порядок десантный бот, тот самый, который и принял на себя основную тяжесть «тиргейского похода»... Но это была именно она!

Капсула, три бота, двадцать молчаливых и суровых парней да беглый каторжник, рецидивист и ветеран Аранайи в придачу, с одной стороны. А с другой – это трудно было даже представить себе, Космоцентр надо было видеть. И видеть с расстояния не менее ста тысяч километров, большое видится на расстоянии. Сверхгигантская гелиостационарная станция Космоцентра Видеоинформа висела в черной пропасти Пространства между Марсом и Юпитером, сразу за поясом астероидов. Это был гигантский ферралоготитановый шар диаметром сто двадцать километров. Девятнадцать эллипсовидных колец от двухсот до полутора тысяч километров в поперечнике медленно вращались вокруг шара. Каждое кольцо щетинилось тысячами ажурных ферм – будто длинные и гибкие волосы Медузы Горгоны колыхались в черных водах Вселенского океана – силиконовольфрамовые фермы уходили от колец и шара на десятки тысяч километров и каждая заканчивалась черным незримым зеркалом. Эти зеркала и испускали сигналы Видеоинформа, сигналы, доходящие до любой точки покоренного и освоенного землянами Мироздания. Каждое зеркало было нацелено на свой внепространственный ретранслятор, находящийся далеко за пределами Солнечной системы – сотни тысяч черных Д-торроидов были рассеяны во внесистемном пространстве от Трансплутона и до Проксимы Центавра, именно они улавливали сигнал, кодировали его, импульсировали в Осевое... и уже за миллионы парсеков, в тот же миг приемные станции-торроиды вылавливали послание Земли, передавали в местные центры Видеоинформа, а откуда изображение и звук шли напрямую в видеоголовоприемники. Даже заброшенный на край Вселенной отшельник мог видеть и слушать то, что происходит на Земле в эту минуту – сигнал запаздывал лишь на семь-восемь секунд. Были, конечно, и каналы особой, правительст-

венной, секретной связи, но они работали на одиночек. А Космоцентр Видеоинформа работал на все сорок пять с лишним миллиардов землян да вдобавок еще и на миллиарды жителей иных планет. Разумеется, в каждой метагалактике, галактике, звездной системе, на каждой планете были и свои студии, передающие устройства, штаты Видеоинформа, но по привычке, по старой и никак не угасающей традиции смотрели Землю, ждали вестей оттуда, будто только там и рождалась истина, словно с Земли исходил Свет.

Исполинское, невообразимо сложное сооружение, висящее меж Марсом и Юпитером, уже долгие десятилетия было сердцем земной цивилизации. За последние восемьдесят лет на Космоцентр было совершено только два нападения: в первом случае бывший крупный работник Центра, выброшенный со службы за пристрастие к наркотикам, на своем планетарном дисколете, насосавшись зангезейской плесени хоя-фоя, которая делала человека счастливым безумцем, врезался в двенадцатое кольцо – это был самоубийца-истерик; во втором случае, семеро дикарей системы Иргиза, с грехом пополам овладевшие техникой управления туристической капсулы, решили поживиться в «чужом большом вигваме», они успели набить свою капсулу до отказа всякой блестящей мишурой и вывинченными деталями строений сверхгигантского космического технополиса, но андроиды, контролировавшие их «похождения» и смотревшие на проказы гостей сквозь пальцы, при подходе дикарей к системам обеспечения сожгли их вместе с капсулой – закон есть закон. На Космоцентр никогда не поднимала в открытую руку ни одна из звездных мафий. Они вели свою борьбу внутри студий, пытаясь купить, приобрести, отбить, отвоевать как можно больше эфира для себя... но никто не пробовал взять сердце Вселенной «на копье».

Иннокентию Булыгину, ветерану Аранайской войны, предстояло совершил это неблагодарное и заведомо гиблое дело. И выбора у него не было.

Иван нашел Кешу и на капсуле за дырявым Фобосом.

– Где ты?! – прорезалось в мозгу.

– На исходной, – односложно ответил Кеша, все так же по-детски шевеля губами.

– Хорошо, – Иван вдруг замолк, потом сдавлено и с явным волнением сказал: – Ну, Кеша, сейчас все будет зависеть только от тебя, понял? И все мы сейчас в твоих руках... и я, и Дил, и Гуг, и остальные. Ты догадываешься, какой будет сигнал?!

– Догадываюсь, – прошептал Кеша. Как же он раньше не сообразил все думал и гадал, как их Иван оповестит, чего начудит? А получается вон чего!

— Мы уже начали, Кеша. Обратной дороги нет. Только вперед!

— Сколько у меня времени?

— Два часа.

Кеша промолчал. Ну что тут скажешь. В глотке сразу пересохло. Хар сидел рядом, преданно смотрел в глаза и молчал, он все понимал. Но оборотень Хар не боялся умереть — в подводных толщах Гиргей осталась его часть. Иннокентий Булыгин тоже не боялся, но он не знал — сколько осталось и когда довзрывники утащут его грешную душу в свой хрустальный ад. И плевать! Рано или поздно это случится, нечего дрожать, барьером больше, барьером меньше.

— Бог в помощь! — прошептал в голове Иван. — Начинай.

Два часа. Есть время. Кеша развернулся в литом командном кресле капсулы, посмотрел на капитана. Тот ждал приказа. Ждал его и командир второго отделения, в своей форменке как две капли воды похожий на первого.

— Пойдем на Центр, прикрываясь Фобосом, — выдавил из себя Кеша, выдавил будто через силу, будто противясь нелепому и сомнительному решению.

— Ташить эту глыбищу?! — удивился первый капитан, с перебитым носом.

— А чего тут такого? — будто не понял Кеша.

— Мы спалим все топливо, растратим всю энергию...

— На штурм хватит! — отрезал Кеша.

— А после штурма? — поинтересовался второй.

— После штурма, господа офицеры, у нас будут все энергоемкости Космоцентра. А теперь хватит болтать, пора за дело браться... и не такие лоханки захватывали. Четверых ко мне, сюда! Остальные — по ботам! Выполнять команду.

— Есть! — одновременно рявкнули капитаны. Оба знали одну мудрую и простую вещь: время болтовни проходит, а приказы не обсуждаются.

Сорвать спутник Марса с орбиты и тащить его до пояса астероидов задача непростая. Но иначе трудно подойти незамеченным, иначе системы дальнего обнаружения засекут, дважды предупредят, а потом уничтожат, на том все и кончится. Одна надежда, идет «перевооружение», все разболгалось, порядка нету, непрошеных гостей не ждут и, скорее всего, даже не заметят. Но береженого Бог бережет.

Кеша включил половинную прозрачность... и вздрогнул от неожиданности — кроваво-красный Марс, застилавший три четверти неба, не сулил ничего хорошего — дурное предзнаменование, многое будет пролито кровушки. Он отвернулся. И сразу глаза погрузились во мрак внутренностей Фобоса. Сам по себе этот ущербно-корявый

шарик был крохой по вселенским масштабам, всего двадцать пять километров в поперечнике. Невесть за что древние прозвали его Страх, именно так переводилось имечко спутника Марса. И был этот Страх дыряв до невозможности, рядом с ним изъеденная ходами и лабиринтами Гиргэя выглядела стальным монолитом.

Тысяч восемь лет назад во внутренностях Фобоса находилась крупная база погибшей цивилизации Агор-Турана, тридцать четвертой белой звезды галактики Циригена. Сами посланцы цивилизации шестилапых ящеров погибли на Фаэтоне, небольшой планетенке, крутившейся вокруг Солнца по орбите меж Марсом и Юпитером и оставившей после себя лишь тысячи мелких и крупных обломков – Пояс Астероидов. Сорок четыре звездолета агор-туранцев взорвались одновременно, и никто не знал по какой причине, но несчастный Фаэтон разорвало словно мыльный пузырь. Внутри Фобоса еще долгое время жили несколько разумных ящеров, потом и они вымерли, оставив вместо нормального каменисто-железного шарика изуродованный полый огрызок. Так или иначе, но Фобос сейчас мог пригодиться. Возможно, кто-то составил бы и более хитроумные планы, Кеша не отрицал, но он не был большим умником, что сидят по кабинетам и пьют кофий с секретаршами. Да к тому же... всего два часа.

Прямо из разгонного бака Кеша впрыснулся в одну из пещер Фобоса двести тонн горючего, взял спутник в гравитационные клещи капсулы, развернул, нацелил не без участия, конечно, бортового мозга. А потом поднес искру – предупредительным снарядом ударили в пещеру. Фобос рванул вперед, увлекая за собой капсулу и оставляя призрачно-туманный сиреневый след. Горючего хватило на сорок восемь секунд, но главное, Страх получил толчок, он оторвался от миллион-нолетнего кровавого владыки Марса. Дальше его повела капсула, прячась за ним и прощупывая каждый сантиметр Пространства.

– Красиво идем! – самодовольно изрек Кеша. Бойцы альфа-корпуса его не поддержали. Все четверо сидели у Булыгина за спиной увешанные оружием и боеприпасами. Они больше доверяли своим командирам, чем этому странному небритому, искалеченному и хмуromу мужику, непонятно откуда взявшемуся. Но они знали одно – главный их шеф, Глеб Сизов, на пустое дело людей не пошлет. На оборотня Хара они вообще не смотрели, тоже еще, зангезейская борзая! Каждый из них по тыще раз бывал на вонючей Зангезее, видывал там много всякой дряни и мерзости, могли там быть и борзые, чем дьявол не шутит.

– Красиво идем! – настойчиво повторил Кеша. И обернулся. – Чего заскучали, соколики?! На смерть надо идти весело и с легкой

душой! А вы скучаете. Скушных, их с ходу отстреливают. А веселого пуля не берет.

Сам Кеша отнюдь не был весел. Но малость подбодрить ребят ему хотелось. Дело невиданное, странное.

Боковые камеры выдавали на экраны изображения Космоцентра. Вот он, красавчик! Блестит на солнышке. Шевелит тысячами усиков. Монстр непомерный! Охмурялище миллиардов! Кеша не любил шустриков из Видеоинформа, не верил им, а при возможности готов был свести счеты. Он хорошо помнил, как вели себя эти сволочи во времена Аранайской бесконечной войны, как они из самых объявленных убийц и изуверов семи подкланов Аранайи лепили «мирных жителей», безвинно гибнущих от рук земных палачей-насильников! Их бы самих на Аранайю, в лапки этим «мирным жителям», чтоб их с выколотыми глазами, вырванными языками, отодранными ушами посадили на колья и напустили бы на них хотя бы один рой аранайских ядовитых ос! «Мирные жители» выделявали и не такое. Только репортеришки с Земли закрывали на их зверства глаза, искали главного врага на родной планете. Война была пустая и бесполезная... для того ее, наверное, и затеяли, чтобы потрепать старушку-Землю в эфире да поубавить ее армию. Ну да дела старопрежние, никто за них уже не ответит, хотя война продолжается! Плевать!

Кеша выпустил три «обманки» в разные стороны. Они пошли быстро, им проще, без людей, ускорения не страшны. Первая проскочила мимо Космоцентра, чуть не запутавшись в кольцах и фермах. Вторую и третью сожгли на подходах — одну в ста двадцати километрах от первого кольца, вторую — в восьмистах метрах от самого центрального шара. Хреново работают, смекнул Кеша. Это очень кстати. Ему не было жалко трех управляемых торпед, эдакую мелочь разве можно жалеть.

Космоцентр имел семь слоев защиты. В первом уничтожались только метеоры, астероиды, кометы и прочая неодушевленная материя. Остальные работали избирательно, имели дело со зваными и незваными посетителями. Сейчас важно было пробраться за спиной Фобоса до первого слоя, а там...

— У них нет внешней охраны! — прогремело по связи из бота. — Во чего творится!

Это не выдержал один из капитанов. И он был прав — убрать первый слой может только полный идиот, которому не даст сделать этого система блокировок и «защита от дурака», или враг. Значит, Иван во всем прав. Голыми руками хотят взять! Ну, сволочи! И ведь возьмут... только их опередит кое-кто.

– Полный вперед! – выкрикнул вслух Кеша по старой гиргейской привычке. Ему просто захотелось подбодрить себя. – Готовность номер один. Эй, добры молодцы, не спать!

– Тут уснешь, пожалуй! – отозвался один из бойцов, молоденький лейтенант.

Кеша специально не расспрашивал никого, не узнавал имен, зачем? Расставаться в бою всегда легче с безымянными. А вот прикинишь сердцем к какому-нито знакомцу, и обольешься потом слезами, да словами мести поперхнешься да проклятиями врагу, а жажда мести, она ум застит, нельзя с ней на дело идти и в бою биться нельзя.

Пора!

Гравиполе капсулы отихнуло Фобос. Одновременно включились радиопрозрачность, Д-прозрачность и вся защита. Теперь надо глядеть в оба. Космоцентр непростая штуковина. Но боевая десантная капсула тоже не детская коляска, специально проектировалась для боев с жесточайшим и сильнейшим противником. Только рано, пока еще рано в сражение. Пока надо тихо, вскользь, рывками – туда-сюда... сколько там прошло? сорок одна минута? ничего, еще семьдесят девять впереди!

Кеша не отрывал глаз от Фобоса. Ну? Ну?! Несчастный космический урод разлетелся в пыль за полтора километра от пересечения трех ближайших ферм. Защита ударила прямо с кольца, автоматика... значит, не все еще «перевооружили»! значит, кое-что работает! Ну и прекрасно, беззащитного и слабого на абордаж брать слава не великая!

Надо было решаться. Локаторы капсулы улавливали напряженность третьего, неотключенного защитного слоя. Надо! Иначе только отходной маневр, и полчаса потери времени.

Кеша уткнулся лицом в колени. Он готов был разрыдаться. Бот! Надо жертвовать ботом! Тем самым! Родным! Это все равно, что витязю и казаку поступиться своим лучшим и вернейшим другом, боевым конем, выносившим не раз из лап смерти! Эх, бот десантный, боевой! Но почему-то представилась Кеше в этот короткий миг не треклятая гадина Гиргэя, и не то, как вонзился в ее подлое нутро будто нож в масло на этом самом боте, а привиделась мать, ее лицо, ее печальные глаза, усталые, старые и добрые... но почему старые? ведь когда он уходил с Земли, мать была еще совсем молодой, вот тебе и раз, а глаза запомнились старыми, все в морщинках веки, черные волосы. Она сидела на поваленном ураганом огромном дубе. Дуб казался прежде могучим исполином, не подвластным никакой силе... а внутри-то был гнилой, трухлявой, и упал. А она шла его провожать, устала и присела... Кеша помнил, как лет на пятнадцать раньше он

сам, еще мальчионкой, провожал отца, романтика, бросившего сытую и богатую Россию ради скитаний и мытарств в полуголодной, вымирающей Европе. Они тогда тоже долго шли по полю, а потом присели на поваленную, полуобгорелую осину и отец сказал: «Вот так и я буду лежать. Лес далеко, а она одна, в поле...» И махнул рукой. С тех пор, на Кешиной памяти, у матери были усталые и старые глаза. Где она теперь? Жива?! Он знал, что сирота он, сиротинушка! Никого не осталось. А может, и никого не было.

– Бот! На штурм главного узлового шлюза! Полная программа. Вперед! – заорал Иннокентий Булыгин во всю глотку, отрывая лицо от колен, оглушая бойцов «альфы», утирая накатившую слезу.

Это надо было видеть. Черный эллипсоид с разворачивающимися на ходу орудийно-ракетными лапами, подобно орлу, падающему камнем на жертву, вырвался из чрева капсулы и почти тут же исчез в блеске и кружеве переплетений ажурных ферм и колец.

– Внимание, – спокойно произнес Кеша. – Альфа-бот-1 и альфа-бот-2 – в прорыв, следом! Задержка первому – пятнадцать секунд, второму – сорок секунд. Ну, капитаны, давайте, поглядим, чему вас учили. Ни пуха ни пера!

– К черту! – прогремело в рубке управления.

Оба боевых корабля черными тенями выплыли из приемно-пусковых ангаров. Зависли хищными бескрылыми коршунами во мраке Пространства. И вдруг сорвались с места, один за другим пошли вперед... А там, впереди, в полутора сотнях километров творилось нечто невообразимое: десантный бот, извергая чудовищные языки пламени, сжигая все перед собою сигма-излучением, сминая смертоносными залпами пространственные редуты, рассеивая веерами тысячи снарядоракет, ломал слои защиты, барьер за барьером, слой за слоем, уничтожая любую цель, вынырнувшую перед ним. Бот шел напролом с непостижимой скоростью, и сотнями вспыхивали поодаль от него разноцветные облачка – останки обезвреженных, сожженных им ракет Космоцентра.

– Вы что там, с ума походили!!! – ворвалось неожиданно на всех частотах во все шлемофоны, приемные устройства. – Прекратить!!!

– Точно, походили с ума, – ухмыльнулся Кеша. И вполне серьезно добавил: – Ну вот и хорошо. Ребятки пошли работу работать. А мы назад отпрыгнем...

– Что-о?! – взревел один из бойцов и пантерой прыгнул на Булыгина. – Наза-ад?!

Боец был крутой и тренированный. Но и Кеша был крут. Он выпал из черного кресла, на лету, ногой сбил парня, навалился, прижал к титановому полу.

– Остынь, мальш! – прохрипел он ему в ухо. – И слушайся старших.

Троє других держали Кешу на прицеле. Они тоже не поняли его слов. Как это сейчас, после того, как друзья, братки ушли на штурм, можно отпрыгивать назад, бежать с поля боя, это не просто трусость, это предательство, подлость!

Кеша спокойно встал. И снова уселся в кресло управления, потер ладони.

– Ша, мелюзга! – прорычал он. – Слушать мою команду!

Бойцы притихли – трусы и изменники себя так не ведут, как вел этот странный стриженный под нулевку, изуродованный шрамами человек.

Кеша довольно расхохотался.

Он уже дал команду. Капсула резко вывернула из зоны штурма. Сиганула на двести верст левее. Замерла. И стремительно пошла к нелепому яйцеобразному утолщению прямо в основании седьмого кольца Космоцентра. Именно там располагались личные апартаменты директора Космоцентра. Бортовой мозг снабдил Иннокентия Булыгина всей информацией, а уж тот выбрал что вернее... хотя в этот час директору полагалось быть не на своей огромной квартирке с шарообразным хрустальным бассейном в центре, а в рабочем кабинете, в основном секторе. Чутье! Кешу как и всегда вело чутье. Дело надо было делать наверняка. И даже если сейчас бравые парни из «альфы» возьмут штурмом Космоцентр, их просто могут заблокировать, отрезать им ходы-выходы, или хуже того, обдурить, завести не в те отсеки, не дать выйти в эфир, отрезать от блоков питания и еще, и еще, и еще! Но они не просто группа отвлечения, нет, они делают нужное дело... и он должен успеть к ним, успеть с директором, с этим «золотым ключиком», если он опаздывает – не пожалеют ни его, ни директора, и ему смена найдется, наверное, давным-давно кое-кто из замов мечтает об уютном креслище вдали от земных забот.

– Стоять!!! – прогрохотало в рубке угрожающе. Их нащупали.

– Сейчас, милый, остановимся! – Кеша включил тройное защитное поле. И вовремя – семнадцать разрывов в десятке километров от капсулы просверкали один за другим, семнадцать боевых ракет уничтожено. Прекрасно! Капсула полным ходом шла к «яйцу». Только бы не переборщить! Нельзя перебарщивать! Тут Кеша не вспривал, позволял мозгу делать черновую навигационно-притирочную работенку. Вперед! Остановить десантную капсулу почти невозможно. Но тряхнуло их так, что все четверо из «альфы» крепко пожалели, что не пристегнулись – у двоих были разбиты в кровь носы, один потерял сознание на полминуты, другой подвернул ногу. Ничего! Теперь

поздно разглядывать синяки и ссадины. Кapsула прорвалась сквозь дельта-барьер. Сожгла три охранных катера с андроидами, подавила четырнадцать «огневых» точек. И плавно коснулась ферралоговой обшивки.

— Вот что, ребятки, — мягко выговорил Кеша, обернувшись к бойцам, — внутри этой погремушки сейчас сотни полторы вертухаев. Надо бы их остудить малость. Я человек старый, больной, за вами не поспею... так что, давайте!

Кеша не договорил. Он не мог сразу и разговоры разговаривать и команды капсуле выдавать. А команда теперь была простецкая: «на абордаж!»

Капсулу даже не качнуло, не встряхнуло, когда абордажный шлюз всосался в обшивку «яйца», прорезал семь слоев и сразу из двенадцати вибронъекторов вспеснул внутрь сонный газ — ежели охрана без скафов и масок, значит, спать ей часика три-четыре до полного и окончательного пробуждения... а с чего им быть среди бела дня в намордниках? Нет, должно сработать!

Кеша откинулся па упругую спинку кресла. Сейчас его взгляд был прикован к экрану шлюзового сегмента капсулы, где готовились к решающему прыжку парни из «альфы». Ни веревки, ни лестницы им не понадобятся — за плечами у каждого гравитационный ранец, скафы крепки — из сигмамета не прошибешь, ни один бронебой не взьмет...

И тут же, будто были легки на помине, в сегмент ворвались два сигмаснаряда, разорвались, расшвыряли бойцов, зарикошетили мелкой бесовской дробью по внутренней обшивке. Ничего, это даже хорошо. Кеша видел, как поднимаются его славные ребятки, отряхиваются. Ничего! Значит, не все в «яйце» уснули, значит, пора.

— Вперед! — выкрикнул он сипло.

Оборотень Хар встрепенулся, шерсть на загривке у него встала дыбом, глаза округлились. Хару сейчас не хотелось в бой — они все в защитных скафандрах, а он-то голый! Нет, было б из-за чего погибать!

Кеша ласково потрепал Хара за ухом.

— Не бойся, дружок, — просипел тихо. — Пора и нам собираться.

Обзорники показывали нечто невероятное: вокруг капсулы на разных расстояниях, одна за другой разрывались уничтожаемые защитными полями ракеты, торпеды, снаряды — Космоцентр не оставлял попыток избавиться от чужака, это было просто бойней, будто дикий хищник, обложенный со всех сторон и расстреливаемый в упор, капсула огрызаясь, выпуская свои длинные острые когти, отбивая и убивая все, что приближалось к ней. Да, боевая капсула не-

сравнительно сильнее любого, самого сильного хищника... но и у нее были свои пределы. Спасало и другое, она вжималась в бок кольца станции, ее уже не могли бить ураганным огнем, так запросто повредишь само кольцо. Ее били жестоко, смертно, но прицельно. Они успели прижаться! Кеша не скрывал довольной ухмылки. Успели! А это половина победы. Вот как там два капитана? Как ребятки, что пошли в любовную атаку?! Им не позавидуешь, но так надо. Надо!

Кеша приварил шлем, опустил на лицо фильтр. Подкинул в гидравлической лапе скафа трехрудовый спаренный лучемет-бронебой с шестью навесными ракетами. Подкинул... поймал да и положил на место. Вытащил из клапана привычный сигма-скальпель, закинул за плечо легкий десантный лучемет. И строго наказал Хару:

— А ты сиди тут тихонько. И не лезь никуда!

Потом шагнул в шлюзовой фильтр-мембрану.

Внизу шел дикий и лютый бой. Кеша сунул было голову в дыру абордажного переходника. И тут же отпрянул — град осколков ударил в стеклотанковое забрало, бронированную грудь залило красными брызгами, следом в шлюзовой сегмент швырнуло оторванную ногу — по стальному черному стержню вместо кости Кеша догадался, нога принадлежала не человеку, а андроиду. Этих сонных газом не возьмешь.

Прямо из дыры поднимались вверх и заполняли сегмент черные клубы дыма, что-то там горело. Кеша хотел еще разок заглянуть вниз через переходник, осмотреться толком. Но тут же раздосадовано крякнул, ухмыльнулся недобро — стареет, стареет ветеран, осторожным стал и боязливым, будто школьница перед лужицей, ножки боится замочить, а идти-то все равно надо.

— Эх, была не была! — сказал он безо всякого ухарства.

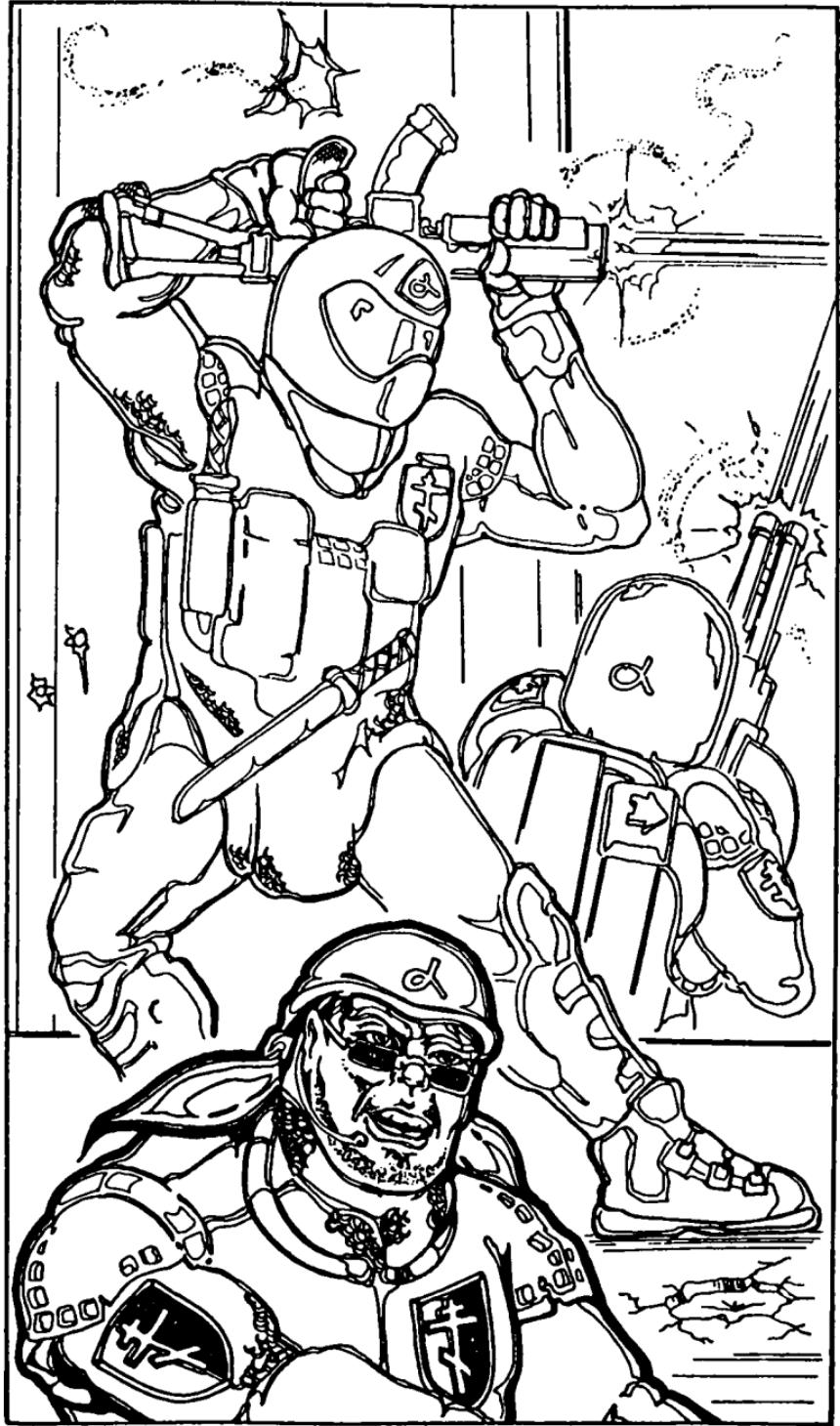
И одним рывком перебросив тело к дыре, сиганул вниз.

Инфравизорное зрение скафа включилось сразу, автоматически, еще до того, как Кеша рухнул в груду искалеченных тел, трупов и пузырявшихся силимерных внутренностей андроидов — все перемещалось.

— Где вы, ребятки? — спросил он по внутренней связи.

В ответ услышал отборный мат, из которого становилось ясным, что они сами не знают, где. Но пока все были живы, и то слава Богу!

Кеша шарахнулся из лучемета прямо перед собой. Потом срезал багровую тень, прыгнувшую на него слева. И побежал к темнеющему впереди провалу. Теперь главное, не ошибиться, не дать директору Космоцентра ускользнуть, ежели уйдет — пиши пропало. А парни из «альфы» молодцы, лихо справились с охраной, правда, в этой меша-



нине не поймешь, кто спит блаженным сном и видит прекрасные разноцветные сны, а кто уже отошел в мир иной.

— Как там подходы? — поинтересовался он будто между делом.

— Перекрыты! — отозвался один.

Пока нет никого, — доложил другой.

— А тут блокировка, они нас в ловушку загоняют, — прохрипел третий, — все щели заварили, падлы!

— Надо бы подкрепление, — ровным и спокойным голосом проговорил четвертый, — тут семь ответвлений, один не удержу!

— Третий и второй, бегом к четвертому! И затихли чтоб! Самим ни шагу вперед, пока не скажу!

Кеша раздавал команды на бегу, торопился, спешил. Парни сделали свое дело, теперь бы и ему не оплошать. В красно-багряных тонах мельтешило и кружилось перед глазами нечто невообразимое, инфравизоры работали отменно... но Кеше все мерещился непомерно огромный, кровавый Марс, все в одном гнетущем колере, будто и других цветов нету! Прямо из провала он метнулся влево, потом вверх по витой лестнице, к чуть высвечающему боку хрустального водоема. Чутье! Кешу вело его нутряное, верное чутье! Но как пробраться туда, в сердцевинку?! Спокойно, только спокойно. Надо на верх!

Позади шарахнуло две очереди. Снова полетели, застучали нервным, психическим стуком осколки. И полыхнуло фиолетовым — это один из парней сжег нападавшего. Молодцы! Свое дело туто знают! Кеша бежал вверх, ничего не видя под собою — только хрустальные грани, только волнистый блеск. Чертовы толстосумы! Гады! Сволочи! С жиру бесится! Кеша был зол и раздражен. На эдакое чудо ушло столько деньжищ, что можно было бы для дикарей на Аранайе выстроить дюжину школ. А этот хмырь пузатый все под своей задницей держит, себя тешит! Хрустальный бассейн и впрямь был огромен, сказочно велик — это был и не бассейн вовсе, как его величали, а трехсотметровая в поперечнике круглая, гранено-резная, искрящаяся миллиардами ослепительных бликов ваза. И внутри этой вазы что-то светилось. Кеша знал, что там было. Он знал, точнее, безошибочно улавливал своим острым нюхом и другое — кто-то сейчас поплатится за тягу к роскоши. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он тяжкий самый... может, и не будет никакого боя, главное, дырочку найти, проходик отыскать.

Спуск в вазу был сверху, он не ошибся — витой стебель вел к черному шару, покоящемуся в голубых водах. Шарик был без окон без дверей, но наверняка с полной прозрачностью, дорогая игрушечка,

эдаких апартаментов не имели магараджи индийские и аравийские шейхи. Ну да теперь поздно горевать!

С двух сторон снова донеслись разрывы, трески и дикая брань по внутренней связи, там отбивали очередной наскок охраны, но держались, пока держались.

– Не подкачайтте, ребятки! Я мигом! – прошептал Кеша.

Вот! Здесь! Он с ходу срезал сигма-скальпелем заглушку, навалился. Сдвинул плиту... И в лицо полыхнуло пламенем. Этих еще не хватало! Кеша одним спнопом из лучемета сжег двух андроидов, вполз внутрь... с другой стороны трубы красовалась распахнутая изумрудная дверь в три человечьих роста. Тыфу! Все нараспашку, все раскрыто, охрана заелась и разнежилась! Андроиды без снаряжения, где оно?! Все разворовали, сволочи! Все поистратили на себя, по своим делам приспособили! Падлы! Кеше зла не хватало... за что его совали из категорги в категоргу?! за что его мурлыкли по зонам, когда эти жирные ублюдки разворовывают все и повсюду, и хоть бы что! а он подыхал за них на Аранайе! терпел лишения, лез под пули и снаряды, в огонь и пламя! гаденыши! твари! это их надо всех в категоргу! а лучше – веревку на шею, и к черту на постой!

Кабина, в которую он влез была роскошна и отделана на славу – все натуральное, все с Земли, красное дерево, малахит, янтарные вкрапления, опять хрусталь – безумно дорого и безумно безвкусно! И для чего? для того, чтобы спуститься вниз на тридцать метров!

Наверху, внизу, по бокам, повсюду шел бой: грохотало, трещало, горело все – Булыгин слышал по внутренней связи. Но сюда, за хрустальные толщи не долетало ни звука, ни шороха, тут было тихо и покойно. Умеют же люди устраиваться! Кеша был вне себя. И опять хрусталь, опять эти толщи прозрачные, как там, как на Гиргее проклятущей... а может, не случайно? может, не спроста им все это нравится?! может, это привычно и нужно т е м, что скоро придут?! Нет! Некогда ломать голову!

Еще немного! Возьмем тепленьким! Кабина погрузилась в шар. Люковый створ уплыл внутрь стен. И Кеша, как и был в обожженном скафе, грязный, продымленный, очумелый, с лучеметом наперевес и скальпелем в левой руке ворвался в обиталище самого главного человека на этой станции, во всем Космоцентре Видеинформа. Это был кабинет, огромный, роскошный, отделанный под невесть какого Людовика кабинет, утопающий в зелени немыслимых пальм и кактусов, уходящих к высоченному семиметровомуциальному деревом потолку... здесь все сверкало и блестело, все кричало в полный голос: дорого! дорого!! безумно дорого!!! сплошь антиквариат, старина... золото, серебро, фарфор, жемчуга, хрусталь, а мебель... что это была

за мебель, нет, ни у одного из Людовиков во всех их дворцах не было такой мебели! Кеша опустил ствол – рука не поднималась стрелять, палить и бесчинствовать в такой обстановке.

Он медленно побрел вглубь непомерного кабинета, уставленного книжными шкафами с гранено-хрустальными стеклами и резными столами. Никто не нападал на него, никто не стрелял. Чуть позже он заметил огромные, старинные окна, все в резьбе и золоте – вот за ними-то, прямо за стеклами была вода, голубая вода, водоросли шелковистые, стайки разноцветных рыбок, причудливые хвосты, гребни, плавники, шаловливые пузырьки, бегущие вверх – сказочная, непостижимая красотища. Кеша замер в смущении и растерянности. Да, огромный шар изнутри был абсолютно прозрачен. И кабинет этот – лишь один из ярусов шара-квартиры, апартаментов директора Видеоинформа. А где искать его самого?!

Время шло. Драгоценные секунды и минуты истекали. Два часа. Какие там два часа! Оставалось несколько минут. Иван ждал... а может, и не ждал. Связь-то односторонняя. Но это неважно. Под огромным раскидистым гибридом баобаба и японской сосны, растущим прямо из расписанного сверкающего паркета, Кеша увидел спуск вниз – солидную, любовно вырезанную дубовую лестницу с огромными дворцовыми перилами. Разглядывать и любоваться было некогда. Заелись, толстобрюхие, с жиру бесятся!

Кеша побежал вниз.

Помещение внизу было поменьше, попроще: сотни три экранов рядами шли по овальным стенам, точнее, по одной замкнутой стене. Все они были темны и пусты, лишь один, метра три на четыре, светился полуобъемным светом, будто открывая ставни в какой-то внутренний мир. И творилось в том мире дело лихое, неприглядное, теребящее душу – шел там бой не на жизнь, а на смерть, страшный бой. У Кеши сердце сдавило. Но почти тут же отпустило. Дерутся! Сражаются! Значит, живы, значит, держатся! Молодцы капитаны, молодцы, ребятки! Но жаль... некогда разглядывать.

Кеша снова вскинул лучемет.

Метрах в двадцати от экрана, в черном управляющем кресле, спиной к нему сидел какой-то доходяга с бугристой лысой головой и тонкими нервными ручками.

– Ты кто такой?! – растерянно спросил Кеша, на всякий случай озираясь по сторонам.

– Это вы кто такой? И что вы тут делаете?! Кто посмел впустить?! – нервно завопил доходяга. – Здесь служебное помещение!

– Тихо! Тихо! – начал было оправдываться Кеша, но тут же спохватился. Не может быть... он рисовал в своем воображении «пузато-

го»: жирного, лощеного увальня с тремя подбородками, а напоролся на тощего и нервного человечка с землянистым обрюзгше-болезненным лицом, выпученными бессмысленными глазами, большим уродливым носом и вислыми обиженными губами. – Ты вот чего, – сказал Кеша строже. – Сиди тихо! Вякнешь – пришибу! Где охрана?

– Тут нет никакой охраны! – завизжал человечек. – Вон где охрана!

Он ткнул подагрическим кривым пальцем в экран и нервно рассмеялся. Смешного ничего не было, совсем наоборот, плакать ему надо было: там, на экране, бойцы «альфы», простреливая насеквоздь, прожигая лавиной огня и излучений, забрасывая гранатами и парализующими шашками, брали уровень за уровнем, коридор за коридором, этаж за этажом центровой шар. Это было неистовое побоище! Так нельзя брать свое! У Кеши душа разболелась, как потом восстанавливать, как?!

– Капитаны, эй! Слышите меня?! – выкрикнул он по внутренней.

– Чего там?! – отозвался один из них, непонятно какой именно, голос был осевший, неузнаваемый.

– Доложи обстановку! – потребовал Кеша.

– Хреновая обстановка, – просипел капитан, – пятерых потеряли, трое ранены, ползком ползут, ихних до двух тысяч положили... жалко, падла, сердце кровью обливается!

– Понятно, жалко, – отозвался Кеша, – парни-то свои, наши, не их бы давить надо, а тех, кто за их спинами! Но... потом разбираться будем! Продержитесь еще немного, все нормально!

– Какой там нормально! Только что перехватили – они вырубают энергию! Что толку бить народец, связи не будет! Понял?! – капитан чуть не рыдал.

Кеша прожигал глазами экран. Камеры, установленные в местах прорыва, лопались одна за другой, но тут же подключались новые. Пыль, гарь, адский грохот, мечущиеся в дыму и огне фигуры в скафах, пальба, искореженные трупы, черт-те что! И они рвались вперед! Куда?! Пора было кончать с этим.

– Ежели питание и связь будут вырублены, – прошипел он в спину человечку, – тебе не жить. Понятно?!

– Все равно убьешь, – вяло ответил тот.

– Нет, пока не убью, – заверил Кеша. – Давай команду: всем сложить оружие, немедленно прекратить сопротивление!

– Кто вы? – вместо отдачи команды спросил человечек. Голос его дрожал.

– Неважно. Главное, что ваша власть, власть выродков, закончилась! – Кеша вскинул лучемет и дал малый залп по боковым экранам

— те полыхнули багряно и ушли вверх черными клубами, будто и не было их. — Командуй, сволочь!

Человек обреченно поднялся из управляющего кресла, ссущулившись, повесив плетями руки, прошел к обгоревым, почерневшим стенам, за которыми был лишь хрусталь да голубые воды, и пробубнил невнятно:

— Сам командуй.

Первым желанием было сжечь его, резануть скальпелем над шеей. Но Кеша сдержался. Он плюхнулся в черное кресло и заорал вслух:

— Отбой! Прекратить стрельбу! Всем службам безопасности сложить оружие! Немедленно!

Ничего не произошло. Никто не откликнулся. Глухо! Кресло не слушалось его. Оно было настроено только на директора ВидеоИнформа, только на этого тщедушного любителя роскоши.

Кеша тигром выпрыгнул из кресла, в два прыжка подскочил к сидящему, ухватил его стальной лапой за горло, поднял и швырнулся на черное сиденье.

— Если ты сейчас же не остановишь смертоубийство, сволочь, на вверенной тебе территории, — зашипел он прямо в ухо человечку, отбросив забрало, — я изрублю тебя в капусту, я тебя поджарю на самом медленном огне!

Директор будто и не слышал его, он был в прострации, только слезы текли из мутных глаз. Это шок, это нервный срыв, Кеша закрежетал зубами. Теперь все пропало. Все!

Он уставился на экран. Там бойня переместилась в огромный зал с ребристыми стенами и теряющимися в высях потолочными перекрытиями. Вертухай окружали шестерых «альфовцев», загоняли на открытое место. Двое еле двигались — раненые, загнанные, измученные. У троих шлемы скафов были сворочены, сбиты, лица залиты кровью. Теперь Кеша явственно рассмотрел капитана, того самого, с перебитым носом — у него была оторвана по локоть рука, нога волочилась, волосы черной кровавой коркой липли к незащищенной голове, вздутый страшный шрам тянулся от виска к шее.

— Капитан! Капитан, ты слышишь меня! — заорал он по внутренней.

Отозвались не сразу, тихо, будто из могилы, с присвистом и одышкой.

— Слыши...

— Держись, капитан, еще немного! Держись, сынок! — Кеша чуть не плакал. Он так и не спросил тогда, как их всех зовут, чтоб не знать, чтоб не привыкать... а теперь не вытерпел, не мог вытерпеть, ведь это

он их послал на смерть, он. Кеша застонал, увидев, как капитан упал на колени, вскинул спаренных бронебой, расшибая в куски, в ошметки особо рьяного андроида-охранника, прыгнувшего с бокового ребра. И тихо спросил: – Капитан, слышишь, тебя как кличут-то хоть?!

Один из тех, что еще был в шлемах, подхватил капитана, поставил на ноги, подтолкнул за выступ, прикрывая залпами лучемета и своим телом. Но тот вырвался, снова вскинул бронебой – и еще два нападавших рухнули замертво.

– Сергеем, – на выдохе, еле слышно отозвался он.

– Держись, Серега! Держись!

Кеша с размаху хлестанул тщедушного по щеке, потом по другой.

– Убью! Убью, сука!

В глазах у человечка проявились безумие и ужас. Но он ничего не слышал, он ничего не понимал.

– Держись, Серега!

Сквозь катанинский треск, вопли, мат, стоны, разрывы прохрипело тихо «держусь», а может, это только послышалось Иннокентию Булыгину, рецидивисту и ветерану, измученному жизнью скитальцу русскому. И он не сдержался, занес кулак над бугристой голой, уродливой головой.

– Сто-ой! – проворещало пронзительно сверху. Кеша вскинул глаза, не опуская смертельного, нависшего над жертвой стального кулака.

– Стой!!!

С витой огромной лестницы кубарем скатывался облезлый обгорелый, изодранный оборотень Хар.

На него было страшно смотреть – эту несчастную и без того нелепую «зангезейскую борзую» будто били-молотили два часа кряду, потом облили смолой, вывалили в пуху и перьях, вымочили в кислоте, выдрали все, что можно выдрать и пинками вышвырнули сюда, на лестницу.

Хар, скуля, повизгивая, поджимая поврежденную лапу, подскочил к полубезумному тщедушно-жалкому директору Видеоинформа, скorchившемуся в угробной позе на своем всемогущем кресле, отпихнул грубо и нагло Кешу, сдавил в лохмато-дрено-облезлых лапах бугристый череп, заглянул зверино-диким, неразумным, но пугающе-понятливым взглядом в. выпученные глаза, облизнулся дрожащим лиловым языком, роняя липкую желтую слюну и тихо-тихо протяжно и надсадно заскулил.

– Э-эх, мать твою! – застонал в бессилии Кеша. – Падлы! Падлы!!!

Там, за экраном уже только двое держались на ногах. Капитан Серега лежал на боку, выставив вперед кровавый обрубок, и палил без передыху из подобранныго, нештатного бронебоя. В дальнем конце зала грохотал, гремел траками малый охранный бронеход. Вытащили, сволочи! Это конец! Их там тыщи полторы, да плюс эти мастодонты! да гравитационные орудия! эх, мать твою! погибают парни! не будет подмоги! где ж другой капитан?

— Где второе отделение?! — закричал Кеша. — Где?!

— Идет, — отозвался Серега, — идут на выручку, три переборки остались, только три... получай, гадина! — Граната тройного боя полетела в скопление охранников, не андроидов, живых. Разметала по стенам и полу. — Ничего, дождемся! Всего три переборки! У них связь подавлена... только нас слышит, один... один!

Море огня полыхнуло по экрану. Кеша зажмурился. Все! Конец! Крышка! Но когда он открыл глаза — битва продолжалась, они отползали, они волокли друг друга, не бросая, не паникуя, не сдаваясь. Эх, жизнь стерва! Надо быть там! Только там! А он здесь прохладдается! Кеша в сердцах со всего маху ударил по собственным бронированным коленям стальными кулаками. Он был в отчаянии.

А оборотень колдовал над директором. Время шло на секунды, на доли секунд.

— Все! — выдохнул Хар. И отпрянул.

И почти сразу человечек открыл свои глаза. В них уже не было безумия. Но в них застыл холод, нечеловеческий холод.

— Где я? — спросил он.

— На своем месте, — спокойно и даже ласково ответил Хар. — Вы сейчас на своем рабочем месте. Вы управляете учебными маневрами по отработке всех систем защиты Космоцентра.

— Да-а? — вяло поинтересовался директор, и слюна потекла из его полуоткрытого рта.

— Да! — заверил сомневающегося Хар. — Маневры закончены. И сейчас вы воспользуетесь своим правом остановить персонал. Повторяйте за мной...

— Вот это да, мать честная, — удивленно выдавил из себя Кеша.

— Повторяю, — механически прошел директор. И тут же голос его изменился, стал властным: — Код Семь-семнадцать. Особое положение. Беспрекословное подчинение. Передаю приказ! Немедленно прекратить маневры. Сложить оружие. Занять базовые места! Повторяю! Занять базовые места!

Лицо тщедушного вдруг исказила дикая, нечеловеческая гримаса, голос стал визгливым, чужим:

— Группа неизвестных уничтожает все! Это не маневры! Они пропиваются в центральный зал... вы что там, с ума сошли!

Кеша испуганно взорвался на Хара. Но тот только кивнул еле заметно.

— Все в порядке, он повторяет то, что слышит из шара. А сейчас мы начнем видеть, сейчас!

Вспыхнул еще один экран на стене. И открылась взорам рубка управления охраной. Какой-то крепкий и усатый тип в полускафе кричал, брызжа слюной, доказывая... это его голосом вещал директор секунду назад.

Хар склонился над бугристой головой.

И человечек заговорил:

— За невыполнение приказа при действии Особого положения в Космоцентре генерал-полковник Цайдер приговорен к расстрелу. Командиром охраны назначается... Исполняйте!

Двое парней в литых скафах, стоящие за спиной у усатого, подхватили его под руки, швырнули к стене... выстрел был еле слышным, плотное тело сползло на пол, замерло, содрогнувшись в посмертной конвульсии. Все! Как все быстро решается!

— Приказ принят! — доложил новый командир. — Все отводятся на базовые позиции!

Кеша видел своими глазами, как в центровом прямо на стене ребристой разрослось вдруг черное пятно, расплзлось, разорвалось. И из огромной дыры с рваными краями выскочило в зал шестеро бойцов «альфы». Только шестеро из всего второго отделения. Они слаженным залпом смели с пути препяду из двух дюжин андроидов, один бросился к окруженным, другие заняли круговую оборону. На них было страшно смотреть: все без шлемов, черные, изодранные, в искощеженных, пробитых скафах, в кровище. Но они и не собирались сдаваться. Они готовились к последнему бою, к главному бою!

— Все! Ребятки, все! — зарыдал по внутренней Кеша. — Вы их сломили! Они сдаются. Они отходят!

И впрямь было видно, как живые охранники и андроиды, бросают сигмаметы, лучеметы, бронебои, парализаторы и идут, помогая друг другу, к боковым люкам. Побоище закончилось. Космоцентр Видеинформа был захвачен — не бывалое прежде случилось.

Кеша, внезапно обессиливший и изнеможенный, сел прямо на пол. Слезы одна за другой выкатывались из его воспаленных глаз, губы тряслись.

— Все в полном порядке, не надо беспокоиться, — доложил ему оборотень Хар, — этот человек будет исполнять все, что мы ему при-

кажем... что ты прикажешь! Ни одна из энергосистем, систем связи и коммуникаций не будет отключена. Ты слышишь меня?!

Кеша пи черта не слышал.

Он настойчиво бубнил по внутренней: «Серера! Серега! Серера...»
Но никто не откликался.

Удар под ребра пробудил Ивана. И почему его все время бывают по ребрам, да еще ногами?! Обнаглели! Он открыл глаза... странно, в камере сменили обивку? вместо серого синтюкона желтый старинный паркет, нет, это не обивка, это натуральный паркет, но зачем они это сделали?! Он ничего не мог понять, но не спешил перевернуться, встать – кто знал, что его ожидает, лучше еще немного попрятворяться лежащим без сознания. Но что тут вообще происходит?

Нет! Он же не в камере, не в психушке! Он давно выбрался! Перед глазами как живое стало багряное лицо, кабанья рожа, перекошенная ненавистью и злорадством. Неужели это было? Было! И он выжил! Он успел сделать последний выдох в превращатель! А вот он и сам, в кулаке!

Иван поднял голову, повернул ее.

И увидел наставленное прямо в лицо дуло лучемета. Чуть выше маячило хмурое и серое лицо Глеба Сизова. На нем медленно проступало недоумение.

– Ива-ан?! – в полнейшей растерянности вопросил наконец Глеб.
– Откуда ты здесь?!

– Откуда, – грубо ответил Иван. И отпихнул ствол лучемета.

Поднялся. Сел на стул, выдохнул с усилием. Голова еще кружилась. В ногах явно ощущалась слабость. Он вернулся с того света, а его еще допрашивают.

– Не дури! – вдруг озлобился Глеб, передернул нервно плечами. – И отвечай, когда спрашивают, я на службе, а не на посиделках, и здесь тебе не клубная баня, а Кремль, понял? Говори быстро – откуда ты взялся тут, как проник, зачем?!

– Понял, Глебушка, понял, – улыбнулся Иван, – дружба дружбой, а служба службой. Сам такой. – Он заглянул Сизову в глаза и вдруг спросил в лоб, наотмашь: – А ты и впрямь не догадываешься, откуда я тут взялся?!

– Нет, не догадываюсь, – не очень уверенно протянул Глеб. Но лучемет все же опустил.

Он давно знал Ивана, еще до Гадры. А главное, он знал, что Иван не пойдет на подлость, не пойдет на нечистое и недоброе дело, скорее умрет, под петлю или под пулю встанет. Двенадцать лет назад Глеб Сизов сменил Ивана на Гадре. Тот уже сел в капсулу, вышел на орби-

ту и приготовился к заслуженному, как говорится, отдыху, когда от Глеба пришел сигнал, незапланированный, нештатный, внезапный... это было даже не сигналом, а каким-то внезапно оборвавшимся криком. По инструкции Иван должен был доложить на базу и преспокойненько отправляться на перевалочный пункт, а то и прямиком на Землю, только б горючего хватило. Но он вернулся — вернулся на пустое место: ни Глеба на заставе, ни его шестерых спецназовцев не было, от десантного бота и след простыл, два бронехода лежали раскуроченные, будто их разорвало изнутри. Иван чуть с ума не сошел от необъяснимости всего случившегося. Звероиды могли запросто уволочь кого-то из семерых в свои пурпурные джунгли, могли сожрать двоих-троих, но они никогда бы не справились с бронеходами и ботом. Иван, конечно, сразу дал аварийный на базу. Но сидеть сложа руки он не мог. И тогда явилась одна-единственная и потому верная мысль. Они в утробе! Вторгаться в утробы живых деревьев, в которых рождались, жили и умирали звероиды, аборигены чертовой планеты Гадра, категорически запрещалось, можно было нарушить весь ход развития этого полуразумного сообщества, вызвать необратимые последствия. Но Ивану было плевать на все рассуждения умников, киснущих в своих кабинетах и пытающихся учить весь остальной мир, он просто разогнался на своем боте и врезался в поверхностный слой почвы, раздирая в ошметки лианы и дышащие стволы, он пробился в утробу в полутора километрах от заставы. И не ошибся. Это уже давненько была не «утроба» как таковая, звероидов оттуда вывели и вычистили, все ходы-выходы закрыли... и кто же?! Иван своим собственным глазам не поверил, когда увидал пять вертикальных и семь горизонтальных гиперторроидов, попросту говоря, Д-статоров неземного производства. У них под носом свили осиное гнездо чужаки. Они устроили на Гадре свою перевалочную базу! Три «бублика» Иван уничтожил одним залпом бортовых пушек, четвертый сжег из сигма-пушки. И тут его самого зацепили. Он летел из бота, вышвырнутый микрокатапультой, как камень из пращи с одним только лучеметом за спиной и двумя парализаторами по бокам. Но он не погиб. Он успел найти Глеба с его парнями. Они лежали в свинцовых саркофагах, подготовленные для переброса неизвестно куда, может, в иную галактику или в саму преисподнюю. Он их вытащил оттуда, привел в чувство... И тут из «бубликов» полезли рогатые четвероноги. У них и впрямь не было рук, одни ноги, так казалось с первого взгляда, но они ловко управлялись со всеми делами огромными, гибкими, буйволиными на вид рогами с сотнями присосок и усиков. Это были какие-то чудища. Но разумные и жестокие чудища. С такими не стоило канителиться. Иван раздал парализаторы, вскинул луче-

мет... и началось такое, что они чудом не попали на тот свет. Они были обречены, и только безумная смелость, переходящая в наглость, спасла их. Не зная ни принципа действия, ни способов управления шестилапыми самоходами пришельцев, они захватили две машины, одну сломали сразу, но вторая оказалась послушней – как они давили и молотили этих тварей! Тогда и сам Иван, и Глеб, и остальные парни поняли впервые по-настоящему, что такое стоять к плечу плечом и не давать в обиду братка-десантника. Из торроидов лезли все новые полчища рогатых, сил уже не было. И тогда они пробили запоры, заслоны и ушли по утробе в пурпурные джунгли... Ивана лишили отпуска, месяц продержали за произвол на гауптвахте. А потом оставили на заставе на год, в наказание. Это был адский «год». Из центра и с базы шли команды и распоряжения даже пальцем не трогать новый вид гуманоидов, изучать, наблюдать за ними со стороны до прибытия особой комиссии. Комиссия все не прибывала, а рогатые четвероногие «гуманоиды» изо дня в день штурмовали заставу. Года не прошло, а через четыре недели всех их, еле живых, изможденных и полуబезумных, не отступивших ни на шаг, не давших в обиду себя, сняли с заставы... и вовремя, в патронниках каждого из восьмерых оставалась по одной пуле, для себя, зарядники лучеметов и бронебоеv были пусты. Они не верили, что выжили в этом аду. Но это было давно.

А теперь Глеб Сизов, постаревший и посмурневший, с недоверием и удивлением глядел на Ивана.

– Да я это, я! Тебе не мерещится! – Иван растянул рот в улыбке.

– Мои люди охраняют это здание, этот кабинет! Ты не мог сюда пройти!

Иван понял, что надо выкладывать все начистоту. И он выложил. Потом добавил:

– Неужто ты впрямь поверил, что сам этот старый хрен, правивший нами от имени народа, вспомнил про Русь-матушку?! Не будь наивным, Глеб! Это был я. Я вызвал тебя по правительенной связи. Я дал тебе приказ сменить охрану, а до того именно я усыпал охранников вот этой штучкой! – Он вытащил Кристалл, помахал им под носом у Глеба. – А как мы с тобой раскалывали комитетчика и министра обороны?! Как мою Светлану послали с твоими парнями чистить гадюшник, ты помнишь?!

Сизов качал головой.

– Не может быть. Ты просто сидел где-то здесь и подслушивал. Точно! Ты, небось, сам работал в охране, втихаря! Поэтому ты и знаешь все, ну-у, Иван...

– А Света?!

– Никакой Светы нет, я помню твою жену, у меня хорошая память. Но она погибла давным-давно!

– Не погибла, Глеб! Я вытащил ее из Осевого. Ты же видел ее! Она сидела вот на этом стуле! – Иван указал пальцем. – Вот здесь.

– Тут сидела... какая-то, сидела. Но из мертвых, Иван, не воскресают. Я не верю тебе! Всегда верил, а теперь не верю.

Драгоценное время шло, истекало решающими минутами и секундами, а они стояли, упервшись лбами в этот великолепный и строгий кабинет. Иван горько улыбался. Стоило ли тогда выживать, может, лучше было сдохнуть в старом и кособоком теле. Горько, когда тебя не признают твои старые друзья, тяжко и больно, когда они не верят тебе. Но он бы и сам ни за что не поверил никому, даже самому близкому другу в эдакой ситуации, ведь Глеб никогда не видел превращателя. Надо показать ему!

– Гляди! – Иван вытащил яйцо, приставил к горлу, нажал – и стал медленно превращаться в двойника Глеба Сизова, такого же мрачного и усталого генерала в корпусной полевой форме.

Глеб помотал головой, проморгался.

– Бред какой-то... гипноз, наверное? – сказал он невнятно, сомнением.

– Никакого бреда и никакого гипноза!

Иван сдавил яйцо губами и снова стал самим собою. Потом развел руками, поглядел Глебу в глаза.

– Я понимаю тебя, ты генерал, я полковник... трудно подчиняться младшему по званию, гордыня не дает. Но такой расклад, Глеб! Ты не испугался, один из немногих, ты встал сейчас за Россию. Потому что видел, потому что накипело, потому что больше не мог смотреть безучастно, как уничтожают Державу, разоружают, губят, изводят эти сволочи, эти иуды подлые! Но я видел больше, намного больше! И знаю я больше! Нет, я не работал в здешней охранке, я пришел сюда, чтобы сломать ей хребет, и предателям этим сломать хребет... а через час подойдет «Летний гром». Ты помнишь?! И они нам сломают хребты.

– Сюда летит Семибратов!

– Еще бы! Я сам его вызвал! – в упор выкрикнул Иван. И добавил тише: – А знаешь, где настоящий Правитель, где этот выродок?!

– Где?

– В спец психушке под Лубянкой!

– Я могу проверить, Иван, и тогда тебе...

– Проверяй. Только быстро!

Сизов вызвал по внутренней двоих в пятнистых бушлатах. Они понимали все с полуслова.

— Доставить немедленно!

Иван вздохнул. Отвернулся. И пошел к креслу у резного стола, к выдвинутой сфере правительственной связи.

— Стоять!

Голос Глеба был словно из литого металла. Иван ощутил холодок меж лопаток, туда, именно туда ударит тонкий луч, если он сдвинется еще на шаг. Глеб крутой малый, с ним шутки плохи. Но и верней, надежней его нет.

Иван вернулся к дивану, развалился. Только теперь до него дошло, что связь все равно бы не сработала, ведь он теперь пребывал в своем собственном теле. А на него сенсодатчики мыслеуправления не сработали бы, никаких сомнений. Эх, нет добра без худа!

— Ты давно учаял измену, здесь, в Кремле? — спросил он неожиданно у Глеба.

— Это было странное ощущение, — откровенно признался тот, — я не смог бы ничего доказать, я просто знал, что делается все не так, я не находил себе места эти годы. И когда Правитель вызвал меня... — он запнулся, поглядел на Ивана, — я понял, вот он, пришел час!

— Ты все правильно понял, Глеб!

Дверь в кабинет распахнулась и один из двоих в бушлатах в辚нулся внутрь... Ивана. Это был именно Иван, Правитель-Иван. Глеб Сизов снова замотал головой. Он не спал уже две ночи, но это ерунда, раньше он, бывало, и по месяцу не спал, дремал на ходу, на бегу, но видения не мучили его, а тут...

— Вы за все ответите по закону! — закричал ни с того ни с сего двойник Ивана. — Это терроризм! Это бандитизм! Да как вы смели!

— Смели, молодой человек! — Иван быстро подошел к своему двойнику, ухватил его крепкой рукой за загривок, сунул к губам превращатель. Правитель-Иван был столь же силен, как и он сам, но у него не было такой воли, у него не было навыков и умения владеть таким телом, и он был бесконечно слаб перед Иваном подлинным.

— Вы ответите... — выдохнул он визгливо.

И стал ссыхаться, уменьшаться, сморщиваться, перекащиваться, зеленеть... через минуту рядом с Иваном стоял взлохмаченный и жалкий, кривобокий и сухорукий Правитель — иуда, подлец и выродок.

— Ну, теперь ты веришь мне?!

Иван швырнул Правителя на ковер. Тот упал и застонал, запричитал, забыв про все угрозы свои, про закон и ответственность, «террористов» и «бандитов». Правитель был жалок, мерзок и смешон. Иван бросил на него мимолетный взгляд, и передернулся — будто не Правитель, бывший Правитель Великой России скорчился на зелено-вато-пожухлом ворсе, а омерзительный и гадкий крысеныш из преис-

подней Авварон Зурр бан-Тург, подлец и негодяй... Нет, это только показалось, только показалось.

– Теперь я верю тебе!

Глеб широко и открыто улыбнулся своей детской, простодушной улыбкой. Подошел вплотную, крепко сдавил Ивана в объятиях, прижался небритой щекой к Ивановой щеке, вздрогнул... и сдавил еще сильнее.

Потом вдруг отпрянул, ткнул кулаком Ивану в широкую грудь и выдавил обиженно сквозь улыбку:

– Вот, черт, не мог предупредить заранее, всегда ты так!

Овinnик



СНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Анатомия ужаса

«Раздался петушиный крик. Это был уже второй крик; первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна и двери, чтобы поскорее вылететь но не тут-то было: так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах».

Н.В. Гоголь. «Вий»

• • •

– В своей Первой Жизни я был Неудачником! Да! Да! Неудачником! Я был Неудачником с самого рождения! Начнем хотя бы с того, что я не знал материнской груди. Я был искусственником, и в то время, как другие пухленькие розовые младенцы теребили губами пористые материнские сосочки, я грыз своими голыми деснами резиновую болванку, натянутую на горло склизкой бутылки.

Или возьмем тот факт, что родился я в сентябре месяце, и когда пришла пора идти в школу, выяснилось, что учиться я пойду на год позже своих дружков, так как мне не было семи лет!.. Дружки издевались надо мной, дразнили «дебилом», а затем и вовсе вышвырнули из своей компании. В итоге я потерял целый год Жизни! Окончив школу, я поступил в торговый техникум, но вскоре бросил его: меня тянуло к науке, а приходилось заниматься изучением пошлого дефицита. Этот год и еще два – служба в армии – так же потеряны! Потеряны навсегда! Есть ли большая Неудача, чем Утрата того Времени, что отведено нам на Жизнь?

Институт! Вылетел с третьего курса по собственному желанию нового декана, который, один раз увидев меня, невзлюбил на всю оставшуюся жизнь!

Имея массу гениальных идей в голове – устроился в лабораторию. Идеями занимался дома – в лаборатории приходилось пахать на иван-иванычей и семен-семенычей. Вскоре прервались и домашние работы – женился... Прямо скажу: при всех своих пухлых, мягких формах каждая женщина по сути своей – кованый каблук! Теперь я понимаю чувства червяков, которых мы, не глядя, размазываем по асфальту. Семейная жизнь выбила из меня все гениальные мысли, выжгла во мне все эмоции, спалила Веру в Любовь и в Человека.

Я научился сворачиваться кольцом и уползать в темный угол, чтобы там предаваться розовым мечтам. Так я потерял еще пять лет. Нервный стресс (спасибо семье) швырнул меня в больницу. Извиваясь на белых простынях, я проанализировал свою Первую Жизнь и отказался от нее: уволился с работы, развелся с женой, обменял московскую квартиру на маленький домик в городе «Х» и устроился уборщиком подъездов в один из немногочисленных высотных домов города. Каждое утро я трачу два часа на очистку мусоропровода от вонючих помоев, которые ссыгивают туда зажравшиеся жильцы дома, мою лестницы, истоптаные их немытыми копытами. Меня тошнит, выворачивает наизнанку. Вернувшись домой, я блюю каждый день до крови, но затем прихожу в себя, умываюсь: впереди целые сутки и я могу заняться исследованиями. Это и повторить приятно: могу заняться исследованиями! Это моя ВТОРАЯ ЖИЗНЬ. В ней я более-менее счастлив. Цель моих поисков – сделать счастливым все Человечество!

Не много ли для Неудачника?.. Не много! Все-таки я не круглый Неудачник! То, что я родился и увидел этот свет – больше Удача, чем Неудача! А разве можно назвать Неудачей Момент, когда, почти захлебнувшись в трясине Первой Жизни, я все-таки выцарапался из нее?.. Круглые Неудачники – это те, кто или не сумели родиться вообще, благодаря противозачаточным средствам или онанизму их родителей, или те, кто отбросил копыта сразу появившись на этом свете. А раз я не погиб, как миллионы, миллиарды, триллионы других сперматозоидов – значит Судьба дала мне Шанс! Значит где-то меня ждет Удача! И вот сегодня я притянул ее к себе на аркане бессонных ночей, головных болей, полуголодной жизни и тысячей всевозможных Опытов. Я притянул Удачу, несмотря на всю ее изворотливость и попытки ускользнуть от меня. Я обвили ее своим судорожным телом и никуда не отпушу! Я сделал Открытие! Я обнаружил Душу.

В Детстве мне был Сон: я видел Розовые Куши, среди которых грустно бродили голые синие люди. Они бродили молча, не разговаривая и не глядя друг на друга. От них веяло какой-то смертной тоской... Внезапно раздался Трубный Глас. Тела людские застыли и, вспыхнув фиолетовым пламенем, растворились. А на их месте заплясали клочковатые переливающиеся огоньки. Огоньки порхали, переплетались, кружились вокруг друг друга, и это было такое впечатляющее зрелище, что я не мог оторвать от него глаз. Я понял – передо мной Души Людей. Проснулся я внезапно, потому запомнил Сон, и весь день ходил, сохраняя в себе атмосферу блаженства, которое испытывал при виде порхающих огоньков... Тогда-то я и задумался – а есть ли в Человеке Душа? Во многих научных книгах ответы сводились к тому,

что Души нет, поскольку никто и никогда ее не видел. Чушь собачья! Что мы можем видеть теми двумя дырками, что у нас между лбом и щеками? Только то, что МОЖЕМ видеть! И не более!.. Душа в теле – это не пар, прущий из котла. Душа – это Энергия. А любая энергия, из-ви-ни-те, материальна!... А если она ма-те-ри-аль-на, значит ее можно сделать видимой! Надо только найти ее проявитель. Я вгрызся в книги, я рылся в детских сказках, я листал старинные и современные философские трактаты, торчал как гвоздь на сеансах экстрасенсов и выступлениях гипнотизеров, заводил разговоры с гадалками – я выуживал все, что касается Души. Я ненавижу поэзию, но я набросился на нее, как золотоискатель на горы песка. На это ушли многие годы моей Второй Жизни. Я систематизировал эти знания, изучал их и начал Опыты: я кормил мышней, лягушек, птикопеевых цыплят кормом, смешанным с различными вариантами Красителя, а затем резал их пачками, надеясь увидеть выползающую из Оболочки Душу. Я привык не спать по ночам. Я привык, что мои руки по локоть в крови, я привык видеть Танец Агонии. И я не чувствую себя ни садистом, ни изувером, ибо мной всегда руководило Благое и Светлое Желание сделать Подарок Человечеству – найти его бессмертную Душу.

А вчера, поздним вечером, я почал очередную партию мышек, откормленных новым вариантом Красителя... Когда проткнул скальпелем первую сморщенную мышь, перед моими глазами запрыгали непонятные хвостатые огоньки, которые тут же вяло погасли. Переутомление, решил я. Дико хотелось спать. Я плеснул на лицо холодной воды и пригвоздил к столу вторую мышь. И снова хвостатые огоньки заметались передо мной, слились в мерцающий медузообразный ком и растворяли в воздухе. Мышь еще трепыхала лапками. Ломило в затылке.

Я плюнул, закрыл клетку с мышами и двинулся спать... И тут мой мозг содрогнулся, как от разряда тока: «А если это Душа?» Я выхватил из клетки пищавший серый комок... Хвостатые огоньки вспыхнули передо мной, как праздничный фейерверк! скучились в крошечный дрожащий букетик! и растворились в темноте! Вот оно! Я не мог остановиться! Я упивался зрелищем дрожащих Душ! Затем я рухнул на постель, как был – в крови и мышиных кишках, и мне снова явился Сон Детства.

Я ликовал, видя порхающие огоньки, ибо ощущал теперь свою Власть над ними!

• • •

...Моя Вторая Жизнь увлекательна – она заставляет меня выкидывать такие трюки, на которые в своей Прошлой Жизни я не был способен. «Рискуй! – вопит она мне. – И все в твоих руках!»

И я старался. Я вылавливал на улицах все живое, что летало, бегало, ползло по ним. Я кормил собак, голубей, ворон и других тварей Красителем, и затем выпускал из них Души... Их Души мерцали передо мной, тыкались как слепые утятя в разные стороны и затем рассыпались звездным дождем. Сотни опытов показали, что Душа может переходить из одной Оболочки в другую, если последняя в СОСТОЯНИИ ШОКА или СТРЕССА, что старые Оболочки неохотно принимают новую Душу, что чем МОЛОЖЕ ТЕЛО, ТЕМ ЛЕГЧЕ ВСЕЛЯЕТСЯ В НЕГО НОВАЯ ДУША! Она лавой врываются в Оболочку и выдавливает оттуда, как из тюбика, все жившее Там. Бывшая Душа бесится, вьется кометой вокруг уже не своего Тела, ищет, куда бы приткнуться, и изыхает, как паршивый пес на живодерне. Одно только не давало мне покоя. Одно, без чего всю мою Работу можно считать неоконченной: я должен увидеть перед собой ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ДУШУ. И я решился.

На чердаке своего дома я наткнулся на старые картины, собрал их, прикупил мольберт, краски, кисти; изменил внешность и уехал за город. Пристроился я в дремучем лесу, возле глухого пионерского лагеря.

Неделю жил в палатке, питался погаными консервами и целыми днями торчал перед мольбертом, делая вид, что рисую...

Этого Мальчика я заприметил сразу. Он был не похож на других детей. Другие прыгали, бегали, визжали, а он всегда пасся в стороне, словно искал что-то. Я видел, как он часами стоял, задрав голову в небо или уставясь на какой-нибудь раскоряченный ствол дерева.

Однажды он подошел к моей палатке и замер, просто застыл перед картиной, которую я выставил на улицу. Эту малевань с чердака я захватил с собой на всякий случай. Какой-то чудак в эти картинки, видимо, всю Жизнь вложил. Никогда не понимал и не пойму тех, кто может тратить Свое Время на подобную белиберду. Мальчик застыл возле этой стряпни. Я с ним заговорил. Мальчик отвечал изредка, неохотно, не отрывая глаз от картины. Он стал приходить ко мне каждый день. Я вытаскивал какую-нибудь новую мазню, а этот дурачок утыкался в нее взглядом и замирал, как сурок в пшеничном поле. Я угождал его бутербродами, пропитанными Красителем. Он поглощал их механически, без аппетита. Интересовали его лишь картины. Он явно был не от мира сего.

Прошло несколько дней. Краситель вошел в плоть и кровь этого Мальчика. Но мне нужен был еще один день для завершения Экспе-

римента... Мне нужен был еще один день, а картин больше не было. Я боялся, что Мальчик не придет – он появлялся здесь только из-за них... Я попрощался с ним и пообещал, что назавтра он увидит Необыкновенную Картину! Он кивнул мне и поплелся в свой инкубатор. Я весь дрожал... я боялся, что все пойдет наスマрку. Мне нужно было время, чтобы Краситель сработал наверняка. Мне нужна была еще одна Картина!.. Я сидел у костра и меня тряслось от злобы. Все! Вся Жизнь моя летит к черту из-за какой-то мазни!

Я схватил одну из старых картин и швырнул в костер! Она вспыхнула фиолетовым пламенем: словно Душа ее Создателя трещала передо мной в ненасыщенном огне... Я не заметил, как в моих руках оказались кисти, краски и палитра... я замазал первое попавшееся пыльное полотно таким же огненно-фиолетовым цветом. Что еще? Я плеснул из тюбика ядовито-зеленую краску – она зазмеилась по поверхности зловонной струйкой. Я испугался, что все испортят, и принялся превращать струю во что-нибудь на что-нибудь похожее. Никак не ожидал, что получится ЧЕРВЯК... гнилой, ядовитый Червяк. Я снова вцепился в кисть. Мной овладело Неистовство!.. Я весь трялся от какого-то неизъяснимого Чувства. Червяк! Ядовитый Червяк! Не то, не то, не то... Вот! Я пририсовал Червяку огненно-красные глаза. Бред... так не бывает... ну и черт с ним – у меня будет! Что еще? Мощные крылья! Горящие желтые когти! Был Червяк, стал Дракон! Дракон над миром! Властелин! Горы должны быть маленькими. И еще меньше – люди. Множество голых, синих, разбегающихся в панике людышек... и... и клочковатые огоньки, которые испуганно трясутся за удирающими оболочками. Теперь я знаю, чей Трубный Глас был мне во сне! Теперь я постиг, что такое Предопределение! Судьба! Вот мой Шанс спасти Мир, став над ним!

...Я не заметил, как рассвело. Я не мог уснуть... я ждал... я ходил кругами вокруг палатки... у меня сводило грудь от нетерпения.

Мальчик пришел как обычно. Я выставил картину. Он застыл возле нее... буквально прилип к полотну... Я заметил, как в каком-то нервном ознобе дрожит его тело. Он повернулся ко мне. Я увидел его бездонные Глаза... Он прошептал: «Это... вы?» – и снова, словно загипнотизированный, уткнулся в полотно. Я достал из кармана скальпель и стал заходить за его спину...

Еще раз повторяю, я не считаю себя ни садистом, ни изувером, ни живодером, ибо мной всегда руководило Благое и Светлое Желание сделать Человечество счастливым! Мне нужно было закончить Эксперимент!

Мальчик соскользнул в траву как лента, которую мы пытаемся поставить вертикально.

Это был чудный Мальчик. Его Душа вспыхнула Радугой. Она дрожала передо мной в воздухе. Она растаяла в голубизне Неба. Мне показалось даже, что я услышал Дивную Музыку...

Тело я сунул в специально приготовленный рюкзак... Все вещи были уже уложены. Палатку я собрал мгновенно... Через час я был далеко от этого Места. В сыром паскудном овраге я переоделся, умылся, сложил все свое старье, палатку, кисти, краску, рюкзак с Оболочкой Мальчика в одну кучу, которую обильно полил бензином и поджег... Еще через двадцать минут я ехал в переполненном автобусе в противоположную от своего города сторону. На далекой заплыванной станции я сел на «дизель», с него перескочил на электричку и к вечеру был дома.

Я счастлив: все получилось!

• • •

Через час я иду на неслыханный Риск!

Я заметил их давно. Симпатичная пара: муж и жена. Молодые папа и мама. Константиновы Ольга и Юрий. Здоровые, крепкие Оболочки... Неделю назад у них родился Я! БУДУЩИЙ Я! Они об этом еще не знают. Своего мальчика назвали Женькой. Что ж: вчера я оформил доверенность на КОНСТАНТИНОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВИЧА – что в год своего совершеннолетия в его собственность переходит мой теперешний домик со всей лабораторной утварью... Через восемнадцать лет я продолжу там свои работы... ЕСЛИ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ... Риск огромный, но меня больше пугает срок: придется начать все с младенчества – СТАРЫЕ ОБОЛОЧКИ НЕОХОТНО ПРИНИМАЮТ НОВЫЕ ДУШИ. Только бы не забыть – кто я!

Я наблюдаю за ними. Их излюбленное место для прогулок с ребенком в парке за трамвайной линией. Они гуляют там в строго определенное время – интеллигенция.

Сегодня один потертый, сморщеный человек в изношенном коричневом пальто перед самыми их ногами попадет под трамвай головой вперед... Мать, конечно, завопит. Отец вздрогнет. ИХ СТРАХ ПЕРЕДАСТСЯ РЕБЕНКУ! ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ РЕБЕНОЧЕК ЗАКРИЧАЛ ТАМ ЖЕ – НА УЛИЦЕ. Душа может переходить из одной оболочки в другую, если последняя В СОСТОЯНИИ ШОКА ИЛИ СТРЕССА. Главное, чтобы он ЗАКРИЧАЛ!

Я ненавижу Несправедливость! Я ненавижу Несправедливость во всех ее проявлениях! А что я вижу в Жизни? Бог с ним, если Сильный давит Слабого – это Селекция! А вот когда Посредственность уничтожает Талант, когда Тупость сжирает Идею – это несправедливо! Сколько таких одиночек, как я, корпят ночами над глыбами книг, над

стеклами микроскопов, строчат романы, копаются в кишках, а потом не в силах пробить ни строчки из того, на ЧТО ушла их Жизнь!.. Кто поможет этим запаршивевшим, тлеющим в своих лабораториях, как в ямах, людям?.. Я выручу Человечество из Плена Дубизма! Я научусь перемещать свою Душу из одной оболочки в другую! Я пройдусь по душам бюрократов, как по Дерибасовской!

ТОЛЬКО БЫ РЕБЕНОЧЕК ЗАПЛАКАЛ!

• • •

– Не забыть, Кто я... не забыть, кто я... не забыть... не забыть (отчаянно), Кто я?.. Кто я?.. КТО Я?!

– Как же мне, Илья Муромец, со гроба повыйти?

– Доктор, что с ним?

– Ничего страшного – просто беспокойный ребенок. Подвижная психика...

– Кто я?.. кто же я?.. я не червь! Я – человек! Не спать! Не спать! Чушь собачья! Что мы можем видеть теми двумя дырками, что у нас между лбом и щеками?! Только то, что можем видеть! И не более!

– Идите за мной и я сделаю вас ловцами человеков!

– Бери меч, Илья Муромец, секи ведь, да секи эти обручи! Да надо со гробу повыйти мне!

– Душа – это энергия!.. Душа – это энергия!.. Душа – это энергия! А энергия, из-ви-ни-те, материальна! А если она материальна, значит ее можно сделать видимой!

– Да не волнуйтесь, мамаша, зубы у него режутся...

– Илья, припади-то ко гробу, ко щелочке – я вздохну тебе да прибавлю силушки.

– Помни, помни, помни: эксперимент требует человека!.. Все вы оболочки! Не бывает червяка с красными глазами?.. Я буду! Был Червяк – стал Дракон! Дракон над миром! Властелин!

– Доктор, у него взгляд взрослого человека!

– У всех детей взгляд кажется взрослым...

– Закрой глаза... спи, но не засыпай... держись!! помни, кто ты. Помни, кто ты!

– Каб припал ты, Илья Муромец, дохнул бы я в тебя ВЗДОХОМ МЕРТВЫИ, уснул бы ты у гроба ведь... а я через щелочку... тс-с-с...

– Ты хочешь влезть в мою оболочку, Святогорчик-богатырчик? Не пущу! Не пущу!..

– Приду я к вам в образе Сына Человеческого, а вы и рады будете...

— Я не считаю себя ни садистом, ни живодером, ни изувером — ибо мной всегда руководило Благое и Светлое Желание сделать Человечество счастливым!..

— Он совсем не касается игрушек. Он не слушает сказок.

— Батюшка, прости меня! Грех попутал, конь убежал! А колдун хлопнулся о сырь землю, сделался серым волком и пустился в погоню: вот близко, вот нагонит!

— Это был чудный Мальчик! У него была Чудная Душа! Она вспыхнула Радугой! Она дрожала передо мной!

— Конь прибежал к реке, ударился оземь, оборотился ершом и бултых в воду, а волк за ним Щукою...

— Трансформация! Трансформация человеческой оболочки! Думай-думай. Это же перспектива... Но биться о сырь землю?! больно! больно! больно!!! Сегодня один потерпший, сморщеный человек в изношенном коричневом пальто перед самыми их ногами попадёт под трамвай головой вперед!.. ТОЛЬКО БЫ РЕБЕНОЧЕК ЗАПЛАКАЛ!

— Ну успокойся, успокойся... это же сказка... На самом деле Серый Волк далеко в лесу. Маленьких мальчиков он не ест...

— ТОЛЬКО БЫ РЕБЕНОЧЕК ЗАПЛАКАЛ!

— А колдун обернулся ПЕТУХОМ, закричал на весь Мир, и бросился клевать... А одно зерно обернулось...

— Никак не ожидал, что получится червяк: гнилой, ядовитый червяк!

— Это вы?

— Это был я! Это всегда буду я! Я буду скользить из оболочки в оболочку! Я познаю Человечество во всех его Добродетелях и Пороках!

— Ты монстр!

— Кто сказал?.. Я слышал чей-то голос?.. Никогда не знал, что Земля так чудовищно пахнет... Что это?.. Гул Времени, которое надвигается на меня?

— В чем виновато дитя чистое и непорочное, что ты изъял Душу его и распылил во прах?!

— Но мне нужно было закончить Эксперимент? Мне нужно было закончить Эксперимент!.. Главное не разговаривать во сне!.. Главное — не разговаривать во сне!

— Не касайся больше Души моей своими подлыми пальцами! Не заставляй думать о тебе, верить в тебя или ненавидеть тебя!

— Теперь я знаю, чей Трубный Глас был мне! Теперь я постиг, что такое Предопределение! Судьба! Вот мой Шанс спасти Мир, став над ним!

• • •

– Первая и Вторая Жизни – в общей сложности 50 лет... Плюс еще семнадцать! Шестьдесят семь лет, а я по-прежнему юн. У меня никогда не было такого крепкого, здорового тела... Семнадцать лет, как сплошной кошмар. Вечный, парализующий Страх – НЕ ЗАБЫТЬ СЕБЯ и НЕ ВЫДАТЬ СЕБЯ! Я просыпался от собственных криков, проклятий, судорожного бормотания, испуганно водил глазами: не подслушал ли кто мои мысли?.. Но вокруг торчали мерзкие физиономии моих новых «родителей». Они переглядывались и агукали мне. Кретины! Они агукали, а я думал: «Слава богу, что мой язык пока не слушается меня. Слава богу, что мои руки и ноги не подчиняются мне... Главное – не выдать себя!»

Дальше я приспособился. Я стал притворяться во всем: играл в ребенка.. Как это противно – глотать теплую кашу и муштровать игрушки! Какое бессмысленное это время – Детство! Бессмысленное и никому не нужное! Меня тошило от всех этих сюсюканьи и умилений, пеленаний и кормлений. Когда ко мне подносили материнскую грудь, я содрогался от омерзения... Но приходилось играть в Сына, во Внука, в Постижение Мира. Я даже вошел во вкус этой Игры. Мне доставляло бешеное удовольствие задавать моим «родителям» сотни коварных «зачем» и «почему» и видеть, как они извиваются, чтобы дать мне полные и исчерпывающие и в то же время доступные моим мозгам ответы...

В школе я играл в Ученника: постоянно забывал, что дважды два – четыре, а не пять и не восемь; что «жи-ши» пишутся с буквой «И». Наконец в шестом классе я вздохнул свободней: позволил себе «увлечься» химией и биологией (так сказать, выявил свои наклонности). Это дало мне основание посещать читальные залы и изучать специальную литературу. К восьмому классу я стал круглым отличником. Родители гордились мною, но почему-то не любили смотреть мне в глаза... Записей я не вел – боялся разоблачения, но зато у меня было ВРЕМЯ ДУМАТЬ!.. Я многое постиг. Я понял, что нужно сделать, чтобы Человечество стало счастливым и гармоничным! Да-да! Гармоничным! Я нашел Путь к Гармонии!

Произошла Ошибка! Природа допустила Большую Ошибку! Как получилось, что Души Человеческие упакованы во Внутрь этих примитивных Оболочек и недоступны Взгляду со Стороны?! Где же Справедливость, если Подлая Слизкая Душонка имеет Прекрасное Тело, и наоборот – Душа Чистая и Светлая скрючена в Уродливой Поганой Плоти? Отсюда и Наше Недоверие друг к другу, и Наши Злобы, Зависть, Подлость и Неверие в Идеалы!

Я вижу Мир как колоссальный, сияющий золотом Дворец, вокруг которого бесконечными и гармонично-ровными рядами покоятся Оболочки. А в самом Дворце – Души! Светлые, Чистые Души порхают под его сводами, скользят в небесных хороводах, сияют солнечными радугами – этакий Рай в миниатюре!

А Души Гадкие, Подлые, Вонючие, Злобные – гнилыми медузами ползают по дну и пожирают друг друга...

А дальше Страшный Суд! Великое Расселение! Душам Прекрасным я дам и Прекрасные оболочки! А Душам Подлым – Плоть Дрожащую, достойную их самих!.. Великая Дифференциация!.. Это ли не Гармония!! Это ли не Идеал? Это ли не Разрешение Вечной Проблемы – КАК ЖИТЬ. Среди Розовых Кущ станут ходить Прекрасные Люди. Они создадут Прекрасные Произведения Искусства. Они будут красивы, благородны, праведны и счастливы. Они будут жить в белых солнечных Городах. А под их ногами, в подземных кривых коридорах, загнездятся колонии для Душ Подлых, не достойных именоваться Человечеством!

Удел Подлых – своим трудом содержать Прекрасное, Доброе, Вечное! Что? Не ново? Фашизмом попахивает? Достоевщиной?.. или чем-то в этом роде?.. Из-ви-ни-те! И Достоевский, и Ницше, говоря о Сверхчеловеке и Тварях Дрожащих, могли только предположить КТО ЕСТЬ КТО! Отсюда и возможность Ошибки, отсюда и НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ! А мы-то будем все ЗНАТЬ ТОЧНО!.. И не только знать, но и корректировать это Знание ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКОЙ!

Мне не нужно столько человек, сколько живет сейчас. Достаточно двух-трех миллионов. Пусть матушка Земля этих прокормит. Эти два-три миллиона делим на Праведников и Подлых! А остальные пусть ждут своего Часа во Дворце! В том самом Дворце, который будет сиять посреди червивого яблока, именуемого планетой Земля. Страшный Суд станет той Периодической Проверкой на Чистоту Душ: если хоть пятнышко появится у Праведника – из плоти вон на выгнанье, или в распыл... Подлая Душонка порозовела? Что ж – каждому свое – розовой, голубей, тянишь к Идеалу! Станешь лучше – будешь Человеком во плоти! Мы Душу каждого рождающегося ребенка проверим на чистоту! Этакая Всемирная Селекция! И как гарантия Успеха, над всем эти Миром космическими глыбами зависнут: Кара – за Грехи и Блаженство Существования – за Праведность! Вот оно – Царствие Земное, к которому во все века стремилось человечество!.. Тс-с-с... Кто здесь?.. Иногда у меня возникает ощущение, что кто-то подслушивает мои мысли... Тс-с-с...

• • •

Еще в первом классе своей Новой Жизни я почувствовал этот сверлящий взгляд в спину... С тех пор все года я ощущал ее ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ к себе. И не только ее: у женщин, прямо-таки, дьявольский нюх на Тайну! Я физически ощущал их ненасытное желание влезть в меня и там пройтись своими крысиными носами по тайникам моей Души... Хотите иметь Власть над женщинами – никогда не раскрывайтесь перед ними, будьте для них вечно загадочным Сфинкском. В противном случае вас размажут изящным каблучком по асфальту Жизни... Во мне есть Тайна (разве моя Прошлая Жизнь – это не Тайна?). Поэтому я постоянно чувствовал на себе липкое женское Внимание. Я уверен, что Любви у этих созданий нет – им все заменяет Любопытство! Они не способны на какие-либо возвышенные Чувства... ЭТА преследовала меня с первого класса, а к семнадцати годам ее внимание ко мне стало особенно болезненным. Она сделала все, чтобы заставить мою Оболочку забраться к ней в постель. Неужели она думает, что этим можно удержать мужчину в своей власти?.. Мы встречаемся у нее дома, и очень любопытно наблюдать, как наши Оболочки, дрожа от возбуждения, свиваются и переплетаются в немыслимые сладострастные конфигурации... Моя Оболочка содрогается в любовных корчах, а я, словно бог, парю над всеми этими зигзагами похоти... Я совершенно спокоен, независим от страстей своей Плоти, и это придает всему происходящему еще большую пикантность... О, какие слова звучат там, какие ласки овеают мою Оболочку. Я даже позавидовал этому молодому упругому Телу, моему сегодняшнему пристанищу. В Прошлой Жизни меня никто так не ласкал. И, знаете, я почувствовал некое Раздвоение в себе. Помимо холодного безразличия к Марии (экое библейское имя дали этой свистушке) во мне появилось какое-то Новое Чувство – очень мощное, бурлящее, но... не мое! Может, это половые инстинкты грешной Плоти дают о себе знать?.. Я пошел на эту связь с Марией не из-за прихотей Зудящего Похотью Тела: мне нужно на ком-то проверить свои Будущие Опыты – мне интересна Трансформация Человеческой Плоти (можно ли превратить человека, к примеру, в червя... и наоборот; можно ли впихнуть Человеческую Душу в оболочку собаки; и заключительной ступенью моих Опытов будет создание Прибора, способного изымать Души из Оболочек на расстоянии... То есть мне нужен соратник, преданный мне Телом и Душой! Мария, вроде бы, подходит... Как Мальчик?.. Кто сказал?.. Забудь-забудь-забудь его! Он БЫЛ НУЖЕН ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА! Это не убийство! Иначе мы всех ученых, которые в своих работах связаны с человеческим материалом, должны

считать садистами и убийцами!.. Я старался забыть тебя, Мальчик! Представить Прошлое Тяжелым Больным Сном! Прошлое и есть Сон – Реальное переплется с Придуманным, с Желаемым, и со Временем невозможно понять – что же было на самом деле, а что является порождением Фантазии! Тебя нет, Мальчик, как нет и того Младенца, который заплакал возле трамвайной линии – ВЫ СОН! КОШМАРНЫЙ СОН! Вы всплеск моего больного Мозга! Есть только я!

Я один!.. Кто здесь?.. Мария?.. Ты?.. Что случилось?..

– Я... я жду ребенка...

– Что?.. Не понял...

– У меня... у нас будет ребенок...

Черт. Надо что-то делать, что-то придумать. Влип по-дураски, дитя шестидесятисемилетнее.

– Ты это серьезно?

–

– Что будем делать?

– Я не знаю...

– Я тоже не знаю... (Руби на корню, болван. Это очередная попытка подмять тебя под кованый каблук. Да и кого она может родить от тебя? От тебя – чьи Душа и Тело не живут, а существуют!.. Дьявола?.. Ха-ха-ха! Богородица с дьяволенком на руках! Да и какая она, к черту, богородица!) Значит так: если хочешь быть со мной, то чтобы ребенка не было...

– Как?

– Как хочешь! Как получится! Как сумеешь! Он мне не нужен! Все! (Ничего – перетерпит! Аборт – это не самое страшное в Жизни. Они сейчас лепят abortionы, как блины пекут. Потом еще спасибо скажет. Но надо быть осторожнее... не разменивайся... Помни о Преднарочтании!) Ну что уставилась? Я тебе сказал – все! и свободна! И ничего здесь мокнуть! (Ух, как трещит голова.)

• • •

Голова... Трещит голова... Ощущение, что я раздавиваюсь... Кошмарные Сны Детства. Там тоже случилось такое... Плач... невнятный дебильный лепет... перед глазами лопающиеся пузыри... в ушах свист Времени... Голоса... Словно через меня прет целый Мир с его звуками... Приступы тошноты... Какая-то эпилептическая дурнота...

Временами мне кажется, что я вот-вот ударюсь в безумном припадке. После разговора с Марией меня душит дикое Негодование... Но это НЕ МОЕ НЕГОДОВАНИЕ! Меня трясет от Ненависти к себе, но это НЕ МОЯ НЕНАВИСТЬ! Откуда все это?.. Кто здесь? КТО ЗДЕСЬ?

— Я...

— Ты?.. ты жив? а как же... а почему?.. впрочем, чего я нервничаю? Это можно было предвидеть. Значит я НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫДАВИЛ ТВОЮ ДУШУ, что-то осталось, уцепилось и тихим сапом проросло... То-то я все время чувствовал, что кто-то меня подслушивает, лезет в мои мысли...

— Ты должен оставить мое Тело!

— Разбежался. Что ж, мне вольным ветерком да в форточку?.. Петретеришишь!.. Доведу свои Опыты до конца, а там отдам тебе твою поганую оболочку...

— Подонок!

— Тебе видней. Ты же, можно сказать, семнадцать лет изучал меня одновременно со стороны и изнутри... Подонок так подонок... Но сейчас Мой Шанс в Жизни и я его не упущу!

— А о моем Шансе ты не думал? Или о Шансе того Мальчика, которого ты...

— А кто вы такие, чтобы о вас думать? Будем считать, что вы Круглые Неудачники в Жизни!.. Впрочем, у тебя будет Шансик. Так и быть – я оставлю тебе твою Оболочку. Дай только закончить Эксперимент. Я перескачу в другое тело и поминай, как звали.

— Ты меня не понял. Я считаю, что ты должен покинуть мое Тело и умереть!

— За что же такое суровое наказание?

— За то, что ты подонок!

— Ну-у... быть подонком – это еще не преступление! Подонков у нас миллионы. Если всех начинать уконошивать – это будет похоже на геноцид. А если ты насчет ТОГО Мальчика, так в ЕГО СМЕРТИ БЫЛА НЕОБХОДИМОСТЬ! А если ты насчет Царствия Земного, если ты дрожишь за людышек с их душонками, то опять я здесь не одинок. Что, собственно говоря, есть вся История Человеческая, как не БОРЬБА ЗА ДУШИ ЛЮДСКИЕ? Испокон веков за ЭТО боролись... Именно за ЭТО. Разве грызня мусульман с христианами – не борьба за Души?.. А подвиги и страдания миссионеров? А фашизм не предполагал ломку Душ и их подчинение себе? А святая инквизиция за что воевала? За золотишко, что ли?.. На кострах трещали и люди, и книги! Какая разница? Да никакой! И там, и там горели Души!.. Что страшнее – уничтожить, к примеру, народ майя или их книги, обряды, культуру, знания, память? Именно поэтому сознательно уничтожались античные библиотеки, скульптуры, выкорчевывалось все из сознания людей!.. Так что, дорогой мой, МНЕ НУЖНО БЫЛО ВЫДАВИТЬ ТВОЮ ДУШУ для того чтобы сохранить свою. Другого пути у меня не было. К тому же, разве тебе было плохо со мной? Благодаря

мне ты столько познал... А какие удовольствия ты испытал, когда я сводил твое Тело с Телом той же Марии? Разве не ты свивался спиралью от сладострастных судорог?.. Конечно, ты меня ненавидел, но разве ты не сопереживал всем моим сокровенным замыслам?.. Отдай должное – они были заразительны, и, наверняка, их семя ты носишь в себе.

– Да... ты развратил меня.

– Что поделаешь: я же не догадывался, что ты существуешь... И знаешь к какой мысли ты меня подтолкнул?.. Послушай, тебе, наверно, это будет интересно. Многих великих людей посещала «божественная болезнь» – так, по-моему, эпилепсию называли? А не есть ли эта болезнь БОРЬБА НЕСКОЛЬКИХ ДУШ В ОДНОЙ ОБОЛОЧКЕ? Иначе чем можно объяснить гениальные проблески, прозрения, предсказания? Македонский, Цезарь, Достоевский, Магомед... Откуда идут все эти семена? Стоп! Вспоминай! Вспоминай! Это был один из снов...

• • •

– Братья и сестры! К Вам обращаюсь я – Верховный Жрец Острова. Сегодня произойдет то, что даст бессмертную Славу Нашему Роду и Вечную Жизнь Вашим Душам!

Во Славу Рода Нашего обрушили Мы силы свои на племена варваров, обитающих на бескрайних просторах Материка. Мы могли размазать их, как червей по каменистой почве, но мы потерпели Поражение, ибо в этом Поражении наше Будущее!

Братья и сестры! Род наш стал худ, тела наши истощились, кровь наша охолодела, и нас ждет бесконечно мучительное Вымирание... Но мы разнесли по всему свету слухи о Наших Богатствах, мы зажгли Алчность в сердцах бесчисленных варваров, мы отдали в Жертву Своих Сыновей и Братьев, ибо в их Поражении Наше Будущее! Тысячи кораблей окружили Наш Остров, сотни тысяч Ртов втягивают Жадную Слюну, миллионы Хищных Рук дрожат от Желания разграбить то, что накапливалось нашими Предками! Стai немытых, поганых варваров топчут Нашу Землю и грядут сюда! Но знайте – лишь коснется рука неверного Священных Стен Города Нашего – произойдет Великое Землетрясение и тела варваров будут обращены во прах, и Ваши Тела будут обращены во прах, но души тех, КТО ЗА СТЕНАМИ ГРАДА, расплавленной магмой оползут в бездонную Пропасть, где будет плач и скрежет зубов, а ДУШИ РОДА НАШЕГО, подхваченные невиданной доселе СИЛОЙ, ВОЗНЕСУТСЯ к небесам и РАСПЫЛЯТСЯ во Времени и в Пространстве! И сила эта создана Умом Человеческим и питаться она будет Верой Вашей! И Ужас ох-

ватит дрожащие тела неверных, злобной стаей сжимающих свои корабли вокруг Дома Нашего! И Души Ваши ВОРВУТСЯ в ПОЛНОКРОВНЫЕ ТЕЛА ИХ И ОБРЕТУТ НОВУЮ ЖИЗНЬ! И будете Вы пересекать Жизнь по телам варваров, как путник переходит бурную реку по высоким блестящим камням... Но помните: «Вот вышел сеятель. И когда он сеял, иное упало при дороге; и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые и, как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросли тернии и заглушили его. Иное упало на добрую землю и принесло плод!» Кто имеет уши да слышит! Кто имеет разум да разумеет! Я скажу, что сильные духом пронесут Знания Свои и Чувства Свои через Века, но НЕ БУДУТ ПОМНИТЬ, ОТКУДА ОНИ И КТО ОНИ. А слабые духом потеряют себя навеки. И да минуют Вас и тернии, и каменистые почвы, и хищные птицы, и да будете Вы иметь силы и умение переходить из тела в тело, проникать в Плоть Животных и Птиц, Трав и Дерев, Насекомых и Гадов... И пройдут века и способность Ваша будет угасать, и вновь станет Вашим Домом лишь немощная Плоть Людская, и через века приду я к Вам в образе Сына Человеческого, и мы верой своей и Знаниями своими вновь создадим невиданный порыв Энергии, и, пронзая Пространство и Время, вновь ворвемся в тела варварские – полнокровные и сильные! И Удивительные Судьбы пройдетете Вы! И будут Судьбы эти строками КНИГИ ВАШЕЙ ЖИЗНИ. И познаете Вы и Власть, и Славу, и Вдохновение! И Вашим Знаниям и Мыслям будут обязаны Будущие Века Человеческие!..

Братья сестры! К Вам обращаюсь я – Верховный Жрец Острова! Укрепите Веру Вашу, ибо близок Миг Вашего Вознесения!! Умастите Тела Ваши благовониями! Облачитесь в белые Одеяния! Возьмите в десницы Ваши пальмовые ветви! Наденьте на Главы Ваши Золотые Венки! Ибо близок Миг Вашего Бессмертия!

• • •

– Как? Массовое переселение Душ? Стоп! стоп! стоп! Что за Остров? Думай-думай-думай! Что за остров? Что мы знаем об Атлантиде? Атланты были разбиты где-то в районе Пра-Греции, победители вступили на остров, и остров исчез! Взорвался! Раскололся! Сгинул! Ах, какая случайность! Ах, какое совпадение! Ах, как все это прикрыто! Была создана невиданная по силе Энергия! Был искусственно вызван Шок у людей! И погибшие атланты совершили Неслыханное доселе Вторжение! Или все это Сон? А если не Сон? Что же это? На что я наткнулся? Я – что? – как приемник начал ловить времена-эпохи? Стоп! Выходит – я не первый... Дурак... Ой, дурак! Как же это я?! Не допёр до простейшего – все, что говорится о Душе –

ЭТО ОСТАТКИ ЧЬИХ-ТО ЗНАНИЙ! Куда ведут твои корни, жрец Острова? Так вот с чем боролся Христос?! Не эта ли болезнь рвет и мою оболочку? Пока Вторая Душа «торчала» и сопела в две дырки – все было нормально! Слабое шевеление и тошнота эпилептическая!

– А-а...

– Молчать! И неизвестно чем занимались в подвалах инквизиции – не ту ли задачу ставили и они: выявить материальность Души и способы проникновения ее в Другое Тело? Ведь докопались же до того, что бес может проникать в человека через рот и в состоянии Шока! И изуверские пытки и аутодафе – не есть ли это попытки вызвать массовый Шок? А колдуны Африки? А Будда со своими перевоплощениями? Стоп! А чего собственно я распиховался? Это ли не подтверждение моим опытам? Значит попытки были и Попытки удачные! Стоп! Выходит, что Я – это тоже Семя, заброшенное нам Оттуда? Что ж: Семя так Семя! Пророс – значит выжил! Значит – это Мой Шанс! Вот так-то, Мальчик – законное право, данное мне из Глубины Веков!..

• • •

Мой Мозг – как переполненный колдовскими варевами Чан – бурлит от Наплывающих Кошмаров Прошлого, Настоящего и Будущего... Они, словно изнемогающие от Похоти Черви, скручиваются в жирный, пульсирующий Клубок... Этот Клубок разрывает мой Чепр!.. Прекрати напоминать мне о Мальчике! Я не хочу видеть перед собой его Бездонные Глаза! Я не хочу... не хочу... не хочу, чтобы ты находился рядом!... Ты специально подтолкнул меня к Зеркалу, чтобы в Своем Отражении я увидел ЕГО ГЛАЗА! Ты специально подтолкнул меня к окну, чтобы я заметил Радугу, похожую на Душу этого Мальчика! Невыносимо!.. Что это? – Гул Времени надвигается на меня? Кто ты?.. Мария?.. В чем дело, Мария?

МАРИЯ. Все... Я убила ЕГО... Я сумела родить его одна, я сумела и убить его.

– ...

– Я завернула его тельце в газету, положила в ведро, завалила мусором и высыпала в помойный бак во дворе... Ты доволен?

– Ты говоришь об этом так спокойно?

– А что? мне нужно сходить с ума? рвать на себе волосы? орать благим матом: «Закатилось солнце... пардон... тельце нашей любви! Закатилось между кучами дерьяма на дэзовской помойке!» Я сделала, что ты сказал... Ты доволен?

– Доволен.

– Очень доволен?

– Я в восторге.
– Но ты же сам приказал, чтобы я это сделала!
– Ну я приказал, ты сделала! Чего еще? Ты хотела, чтобы я был с тобой – я буду с тобой!

– Тебе не жаль меня?

–

– Тебе не жаль его, тебе не жаль меня... Кто ты?

– Я?.. Я – бог.

– Ты дерьмо, а не бог! Ты бог?! Ты можешь понять, что испытала я, когда рожала одна, когда валялась без сознания посреди пустой квартиры, как врала своим родителям, которые нашли меня в беспамятстве, как вырывалась из рук врача, которого они вызвали. Врач определил, что были роды. Он сообщил в милицию. Слава богу, что мусорный бак был увезен, а на его месте стоял новый, слава богу, что на городской помойке слишком много бездомных собак, которые до приезда милиции успели сожрать тельце ребенка вместе с костями и газетой, в которую он был завернут! Слава богу, то есть слава тебе, что все ЭТО вообще случилось!? Слава богу, то есть слава тебе, что все ТАК произошло!? Слава богу, что я все это познала... Если бы я это не познала, я была бы менее счастлива!.. Кто ты? Кто ты? Чем ты так притягиваешь меня к себе и зачем так мучаешь? Зачем ломаешь мою Душу собой, своими поступками, своими размышлениями?.. Ты всегда улыбаешься, а я чувствую, что ты патологически зол. Ты красив, а я иногда ощущаю тебя Диким Злобным Старцем! Ты развратил меня так, как может развращать только очень опытный подонок! Ты раздвоенный, как язык змеи!.. Кто ты? Сегодня ты приснился мне в Образе Огромного Червя с бешеными, красными, как фонари, глазами. Ты летел над Миром и развращал Души Людей! Ты вырывал Души людские из их тел и огромными когтистыми лапами лепил какое-то мерзкое, смердящее Чудище! Кто ты?!

– А кто ты такая, чтобы меня об этом спрашивать?

– Я?.. Я убийца... я самая подлая тварь на свете... я таилась, я ревела по ночам... я любила и убивала его; я чувствовала, как хрустят кости его, как сжимается плоть его, как стонет во мне этот маленький живой комочек. Я покрывала лицо свое жирным слоем грима и пудры, чтобы скрыть бледность лица своего, и пятна на лице своем, и оранжевые круги под глазами своими... Я травила тело свое, глотая уродливые таблетки, я травила Его – свой маленький родной комочек... Он понял Судьбу Свою и смирился с Судьбой Своей... А сердце мое огненным солнцем жгло Душу мою и разрывалось между Любовью к тебе и Любовью к Нему... И настал Тот День, и я сделала все, что ты велел, и я сгубила тот маленький нежный комочек, который

носила в себе. Он успел вдохнуть в полглоточка, он успел взглянуть на меня в полглазика, он жалобно пискнул в руках моих, и хрустальная слезинка чистых глаз Его с печальным звоном разбилась о липкий линолеум темной квартиры моей... Я металась в горе и отчаянии, я не находила места себе, я истекала кровью и сознание покинуло меня... И увидела я в полнеба Глаза Матери своей и вздутие стекла слез в Глазах Матери своей, и волосатые бесконечные Руки Доктора, разрывающие желтый туман. И превратились Руки его в горящий огненный шприц, похожий на хищное Жало Осы. И он пронзил меня, и туман рассеялся и увидела я пальцы свои на шее ребенка своего... Мой маленький, мой родной комочек был жив еще... Его нежные пальчики вздрагивали в последней судороге горя... И дрогнуло Небо, и закружились в бешеной Пляске, и Черная Мгла окутала тело мое, и видела я, как упала с Неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и нала на третью часть рек и на источники вод. И имя этой звезде Полянь. И воды сделались Полянью... Я пила эти Горькие Воды, и тело мое корчило от страшных МУК ДУШИ МОЕЙ... И стала я саранчой черной и ненасытной, и пожирала я свое маленькое родившееся Дитя, свой маленький нежный комочек... И видела я синие тени людей, которые шарахались от моего черного Тела, и Плач и Мольбы Матери, гаснувшие за своей спиной. Верни мне Душу Мою! Верни мне то чистое и светлое, что ты вырвал из меня. И не касайся больше Души моей своими мерзкими подлыми пальцами... И не заставляй думать о тебе, верить в тебя или ненавидеть тебя, ибо с думами моими о тебе уходят силы мои, и силы мои питают тебя. Уйди из Памяти моей, ибо я чувствую, как Душа моя становится высохшей ржавой Былинкой посреди Бескрайнего Выжженного Мира. Кто ты?.. Кто ты? Кто ты, что посмел посягнуть на Душу мою, что нашел сильные и слабые стороны ее, и играешь на ней, как Дьявол на флейте?.. Кто ты? Кто-о ты?

– Вот! Вот! Вот еще одна сторона эксперимента: как владеть Душами людей, не изымая их из Оболочек; как найти те Зоны, которые вызовут в Душах людских Муки, от которых человек рад бы избавиться, да не в силах – не палец гниющий, не отрубишь!.. И наоборот: Зоны Радости! Этакий Душевный наркотик, душевный онанизм – постоянная потребность испытывать все новые и новые удовольствия, и ради них быть готовым на все!.. Но, боже мой, страс-сти-то какие! Кто бы мог ожидать, что эта соглядячка такие песни запоет и так складно?.. Да, я ошибся. В ней не душонка – в ней Душа. И, по всему, Душа мощная, раз способна на такие выплески, на такие Переживания! Из таких и вырастают Личности. Это не Манька с мыльного завода, у которой аборт входит в утренний мочион. Это Человек, плачущий о

загубленной Жизни Младенца! О смерти Будущего Человека! Это Душа, способная понять Чужую Душу!.. Вот для таких, как Мария, я и буду создавать Царствие Земное!

– Она не примет его...

– Что?

– Я говорю – Мария не примет твоего Царствия Земного.

– Ах, да... Оно же на слезинке Младенца... на кровушке построено... Ах, какие мы честные; ах, какие мы принципиальные; ах, какие мы гуманные... а я – нехороший... я есть Зло... Эй, ты – чистый и благородный – найди-ка в окружающем нас Мире Альтернативу мне!? Да если она и появится – вы ее тут же собственными руками распнете или спалите на костре! «Зло»! Дай мне довести Дело до конца и это «зло» Благом обернется! А на чем ты хочешь, чтобы Мир держался? На Добрे? Не было в Человеческой Истории такого никогда и не будет! Только то Человеческое Общество гармонично, которое построено на ПОСТОЯННОМ СТРАХЕ НАКАЗАНИЯ ЗА СВОИ ГРЕХИ!

– Но это уже было! Было! Где твое Гармоничное Общество, если Человечество всю свою Жизнь только на Страхе и держится!?

– Значит, не так было! Значит, нужно по-другому!

– И еще: ты забыл о способности Человечества ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ... Ты уверен, что обнаженные тобой Души не начнут мимикрировать? У тебя есть Гарантия, что они не ПОДСТРОЯТСЯ ПОД ТЕБЯ?

– Черт побери... об этом я не думал...

– А если им это удастся, то ты слепишь не Идеальное Человеческое Общество, а смердящее на всю Вселенную Чудище!

– Заткнись!..

• • •

– Мария... Здравствуй, Мария...

– Копытга...

– Что?

– Копытга... и сам ты поросший шерстью... ты Дьявол... ты ларец, скрывающий голубя... и кровь моя как ручей... вот она... звенит... Если я встану на колени – ты вернешь мне мое Дитя?.. Сгинь! Сгинь! Не надо обволакивать меня туманом – он душит меня! Сгинь! О боже!.. Зачем ты заставляешь меня плясать?!.. Какие вокруг чистые люди! чистое небо! белые дома! белоснежные Души!.. Одна я в крови своего ребенка! Вот вам! Вот вам! Вот вам! Всех-всех-всех... перемазала... А тебе идет кровь Младенца! Откройся, ларец! Выпусти голубя! Он-то в чем виноват? Но ты не ларец – ты Дьявол, поглотивший Душу, а Дья-

вол ненасытен, ибо нельзя Пустоту насытить! Берегитесь его, люди!
Берегите-есь!

• • •

– Кто ты?

– Сын Человеческий... Жил Мальчик. Душа Его была подобна Радуге. В чем виновато Дитя чистое и непорочное, что ты изъял Душу Его и распылил в прах?.. Вот Юноша невинный, чье Тело занято незаконно. В чем виноват Он, что ты искалечил Душу Его и захватил Тело Его? В чем виновато Дитя чистое и непорочное, плод ранний, что Плоть Его рвали псы голодные?.. В чем провинилась Душа Девы, любившей тебя, вступившей в прелюбодеяние с тобой, уничтожившей Плод Свой, сотрясшей Разум Свой, застывшей в Образе Саранчи, пожирающей Дитя Свое?.. В чем виноваты Живущие, не видящие Черных Помыслов твоих встать над ними?

– А что ты прешь на меня – ты, Сын Человеческий?! Чище меня, что ли? Праведник? Ручки чистые? Душа не запятнана? За кого ты меня держишь – за барана безмозглого из стада своего, пастьрь скрипучий?!

Ах – страдалец! Ручки-ножки проткнуты... Скажи мне, страдалец, – зачем ты на Голгофу взошел?

– Я пришел, чтобы отдать Душу свою для искупления многих...

– То есть, ты пришел взять на себя Грехи Человеческие?.. А не кажется ли тебе, Иисус из Назарета, что ты врешь наглым образом?!
Объясни мне – зачем ты бесов изгонял?

– Да было сказано через пророка Исаию: «Он взял немощи наши и понес болезни».

– Ой ли, Иисус из Назарета! Что-то быстро ты закончил свои благодеяния. Что ж ты не посвятил им всю Жизнь? Разве это не было бы Высшим Благом для людей, Заботой о них? Ах – ты не доктор! Тогда зачем взялся за врачевание? А не есть ли процесс изгнания духов из тел бесноватых, говоря нашим языком, устраниением конкуренции?

– Не понимаю слов твоих...

– Все ты отлично понимаешь... «Ибо зерно падает в разные почвы...» Ты постарался – выбрал себе Тело Младенца, вышиб Душу Его и угнездился там. А каково тем, кто попал в оболочки взрослых людей? Ты представляешь – каково двум Душам в одном Теле? Как рвут они Плоть людскую на Свои Желания?.. Ты думаешь – они, скопившись легионом в одном Теле, от хорошей Жизни заклинали тебя: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них?» Или они не чувствовали твоих намерений? Разве это не их слова: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? ты пришел погубить нас!» Ты боялся, что они

вспомнят, КТО ОНИ и ОТКУДА ОНИ! «Ибо сказано, что сильные духом пронесут Знания свои и Чувства через века, но не будут помнить, Откуда они и Кто они». Чушь собачья! У тебя не было гарантии, что они не вспомнят, и ты боялся, что они поймут, как ты обманул их – свою доверчивую паству – Верховный Жрец Острова! Вот ты и начал их устраниТЬ. Тут и басня о почве пригодилась! А потом нашел новый способ сохранить Душу в веках: прикрываясь личиной доброго дяди, болеющего за Грешное Человечество, ты взошел на Голгофу, чтобы, как ты выразился: «Вновь создать невиданный Порыв Энергии и вновь, пронзя Пространство и Время, ворваться в тела варварские!» А какую лапшу ты вешал на уши двенадцати дуракам! О любви к ближнему! О добре!.. Ты обвиняешь меня в погублении трех Душ Младенческих, а сам? Разве христианство – не есть попытка захватить Души Человеческие? Ты взошел на Голгофу, а твои двенадцать апостолов в тот момент, когда ты испустил Дух, создали в городе шоковую ситуацию!

– Не было этого.

– Как? разве ты не помнишь? «Вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу, и земля потряслась; и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших воскресли, и, вышедши из гробов, вошли в святой град и явились многим...» Ну? Что ты молчишь, Сын Человеческий? Где твое хваленое красноречие?

– Это было всего мгновение!

– Этого оказалось достаточно!.. Ой, как от тебя пахнет, Жрец Острова, Вселенским Эгоизмом! Я-то что? Я-то все мыслю в духе социалистической системы – не о себе, а о Гармонии! О людях! Об отборе! О чистоте Душ Человеческих! А ты, Иисус, или как там тебя – в твоей Первой Жизни – ты-то распылил Свою Душу, чтобы в каждом стать СОБОЙ! В КАЖДОМ ЗАРОНИТЬ СВОЕ СЕМЯ! А когда оно в веках прорастет – тут и Торжество Твое!.. Нет больше людей – есть ОДИН ТЫ: Единая Мировая Душа! Бессмертие! Блаженство Существования! Но ты забываешь, что Души Людские – почва в основе своей каменистая.

– Я помню об этом.

– И надеешься, что хоть в ком-то сохранившись в случае Неудачи?! Ну-ка, скажи мне, Сын Человеческий, какая наибольшая заповедь в законе?

– Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим...

– «Не заставляй меня думать о тебе, верить в тебя или ненавидеть тебя...» Неглупая девочка эта Мария... Если не разумом, то Душой поняла, что Вера – это Энергия, поддерживающая Жизнь Души. Пока

в тебя верят – ты жив, Жрец Острова, и ты не зря дрессировал двенадцать идиотов, и не зря пошел на Риск, являясь в телах разных людей, и знал, кого заставить работать на себя. Такие фанаты, как Павел, Петр, Иоанн свое дело сделали... В тебя верят, тебя помнят, о тебе молятся – дают Энергию, поддерживающую твою Жизнь!

– Человечество должно верить в Бога. Иначе во что ему еще верить?

– Человек должен верить в себя! и только в себя! в свой Мир! И только тогда никто не сможет покуситься на его Душу!

– Это тоже пахнет Эгоизмом!

– Это пахнет Личностью!

– Но как Человечеству поверить в себя, если ты встаешь над ним?

Твои искренние слова – не есть ли та самая «ложь наглым образом», в которой ты обвинил меня?

– Я повторяю еще раз: вся суть моего Эксперимента – сделать счастливым Человечество! Твой Эксперимент замыкается в одном тебе!

– А почему ты считаешь, что я не собираюсь осчастливить Человечество? Откуда ты знаешь мои Помыслы? Ты бог? Провидец?.. Что есть Благо для людей?.. Я постиг твои Мысли: они античеловечны! Они тот же Вселенский Эгоизм, в коем ты упрекаешь меня... Что ж, кто не со мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. И имя тебе – Антихрист!

– Да хоть горшок!

– И дела твои античеловечны!

– Как и твои, боже!

– Я покидаю Сознание твое...

– Уж сделай милость.

– И горько скорблю о тебе, ибо предвижу Участь твою, ибо ты многого не знаешь и не умеешь...

– Давай-ка, боже, без запугиваний!

– Не бойся воды, не бойся огня – бойся Чрева Темного и Слизкого. И будет тебе в нем уготована Мгла и скрежет зубов, и Тело и Душа твои будут истерты и растворены во Мгле Чрева...

– Топай-топай, пророк. Сказки будешь детям рассказывать!

– Не могу воспрепятствовать тебе, ибо я лишь в Сознании твоем; не могу помешать тебе видеть Прошлое и Будущее, так как Душа твоя в Измерениях Мира Нашего; не в моих силах убить тебя, но по лицу твоему вижу – не висеть тебе над Миром Драконом, не слепить людышек огнем красных глаз твоих, не владеть Душами их!

– Это почему же?

– Потому что ты – червь земной. Из Земли вышел – в землю и уйдешь!

– А ты?

– И я червь земной. Все мы черви земные, выползшие из недр Источенного Яблока Планеты Нашей. И каждому из нас уготована Своя Судьба... Прощай, Несчастный Человек, как скорпион жалящий самого себя. Ибо дано тебе будет увидеть Будущее, и не в силах этому Будущему ты будешь помочь.

– Стой, Иисус Назарянин! Раз Будущему надо помочь, значит, его ждет Гибель?

– Что есть Гибель? Переход из одной формы Бытия в другую...

– А если из Бытия в Небытие?

– Ты замыкаешься в одном Человечестве, несчастный. А я вижу шире Человека. Мир жил ДО НЕГО, Мир БУДЕТ ЖИТЬ И ПОСЛЕ!

– Так кто же из нас Антихрист?

– Прощай, СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ...

– Стой, Иисус из Назарета! Как же ты можешь говорить о Любви к Людям и, зная об их Гибели, не желать предупредить их?

– А вы поверите? Где Ваша Вера? Ты вслушайся окрест себя – разве не висит в воздухе Вечное Предупреждение? Вы все привыкли верить в Бога, от которого можно что-то получить, которым можно прикрыться, как щитом, ударить, как мечом!.. Ты прав только в одном – Человек должен верить в Себя и Себе, и Себе подобным! Он должен любить Себя и Подобных Себе, как Самого Себя! Тогда ему не нужен будет Бог, и тогда никто не сможет покуситься на Душу Его! Но все это невозможно, так как Человек есть Плевел на Поле Жизни... и я хочу, чтобы Поле Жизни было чистым от него.

– А может быть люди в конце концов исправятся?

– Может быть. На ЭТО Время у них пока есть...

• • •

– Слышал приговорчик? Что скажешь?

– Я отдам тебе свою Оболочку и на полгода, и на год, и, если хочешь, на большой срок; я буду молчать, я не буду шевелиться и мешать тебе.

– Короче, чего ты хочешь?

– Пойдем к людям. Ты расскажешь все о себе... Ты покажешь свои аппараты. Ты предупредишь их об Опасности... Я буду молчать и ни слова не скажу об убиенных.

– Ты спятил?! Во-первых, никто не поверит, а если и поверят, ты представляешь, какое Оружие ты даешь в Человеческие Руки? Ты уверен, что ЭТО ЗНАНИЕ поможет им?.. Нет. Здесь надо действовать

и действовать решительно. Ах, как он мне все карты спутал! Но он не может постоянно контролировать Мое Сознание. Поэтому надо форсировать, успеть все совершил в считанные годы. Он проболтался, что Время у нас ПОКА есть. Значит так, — что бы я ни делал, ты будешь молчать и сопеть в две дырки, понял?

— Ты хочешь?

— Надо опередить его! Его Душа так же болтается в чьей-то Оболочке и ее можно вырвать оттуда. А уж потом посмотрим, Иисус из Назарета, как выглядит твоя Душонка! Главное — не опоздать!

— Я возражаю!

— Повторяю — не вздумай пикнуть! Тут хоть какой-то Шанс остается.

— Надо все рассказать людям!

— Да катись ты со своим гребаным гуманизмом!.. «Все рассказать! Все показать!» Что я тебе — шлюха, просвещавшая любопытную невинность? Тут рушатся все мои планы! Тут гибнет все, ради чего я Жизнь Свою положил!

— Послушай! Если есть Время, то Человечество, может быть, почувствует Опасность! Может быть Однажды Люди Прислушаются к Себе! Он же сам сказал, что в воздухе живет Вечное Предупреждение! Если Люди прислушаются к Своей Душе, поверят в Себя, наконец, — то еще есть Вероятность Спасения. Но ты-то если прорвешься — лишишь их Возможности вслушаться в Себя, Понять Себя. Полюбить Себе подобного! Я тебя прошу, я тебя умоляю — если не хочешь раскрыть Свою Тайну, то хотя бы НЕ ПРЕДПРИНИМАЙ НИЧЕГО! Живи! Радуйся! Купайся в удовольствиях! Развратничай, черт тебя возьми! Я исчезну в тебе! я растворюсь в тебе! я буду подстилкой у твоих ног! Но, пожалуйста, не губи Людей!

— Кого ты жалеешь? Их? Да ты раскрой глаза! Вот Мария — Застывшее Исключение! Потому что чувствует хоть что-то, или, по крайней мере, чувствовала! Я — Исключение! Ты — Исключение! Потому что в свои семнадцать лет еще чего-то хочешь НЕ ДЛЯ СЕБЯ! Вот Мария, потерявшая Разум из-за Умершего Младенца, и вон миллионы «манек», для которых Младенец — кусок мяса, вывалившийся из утробы, не более. Вот я — у меня хоть Идея есть! А вон миллиарды, где все Идеи идут не дальше черной икры и дефицитной мебели! Или я не прав? А ты спроси у них — ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ЖИВУТ? ВО ИМЯ ЧЕГО ОНИ ЖИВУТ? И никто тебе ничего не скажет, потому что после гибели Идеи Всемирной Революции никаких Новых Идей не возникало! А раз нет Идеи, то и Душа не нужна! Есть Пузо — его и ублажай! А Душа ведь на подвиги тянет, на страдания, на подвижничество РАДИ ИДЕИ! Все в Человеке взаимосвязано! Вот и живут

миллионы Оболочек, в которых не Души, а Душонки! Потому и необходимо провести ОТБОР, чтобы Человек снова стал Великим! То есть НУЖЕН Я! Я же не о безделье мечтаю... Вон сколько полупустых Оболочек, жрущих, спаривающихся, «жи-ву-зших»! Ждущих Своего Заполнения! Чем? Это уже другой вопрос! И вот эту Пустоту ты жалеешь?

— Я не дам тебе Шанса!.. Я лучше подожну вместе с тобой, но не дам тебе Шанса!

— А что ты можешь сделать?.. Все рассказать? Да только пикни — тебя тут же упекут в психушку!

— А ты не думал, что тебя нет?

— То есть?

— И меня нет... Что все происходящее с тобой — это БРЕД ТВОЕГО ВОСПАЛЕННОГО МОЗГА...

— То есть?..

— ...и ты сейчас лежишь под трамваем с перерезанной глоткой и, захлебываясь собственной гнилой кровью, подыхаешь!? и все это — ПОСЛЕДНЯЯ СЕКУНДА ТВОЕЙ ЖИЗНИ!

— Какая, к черту, Секунда? Семнадцать лет! Семнадцать лет ОЩУЩЕНИЙ! Это куда денешь?

— Да может эта Последняя Секунда тебе Вечностью кажется...

— Нет!.. Нет! Нет! Я же живу!.. Я жив!.. Но почему все перемещались? Иисус! Мария! Ты!.. Но ведь я живу! А если нет?.. Перестань дергать Тело! Все равно ты со мной не справишься!.. Или это Агония? Боже мой!.. Не сомневайся — не сомневайся! Ты жив! А если?.. Ты что? Куда ты тащишь мое Тело?! Я жив!.. Я жи-ив?..

— Я не дам тебе Шанса!

— А я вывернусь... я все равно вывернусь! Я прорасту! Да погоди-и-ты!

• • •

— Я сидел в камышах в пятидесяти метрах от железнодорожной насыпи и ловил рыбу. Около полудня я услышал человеческие голоса. Вскоре показался молодой человек. Он громко разговаривал сам с собой, размахивал руками и как-то странно вихлял всем телом — было ощущение, что кто-то толкает его или тянет за воротник, а сам он упирается. Добравшись таким образом до насыпи, молодой человек несколько минут топтался около нее, а затем вдруг, как от резкого толчка, кинулся головой вперед под мчавшийся пассажирский поезд...

• • •

— Я не дам тебе Шанса...

• • •

— Я с ребенком возвращалась от родителей. В купе я была одна, так как начала кормить Сашку грудью и все вышли, чтобы не мешать мне. Неожиданно поезд дрогнул и начал резко тормозить. И тут я увидела, что об окно моего купе бьется какая-то мерцающая медузообразная масса. Она была похожа на разлагающееся Лицо Человека... Я вздрогнула. Сашок мой вскрикнул и заплакал. А оконное стекло стало прогибаться, словно под чудовищным давлением. Сашок изошёлся криком, а я сидела, как парализованная, не в силах оторвать глаз от окна... Внезапно поезд резко прибавил ход и «масса» растаяла.

• • •

— (Я же говорил, что вывернусь!.. Я же говорил, что воткнусь в какую-нибудь Оболочку!.. Это лишнее подтверждение, что я не должен погибнуть!.. Так, теперь разберемся — КТО ЖЕ Я?..)

— Папа, посмотри — какой противный червяк! Он весь ядовитый и у него бешеные красные глаза... Папа, я боюсь — он смотрит на меня...

— Ну что ты, не бойся... У червяков нет глаз, у них какие-то другие органы. К тому же он нас просто не может видеть — мы для него слишком большие.

— Папа, он в самом деле смотрит на меня... Папа, мне страшно!

— Ну, трусиха... Раздави его и все!

— (Раздави меня, раздави меня, девочка! Ну же! Ну дай мне еще Шанс! Я теперь знаю, как вырываться в чужие Тела! Ну раздави меня! Ну! Ну дави!)

— Папа, я боюсь его!

— Хочешь, я его раздавлю?

— (Ну давай-давай! Ну же!)

— Папа, не тронь его... Пойдем отсюда!

— (А-ах... Никогда не знал, что земля так чудовищно пахнет! Ее запах дурманит меня... Заползу куда-нибудь под листок... Думай-думай... Еще не все потеряно! Значит Душа МОЖЕТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬСЯ и занимать большую или меньшую Оболочку! Как ты там сказал, Жрец Острова: «И да будете Вы иметь силы и умение переходить из тела в тело, проникать в плоть животных и птиц, трав и дерев, насекомых и гадов»? Ну что же — еще не все потеряно!.. Хе-хехе...

...Где ты, Юноша? Где искать Обломки Твоей Души? Это не Агония! Это не последняя Секунда моей Жизни! Это Жизнь! Прочь Сомнения — они чуть не погубили меня! Думай-думай! Теперь-то мне никто не помешает найти свой Шанс! Бож-же, что за Гул? Дурманя-

щий Запах Земли и невыносимый Гул, от которого все мое Тело сворачивается Спиралью... Что это? Гул времени, которое надвигается на меня? Время – это тоже Энергия, и его тоже можно пощупать! Ох, как меня скручивает... Неужели Душа Человека и Тело Червя живут в разных временных Измерениях?.. я об этом не думал...

– Блаженны Нищие Духом! И счастливы они, ибо нечего им дать Человечеству, и без забот живут они... И Вечные Муки уготованы тем, чьи Души ломятся как закрома! И встает Вечный Вопрос – как отдать эти Богатства людям, ибо для них они; и Грех тому, кто гноит эти Богатства в себе... И растет Вечное Сомнение – а возьмут ли люди эти Богатства? А способны ли они приумножить его? Или хотя бы сохранить? Ибо «не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». И встает Двудорожие – по какому Пути идти тебе, Человек? Ибо ты есть и Соль Земли, и Свет Мира, и Тьма Кромешная, полная пороков грязных и мерзких... И явился я к Тебе в образе Сына Человеческого, дабы научить Тебя любить Себе подобного, так как нет другого Бога, кроме Человека... И говорил Тебе: «Не убивай, примирись с братом твоим, не прелюбодействуй, не преступай клятвы, ибо каким судом судишь, таким будешь судим, какой мерою меряешь, такой и тебя будут мерить. Как хочешь, чтобы поступали люди, так и поступай и Ты с ними; ибо в этом закон и пророки. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». И понял я, что неспособен Ты, Человек, полюбить ближнего своего как самого себя, да и к самому себе у тебя нет Любви... И Богатства Духовные обращаешь во вред Себе. И расширяя Знания Свои, умаляешь Душу Свою, ибо Плоти Своей угождаешь, а о Душе Своей не печешься. И любое Благо используешь на Погибель себе. И живут в тебе Бог и Сатана... И вижу я, что Путь Богатства Духовного ведет тебя к Гибели Твоей, так как Душа Твоя не справляется с Разумом Твоим. И есть Второй Путь – Путь Нищих Духом! Чтобы стал Ты, Человек, одним из многих животных, и жил бы как птицы небесные, и не сеял и не жал... Ибо, когда в борьбе Бога и Сатаны победу начинает одерживать Сатана, то лучше для Человека, если убить в нем и того и другого. И будешь ты равным среди равных – мелкой безмолвной Частицей Мировой Души! Частицей, необходимой для общего развития Природы... Ибо ничем Ты, Человек, не лучше комара, столбящегося над болотом, или змеи, выющейся по пескам.

– А разве ты сам не СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

– Ты прав, Глас, идущий из Прошлых Веков – и я – Человек!

– Так почему же губишь нас, Сын Человеческий?! Это несправедливо!

– Если бы Человек жил по Законам Справедливости, он не зашел бы так далеко в Ненависти к Самому Себе!

– Люди! Люди! Услышьте меня! Это все ханжество! Это обман! Ты лжешь, Сын Человеческий! Ты хочешь утвердиться над нами! Дайте мне Тело Человека, и я заставлю тебя замолчать! Мы найдем против тебя силу! Люди! Люди! Дайте мне Шанс! Ну раздавите меня! Ну размажьте по асфальту! Ну почему вы такие гуманные! Вот он – я! Дайте мне вспыхнуть в ком-нибудь! Хоть в уроде! Ползи-ползи... под чай-нибудь каблук... Ползи-ползи... чертово тело... Давай-давай – сокращайся... «Не бойся огня, не бойся воды, бойся Чрева Темного и Слизкого»... Пророк скрипучий... Да я сам в Огонь! Да я размажусь под колесом!.. Только бы... ТОЛЬКО БЫ РЕБЕНОЧЕК ЗАПЛАКАЛ... ужмемся... проберусь в каждого из вас! Пусть не Драконом над вами, так хоть Червем в вас! Ползи! Ползи!.. Что Это?

Звучит ВСЕЛЕНСКИЙ КРИК ПЕТУХА

ИСХОД ПЕТРА ПРЯХИНА

(из цикла «Одержимые дьяволом»)

1. «Краше в гроб кладут»...

...«Лонгрен! – взывал Меннерс, – ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!

Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу...

– Черную игрушку я сделал, Ассоль, – спи!»

– Н-да! – сказал себе Петр Пряхин. – Вот ведь как можно убить человека... и судить этого самого Лонгrena вроде бы и не за что. Просто его враг тонул, а он ему не помог. Вот и все. Н-да...

Пряхин отложил старую растрепанную книгу без начала и подумал:

– Надо спросить у Ритки, как книжка-то называется... Умная книга!

Петр потянулся всем своим большим телом (ох, намаялся он ныне в поле – сенокос!). И встал. Читать некогда: нужно успеть у коровы убраться, запарить зерна поросятам. А завтра с утра: Звездочку пододить... в курятник крыса повадилась, жука на картошке травить надо... Господи, дел-то сколько!

Он тяжело вздохнул. Из-за занавески ответно долетел тихий стон, там лежала и маялась животом жена Пряхина Алевтина.

– Петечка! – слабым голосом позвала она.

Крякистый Пряхин неуклюже склонился над ее кроватью. В неярком свете засиженной мухами лампочки он видел, как осунулось и пожелтело лицо жены. Алевтина-то и смолоду особой красотой не отличалась. А теперь и вовсе выглядела она живой иллюстрацией к меткому народному присловью: «краше в гроб кладут»...

– Да за что же меня судьба так?!... – выползла темная мыслишка откуда-то из потаенных закоулков пряхинской души. – Все не как у людей... у них-то бабы, небось, здоровые!

– Что? – переспросил он.

– Валокордин, говорю, дай. В холодильнике он... с сердцем что-то.

Подав жене лекарство, Пряхин, набычившись, пошел к выходу, дела ждать не будут. И уже у порога услышал, как звякают о стакан с водой зубы Алевтины. Петр вышел, еле сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Взял вилы и встал, опервшись на них посреди двора. Тяжело задумался.

2. Соседка

...С тех пор как соседская деваха Ритка «положила глаз» на Петра, мужик и вовсе с ума сошел. Вот уже год Алевтина мается от разной хвори: то там у нее заноет, то здесь заболит... Ритка же знай себе шастает по своему огороду, увидит Пряхина и смеется, скалит свои белые зубки. А то уставится на него, возьмет в рот прядь собственных волос и вроде бы жует – привычка у нее такая!

Живет Ритка с бабкой, куда уж старухе за такой егозой уследить!

Поэтому раза два уже встречался Петр с Риткой на отшибе двух дворов в вишневых кустах. Добросовестно тискал се молодое тело, тугое и пышное, как подошедшее впору тесто. Больше ничего с собой сделать Ритка пока не позволяла... Силенкой ее тоже Бог не обидел, так что при желании она легко уходила из ухватистых рук Петра.

– Вот женишься если... тогда! – глухо говорила она, глядя в темноту поверх пряхинской головы.

– Да как же я, при живой-то жене... Дура! – злился Петр.

– А ей не век жить! – с хохотком говорила Ритка. – Я, Петушок, за тебя замуж хочу... Подожду! Давно с ней не спишь?

Не в бровь, а в глаз!.. что ответишь?! Петр в ответ лишь скрипел зубами, не столько от своего подневольного воздержания, сколько от стыда.

– ...Как книжка-то называется? – спросил Петр и словно бы в поисках ответа ненароком запустил ладонь Ритке под кофту, в узкую ложбинку промеж ее горячих неподатливых грудей.

– Не лапай! – Рита сделала вид, что хочет вырваться. – Какая еще книжка?

– Что ты мне... почитать дала... Про Лонгрена!

– А! Ты там понял хоть что-нибудь?

– Чего понимать-то? Как он мужика не спас? – осторожно спросил Пряхин и только потому так спросил, что дальше этого эпизода он книгу не осилил. Некогда было.

– А вот хотя бы. Может, он и хотел веревку ему бросить, да не успел? Кто знает.

Последнюю фразу Рита произнесла как-то расслабленно тихо, с трудом переводя дух. Петр понял это по-своему, рывком запустил

ручищи под ее колени и опрокинул на спину. Однако Ритка ноги не разжала и после короткой, но бурной схватки все же отпихнула Пряхина и вскочила. Глаза ее в полутьме под вишневыми кустами светились как у кошки.

— Лонгрен мужик что надо, — прошипела она, — настоящий. А ты уже два раза от жены бегал в «скорую» звонить... и все успеваешь... успеваешь!

3. Звездопад

А через неделю Алевтина умерла. «Инфаркт», — сказали при вскрытии. Приступ сразил ее внезапно, под утро. Петр, как обычно, побежал тогда звонить в «скорую». Да вот...

Не успел.

Хоронили Алевтину всем селом, ее люди жаловали да жалели. «Отмучилась, болезная... царствие ей небесное!» — истово крестились старушки.

Детей у Пряхиных не было, вот и зажил Петр бобылем.

Да только недолго он им пробыл. На третью ночь после похорон тихонько звякнула щеколда и услышал сквозь сон Пряхин в сенях легкий вкрадчивый топоток. Открыл глаза. И в полумраке лунной августовской ночи увидел у своей кровати Ритку. В белой кружевной ночной рубашке она стояла перед ним девственницей-невестой. Ночь была у них на свадьбе подружкой новобрачной, молодой месяц дружкой жениха. Повенчала их смерть Алевтины, а убогая грязная спальня заменила храм. И затрещала кружевная рубашка пришлой невесты под руками Пряхина так, как бы трещала фата невесты под руками нетерпеливого, данного Богом, жениха.

— Женишься, детей тебе кучу нарожаю! — горячо шептала Рита, пока ладони Пряхина мяли-оглаживали ее с ног до головы. — Давний мой интерес... чтобы мужик крепкий был... хозяйство... денег много! Себя блюла, а могла бы и в город податься... путаной стать... Не хочу так, хочу женой быть законной... хозяйкой твоей. Ой! Больно... нет, нет, хорошо! еще... давай. Еще!

И время для них остановилось.

Вдруг яркая вспышка метнулась сполохом в окне, и изба Пряхина вздрогнула от глухого толчка.

— Что это?! — очнулась Рита и на полусогнутых ногах (что и говорить — мужик Пряхин был хоть куда!) мелкими шагками подошла к окну.

Тотчас же вторая яркая звезда сорвалась с неба вдогон за первой. И снова — земля вздрогнула.

— Метеориты... — прошептала она. — Где-то у кладбища ухнули.

А Пряхину разговаривать не хотелось, глаза его отчаянно жмурились. Но ведь вот она какая, Ритка... еще бы ее сюда!

— Ты рубашку-то съими свою! — окончательно проснувшись, сказал Пряхин. — Мешает только... иди ко мне!

Он привстал, оперся на локоть. Оглядел сквозь блеклый лунный свет широкий зад своей юной невесты и ее крутые в плавном изгибе бедра. А Рита вдруг замерла, вцепилась скрюченными пальцами в подоконник: рот ее приоткрылся, глаза остекленели.

Сердце у Петра захолонуло, он понял: ЕГО ЗОВУТ!

Кто??!

Пряхин сполз с кровати и, вытянув вперед руки, как бы на ощупь, стал продвигаться к окну. Его неодолимо влекло куда-то... а куда, зачем? Он не знал.

4. Голый клещ

И увидел Пряхин вот что.

У окопицы села, на спуске с Кладбищенской горки шевелилась неясная, с отдельными белыми пятнами, масса. Она, масса эта, медленно, очень медленно надвигалась на село, и для напряженного, осторого как никогда, взгляда Пряхина хоть и оставалась вроде бы слитной... но уже виделась ему и по частям, распадалась на разнородные отдельные фрагменты... становилась ясно различимой при лунном свете в мельчайших деталях толпой.

Толпой мертвцевов.

В ней кое-где поблескивали желтые оскаленные черепа. Мелькали ключья истлевшей одежды. Бурье неуклюжие мумии и начисто отполированные червями скелеты шли-переступали, приближались... возглавляя шествие высокий мужик, как бы одетый в лохмотья гнилой кожи. А рядом с ним Пряхин увидел жену свою, недавно усопшую.

Разложение почти не коснулось ее... и самое главное, глаза покойницы, черные бусинки, были еще живы. Пряхин поймал их ищащий взгляд.

Алевтина тотчас же подняла усохшую, похожую на корявую черную ветку руку и поманила его к себе.

Пряхин, не спеша, пошел к выходу.

— Куда?! — взвизгнула, очнувшись от оцепенения, Ритка. — Не ходи к ней! Не пущу!!!

Она упала на колени, вцепилась в Петра будто большой голый клещ и поволоклась за ним к двери. Ударилась головой о порог и дико захохотала.

Крепка была хватка сумасшедшей, но Пряхин освободился без труда. Сила теперь в нем была нечеловечья... он более не принадлежал этому миру.

5. «О следовании мертвых граждан»

Из рапорта участкового инспектора Шебаршинского с/совета, старшего лейтенанта А. А. Дубовкина начальному Зеленодольского РОВД (с незначительными сокращениями и сохранением авторского стиля).

«Вчера, т. е. 5 августа 1991 года мной лично наблюдалось следующее:

В 23 часа 45 минут на территории сельсовета в районе, называемом Кладбищенской горкой, упал с неба метеорит и через некоторый короткий промеж. времени еще один.

В 23 часа 55 мин. через село Шебаршовку в направлении северо-востока по центральной улице проследовал отряд мертвых граждан, находящихся в различной стадии разложения, общим количеством 123 человеко-трупа, что было установлено мною по спискам сельсовета...

...Характерно приволакивая ноги (как «зомби», которые живут на Западе), мертвые граждане проследовали к озеру Калач, в котором и скрылись. Расстояние от кладбища до вышеназванного водоема составляет 2523 метра...

...Привлечение водолазов к поисково-спасательным работам считаю нецелесообразным, т. к. озеро Калач неглубокое, вода в нем чистая и слой ила на дне, в котором могли бы скрыться мертвые граждане, отсутствует в наличии...

...Результаты расследования места происшествия, произведенного мною в присутствии понятых Саблина Е. П. и Шмахова В. М. зафиксированы в протоколе, который прилагается...

...К подробностям происшествия считаю необходимым добавить следующие:

Могилы на кладбище аккуратно разрыты неизвестными лицами. Кем именно, установить можно будет лишь в ходе компетентного следствия со стороны более высоких инстанций...

...При прохождении мертвых граждан через село слышалось характерное постукивание и треск сухих костей, что наблюдали и другие, кроме меня, заслуживающие полного доверия живые свидетели, напр. передовая доярка кооператива «Аккор» Зайковская Б. Л. и шофер председательской машины «Нива» Колотовкин И. Я., происшествие которых никак не может быть совместной галлюцинацией. Они показали следующее:

Дойдя до дома механизатора гражданина Пряхина П. И. (русский, 1954 г. р., б/п., б/у., ранее не привлекался), из толпы мертвых граждан выделилась покойная Пряхина А. З. (свидетельство о смерти А-В № 6258 прилагается) и поманила ему (супругу) рукой в окно, в результате чего Пряхин П. И. вышел из дома совершенно голым (что вышеизложенная Зайковская Б. Л. рассмотрела очень четко) и присоединился к толпе мертвых граждан, вместе с которыми и ушел.

Находящаяся вместе с ним на месте происшествия в интимной связи гражданка Ковалева М. П. (русская, 1971 г. р., врем. не раб.) отправлена мною в невменяемом состоянии в п/лечебницу г. Зеленодольска с рекомендацией об использовании в смирительной рубашке.

Других пострадавших в живой силе и технике нет».

СУДЬБА ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ

(из цикла «Одержаные дьяволом»)

1. Голос и сны

...Бессонница! Смутное время для «всяких мыслей». И каждый переживает его по-своему... Например, Димка Ханин в такие вот тоскливы часы вел с неким Голосом долгие и очень умные беседы о самых разных вещах – вплоть до квантовой механики. Потом Димка все же засыпал, а к утру начисто забывал ученые термины. Они ему, рядовому советскому снабженцу, были ни к чему. Не то чтоб интеллект не позволял. Просто это его совсем не интересовало. А появился Голос два года назад – после того как Димка попал в аварию и получил сотрясение мозга.

Практической же пользы от Голоса не было никакой. Как-то раз Ханин попросил его назвать выигрышные номера в ближайшем тираже «Спортлото». И получил в ответ длинный ряд замысловатых формул, которые оказались ему не по зубам.

– ...Будущее каждого антиномично! – возвестил на сей раз Голос.
– И если привести в движение цепь событий соответствующего ряда...

– Ряда... ряда... – стучат колеса.

– ...Представим себе чашу, в которую падают капли. Если чаша злодейний и переполнена, то судьба последней капли страшна и невыразима! Это и есть твоя судьба...

– Судьба... судьба... судьба...

– Вам плохо?! – услышал Димка встревоженный женский голос и с трудом открыл глаза. Его тормошила попутчица. Вагон покачивало на стыках. Тусклый плафон из соседнего купе высвечивал мутно-серые стены. На Ханина смотрели снизу вверх участливые глаза.

– Нет, нет... ничего! – пробормотал Димка. – Просто приснилось что-то... И он, перегнувшись, свесился с полки.

Из широкого декольте незнакомки пахнуло ему в лицо теплом крепкого тела. В глубоком вырезе ее легкого платья светились в полумраке будто бы плотно прижатые друг к другу футбольные мячи – белые и туто накачанные... Димка с изумлением вскинул глаза. Попутчица поспешила отступила и снова уселась на свою нижнюю полку – заняв ее почти наполовину.

– Вот так габариты! – подумал Димка. – Надо же!

Он опять откинулся на тушую подушку, перевернулся на бок и натянул на голову влажную простыню с клеймом «МПС». Надо было заснуть. Более всего Ханин опасался нового появления Голоса, который излагал всякие бредни. «Страшна и невыразима»... «Судьба последней капли»... Надо же такое выдумать!

Голос больше не появился. Зато Димка оказался вдруг в незнакомой ему, но вполне реальной комнате с земляным утрамбованным полом. Над потемневшим от времени столом теглился огонек одиночной свечи... Ханин услышал за спиной чье-то хриплое дыхание, а потом – и глухой звук. По полу тащили нечто очень тяжелое... И вдруг увиделась ему рука с топором. Рука была желтая, крепкая и морщинистая. Костлявыми пальцами своими она цепко держала топорище – старое, лопнувшее, обмотанное синей изоляционной лентой.

– Кр..рак! – опустился топор. И под ноги Димке с низкого широкого пенька свалился большой кусок розового мяса. На белой шкурке окорока Димка отчетливо увидел длинный шрам – широкий сверху и постепенно сходящий на нет.

– Кр..рак! – снова ухнуло где-то, и Ханин проснулся. В приоткрытое окно тянуло тормозной гарью и вагон сотрясался от резкого толчка.

– Как дрова везет... – пробурчал Димка, слез с полки и, взяв полотенце, пошел умываться. Потому что уже было утро.

2. Принцесса из Уганды

Попутчица завтракала. Белая вышитая скатерка, домашнее печенье и кофе из термоса... Димка невольно покосился на ее ноги под коротким платьем и у него аж сердце захолонуло... ведь увидишь же такое! Но... все везде было в меру. Правда, в полуторную...

– Кофе хотите? – улыбнулась она.

– Спасибо, – сухо ответил Ханин. А попутчица звонко и переливчато рассмеялась.

– Фигуру боитесь испортить? А я вот не боюсь!

И только тут Димка разглядел, что за фигуру соседке особо опасаться и нечего. Тяжелая грудь у нее не виснет, живот на удивление – плоский и подтянутый. А талия для такого большого тела даже слишком тонка.

– Вы, наверное, спортом занимаетесь? – спросил Димка.

– Нет. Зато встаю не позже шести и бегаю два часа.

– Каждое утро?!

– Каждое утро. Благо у меня рабочий день с десяти. ...Ниночка недавно закончила институт. Работала библиотекарем. Замуж так и не вышла.

— Не берут! — засмеялась она. И сделала вид, что ужасно этим огорчена.

Говорить с ней было хорошо и просто. Своей массивности она совершенно не стеснялась и вела себя порой как озорная школьница. То и дело вскидывала на Димку влажно блестящие карие глаза, смеялась без причины.

Димка был видным парнем и отдавал себе в этом полный отчет. Он был избалован легкими победами и до сих пор ходил в холостяках. Ханин полагал жениться когда-нибудь на стройной хрупкой блондинке, и он никак не ожидал, что простое вагонное знакомство заведет его так далеко. Сначала Ниночка была ему безразлична, потом стала приятна. А вечером того же дня, выйдя покурить перед сном в тамбур, Димка вдруг понял: она ему нужна... по-настоящему! Его тянуло к Ниночке вопреки всякой логике, крепко и непонятно. Словно его вел кто-то на поводке.

Но Ханин не любил ходить на привязи. И не придумал ничего лучшего, как нахамить попутчице при первом же удобном случае. Тогда поводок порвется — тонок он еще!

Ханин вспомнил о Голосе и спросил Нину:

— Слушай, а как понять: будущее антиномично?

— Это значит, многовариантно.

В ее голосе проскользнула еле заметная снисходительная нотка, и Ханин сказал:

— Ах, мы — умные!

— Да вот!

— Жаль, что не в Уганде родилась. Там была бы в чести.

— Это... почему? — осторожно спросила Нина.

— А там так, чем толще женщина, тем считается знатнее. Принцессы тамошние передвигаются только на четвереньках. А королева и вообще ходить не может!

На круглых щечках Ниночки заполыхали красные пятна. Карие глаза ее потемнели до цвета грозовой тучи, за которой прячется молния. Она нехорошо улыбнулась.

— О-о, а ты — наглый!

И, отвернувшись, добавила вполголоса:

— А я... люблю таких!

3. Шрам

...Наутро поезд уже тянулся вдоль благословенного Черноморского побережья, страшно медленно, с частыми остановками, словно испытывая терпение пассажиров. Ниночка смотрела в окно и ахала:

синие волны, зеленые рощицы, пестрые палатки, загорелые тела... Ой, как хорошо!

— А давай здесь сойдем! — то и дело хватала она Димку за руку. Бывалый Ханин снисходительно усмехался.

— Успеем. Я поселок хороший знаю. Там и остановимся. Или ты дальше поедешь?

— Нет, нет, я первый раз «дикарем». С провожатым лучше!

И она нечаянно прижалась к Димке, у окна было слишком тесно. Состав дернулся встал.

— Красный горит, — высунулся Димка в открытое настежь окно. — Смотри-ка, люди купаться побежали!

До моря было метров пятьдесят.

— Пошли искупнемся! — блеснула глазами Нина.

— С ума сошла! Да ты куда... останешься же!

И он ринулся за ней в тамбур. Но... с таким же успехом можно было пытаться остановить летящую бомбу.

— Держи! — крикнула Ниночка, и на Ханине повисло ее цветастое платье. Стоя в тамбуре, он смотрел, как она легко бежит... размашисто-плавно перелетая через прибрежные камни. Нина с разбега бросилась в воду, и до Димки долетел се ликийющий визг.

— Дура! — с досадой буркнул он.

Поезд плавно тронулся. Нина почти успела добежать... Ханин перегнулся, подал ей руку и рывком втащил в вагон.

— А ты сильный! — засмеялась она. — А я... искупалась!

— Вижу! — процедил Димка. — А вот если бы отстала?

— Да ну тебя! У меня два во...от таких чемодана, знаешь, какие большие! Разве я их брошу!

Поезд опять встал.

— Ой! — Нина приостановилась в дверях.

— Иди, иди! — Ханин, забывшись, положил руки на се необъятные бедра, ладони плотно вжались в купальник, и втолкнул Нину в вагон... но тут пронизала Димку дрожь с головы до пят. Он поспешно отдернул правую руку... на пухлой ягодице Ниночки четко выступал под мокрой тонкой тканью рубец старого шрама. Длинного, широкого сверху и постепенно сходящего на нет... Шрам из его сна! Поезд стоял.

— Стоп-кран кто-то сорвал! — растерянно сказал Ханин.

4. Памятка от садиста

— ...Нин, а ты в вещие сны веришь? — спросил Димка.

— Не-а! — она мотнула головой. — Я материальная... Ханин вздохнул, приподнялся на локте и посмотрел на Ниночку. Она лежала нич-

ком, распластавшись на песке. Первый шок от созерцания пышных форм подруги у Димки уже прошел. Он даже забыл, как недавно ежился под любопытными взглядами, шагая рядом с ней по пыльным и кривым улицам поселка Шен. Граждане разного пола оборачивались вслед Ниночке с одинаковым интересом.

Стоит только захотеть, и такое вот необычное тело будет в его руках. И очень интересно узнать: что к чему... в таком размере! Но... вспоминал Димка про загадочный шрам и – возбуждение гасло. Ах, море, море – прилив-отлив... Решился все же Ханин и спросил, откуда эта метка.

Нина повернулась к нему, смахнула со лба влажные волосы. Димка увидел ее потухшие глаза и поспешно сказал:

– Не хочешь, не говори!

– Почему же... скажу! Мы с одним парнем были обручены с детства... даже странно такое слышать в наше время, правда? Уже и свадьба назначилась... Встречали Новый год вдвоем, и Славик, будучи в подпитии, ударил меня кухонным ножом сюда... в самую мякоть. Наутро он вымаливал прощение и ползал на коленях. Клялся, что и сам не понимает, как это получилось... Я отказалась ему наотрез!

– И правильно сделала, – жестко сказал Димка. – Лучше жить на вулкане, чем с таким... Это потенциальный садист!

– А ты... пьешь?

– Было. А вот уже два года вообще не принимаю. Попал с другом на «Жигули» в аварию и получил сотрясение мозга... месяц лежал в больнице. А Петро насмерть. Хороший был парень и умница. Физмат заканчивал, далеко бы пошел.

– А за рулем ты был?

– Он. Да и «Жигули»-то его...

Они замолчали, думая каждый о своем.

– Нин, а можно я зайду к тебе вечерком, а?

– Приходи, – слабо улыбнулась она. – Мог бы и в первый же вечер прийти. Не прогнала бы!

5. «Захочешь – найдешь!»

Возвращаясь с пляжа, Ханин зашел на базар, где, изнывая под пальцем солнцем, аборигены торговали дарами щедрого юга. В воздухе витал волнующий аромат шашлыка...

– Покупай не глядя! – зазвенел рядом задорный девичий голос. – Мясо-вырезка, экстра класс! Отдаю почти задаром!

И Димку ожгла взглядом черноволосая красавица. Ослепила. Сразила – наповал. Мяса Ханину было не надо, а купил. Килограмм за

сто двадцать рублей... И стоял, болтая с Эллочкой битых два часа, пока она не заторопилась:

— Ой, мне пора!

— А ты где живешь?

— Смотри, какой быстрый! Захочешь — найдешь. Найдешь — гостем будешь!

А на душе у Ханина вдруг стало очень нехорошо. Он вспомнил про Нину... обещал же! Ладно, сегодня к ней... куда денешься? А потом.... потом видно будет!

...Нина жила на отшибе, в предгорье. Давший ей приют домик прилепился к отвесной скале, за которой начиналось сумрачное ущелье, сплошь заросшее бояркой и диким виноградом. Зато море было недалеко, прямо под горой.

Димка постучал щеколдой скособоченной калитки. Во дворе громовым лаем ответила большая собака.

— Сейчас! — отозвался звонкий голос. — Иду, иду!

У Ханина защемило сердце. Эллочка!

— Быстро ты меня нашел! — усмехнулась она, и в полутьме блеснули ее белые зубки, ровные, один к одному...

— Это ты, Дима? — за спиной хозяйки в прямоугольнике освещенной изнутри двери показалась крупная фигура Нины. — Элла, это ко мне. Можно?

— Можно! — процедила Эллочка, не разжимая рта. Она круто повернулась и ушла в дом.

6. Сквозь соленые брызги...

— На море сходим? — предложил Димка. Оно и понятно, ему хотелось смотреться отсюда как можно быстрее. Надо же так нарисоватьсь!

— Да ну... надоело, — лениво протянула Нина. Она взяла со стола спички и зажгла свечу... Старый диван скрипнул под ее тяжелым телом.

— Иди ко мне, — прошептала она.

Ханин присел рядом с ней — на самом краю. Она лежала свободно и навзничь. Места явно не хватало, и, чтобы гостю было где притулиться, Ниночке пришлось закинуть правую ногу на спинку дивана. Левую же, ничуть не стесняясь Димки, она опустила почти до пола. И теперь молчала, молчала... смотрела на него в упор. Димка стиснул руками се колени...

Через минуту Ханин понял: он у нее был первым... ...Димка ушел от Ниночки на рассвете.

– Отстань! – она вяло отмахивалась от его жгучих не по-утреннему поцелуев. – Хватит... ты меня уже измучил. Я спать хочу!

А днем они заплыли далеко в море, и Нина вдруг принялась его топить. Сначала вроде бы в шутку, а потом... Димка испугался всерьез. Ниночка была прекрасной пловчихой, и в воде Димка ей явно уступал.

– Никому тебя не отдам! – хрюплю кричала Нина и шурилась сквозь соленые брызги. – Лучше утоплю! Мой ты, мой!

«...Женюсь!» – подумал Димка, зарываясь в горячий песок.

7. Топор в углу

...Димка больше не хотел заходить на базар. Но однажды ноги сами понесли его к знакомому прилавку.

– Привет, молодой! – блеснула зубами Эллочка. – Где пропадаешь?

– Купаюсь, – пожал плечами Димка. – Кстати... а где ваша квартирантка? Что-то я уже се два дня не вижу...

Эллочка негромко и злорадно посмеялась. Сказала:

– Уехала.

– Как так уехала?! И мне... ничего не сказала! Элла снова плеснула в него ехидным смешком.

– Тебе лучше знать, от кого она сбежала! И не велела говорить, что уезжает. И адреса велела не давать!

– А есть адрес? – уцепился Димка за последнюю фразу.

– Нет!

– Элла! – просяще сказал Димка. – Ты понимаешь... я ей деньги должен. Много! Как же теперь...

И он попер вратъ напропалую, лишь бы не стоять молча под пронизывающим взглядом ее черных, как угли, глаз.

– Ладно, приходи вечером, – сказала Эллочка. – Так и быть, дам тебе адрес... Эх вы, мужики!

Последнее слово она произнесла не разжимая рта, точно как в ту ночь, когда за спиной ее стояла счастливая соперница.

...В знакомой комнате с земляным утрамбованным полом от Ниночки не осталось и следа. Димка посмотрел на пустой диван, вздохнул и сел, облокотившись на старинный, потемневший от времени стол.

Дверь за его спиной приоткрылась. Эллочка оценивающе оглядела гостя и, мягко-бесшумно переступая босыми стройными ногами, вошла. Димка даже вздрогнул... он не заметил, как она подошла к нему вплотную.

– Бабка-то моя ушла, – вкрадчиво сказала Эллочка. – И комод заперт. А адрес там. Ты... подождешь?

И это «подождешь» она выдохнула так, что Ханин сразу все понял. Конечно, он подождет...

Эллочка раздевалась перед ним здесь же, у стола. Она делала это без лишней суеты и словно бы привычно... давая гостю вволю наплюбоваться своим молодым крепким телом, сложенным на зависть любой манекенщице...

Давно известно, что красота есть мерилом совершенства, печать Творца, знающего, что и для чего в сути своей предназначено. Тело Эллочки было создано природой как безукоризненный инструмент для самой сложной любовной игры...

...Димка впервые узнал, что желание может возвращаться так многоократно... словно кто-то переворачивал склянку песочных часов и все начиналось съзнова... Уже заглядывала поздняя луна в узкое оконце, когда он, вконец обессилен, распластался по дивану... еле пошевелил пересохшими губами:

– Пить...

Элла встала, зачерпнула ковшом из фляги в углу. Димка приподнялся, припал к студеной воде. Он успел сделать только три глотка, остальное Эллочка, хохоча от души, с размаху выплеснула на его измотанное тело.

Она тяжело дышала. Она была довольна.

– Оставайся ночевать! – стиснув ладошками его шею, жарко прошептала Эллочка.

Димка, отбросив се руки, сел и посмотрел в дальний угол комнатки. Там лунный луч – чистый и белый – светился на блестящем лезвии топора с обмотанной синей изоляцией рукоятью.

– Нет... пойду! – сказал он. – Дома оно как-то... спокойнее.

8. По лезвию ножа

В каждой солидной психбольнице наверняка найдется спой Наполеон. Но что он, убогий, знает о своих «собственных» баталиях?.. А вот Ханин все-все знал...

Он знал, что Эллочка сначала задушила Нину. А потом с помощью своей бабки расчленила труп девушки топором и зарыла ее бренные останки в укромном месте... Недаром Димке было ниспослано свыше кошмарное видение в поезде «Москва – Сухуми»... только вот Голос этот проклятый с тех пор больше не появлялся. И Димка спрашивал себя: «А когда же я сошел с ума?.. До приезда сюда? Или – уже потом?..

Есть в поселке усатый участковый, но к нему не пойдешь. Что он скажет? «...Ц-ц-ц, дарагой, перегрэлся!»

* * *

...Улики нужны, улики! И Димка отправился на базар.

— У вас теперь комната свободна? — спросил Ханин Эллочку как бы между прочим.

— Конечно! — черные глаза ее засияли. — Переездать хочешь, да? Переезжай... Возьмем недорого!

Ханин усмехнулся про себя. А ту ночь она запомнила. И еще... хочет. Смотри-ка, как задышала... тварь!

Шутки кончились. Теперь они шли навстречу друг другу как по лезвию ножа. И Димка знал: за Ниночку он отомстит... он не забывал об этом даже в те сладостные минуты, когда они, по выражению Эллочки, «занимались парной аэробикой» на старом диване. И тогда он делал так, что ей становилось больно... она вскрикивала и стонала.

— Какой мужчина! — шептала она потом и как горячими утюжками гладила своими ладошками его сухощавое мускулистое тело. Спрашивала невпопад:

— А ты домой сообщил, что к нам переехал?

— Я вообще домой не пишу, — нарочито позевывая, отвечал Димка. — Поехал к морю и все. Чтоб не беспокоили.

— А невесте поди написал?

— А у меня невесты нет. Была, да погибла.

— Под поездом? Ее Анна Каренина звали, да?

— Какой уж тут поезд! — криво усмехался Димка в темноту. — Убили ее... зарубили топором. Труп разделали. Вот так отсекли... и так, — гладил Димка Эллочкины ноги. — А голову отрезали...

— Ой, какой кошмар! Э, да ты все врешь... Врешь! Напугать меня хочешь... Да? Да?!...

Плотно лежит под ее левой грудью Димкина рука. Тук... тук... тук... нет, совсем не испугалась она, ровно стучит ее сердце. Как часы, отсчитывает оно время... первое или последнее? Чье?!...

9. Собачий праздник

Утром Димка не пошел на море, сославшись на незддоровье. Выпил горячего чаю и уселся на крыльце своей пристройки со старым журналом в руках. Вышедшая из дома бабка не заметила квартиранта. Димка хотел было ее окликнуть, но промолчал. В цепких старушечьих руках он увидел большую белую кастрюлю... Что-то бурча себе под нос, бабка прошла через двор, густо заросший травой и цветами, и остановилась в дальнем углу участка — там, где виноградные лозы

бросали на землю густую тень... Димка услышал рык Гитлера – так звали хозяева свою матерью кавказскую овчарку. Ханин знал, что пес на надежной цепи, но все равно вздрогнул... в голосе Гитлера ему почудилось что-то несвойственное домашним собакам вообще... Черный бабкин платок мелькнул за оградой, она ушла.

Димка огляделся, прислушался к гудению пчел над цветами. Он был один.

Ханин не спеша подошёл к винограднику. Гитлер с жадностью хрустел костями. Услышав шаги, он поднял голову и глухо зарычал... среди кровавого месива Димка увидел обрубок человеческой кисти. Это была рука Ниночки, Ханин узнал ее по обычному для покойницы фиолетовому маникюру на ноготках.

Глаза Димке словно бы застлало туманом. Он поплелся обратно на свое крыльцо, его била крупная дрожь. Но на полпути Ханин все же очнулся и взял себя в руки. Он ведь хотел найти улику, и вот сам Бог послал ее! Димка огляделся по сторонам в поисках длинного прута, которым можно было бы вытащить у Гитлера из-под носа столь лакомый кусок... тот самый, с фиолетовым маникюром.

Рядом с тропинкой валялись грабли.

Димка, схватив их, бросился назад. И... остановился, увидев на месте собачьего пиршества только смятую траву. Гитлер дремал под солнышком, положив голову на лапы...

Пятерясь, Димка споткнулся о стоящую неподалеку белую кастрюлю и заглянул в нее с тайной надеждой... Пусто.

10. Западня

Элочка в тот день с базара припозднилась.

– Работы много, – понимающе думал Димка. – Мяса-то навалом.

Он вспомнил тот злосчастный килограмм вырезки, который в свое время купил у этих людоедов за сто двадцать рублей, и к горлу его подкатила тошнота... еще более нестерпимая от того, что мясо-то было вкусным!..

Поздним вечером, когда Элочка уже поглядывала на диван, Димка сказал ей спокойно:

– А с Ниночки у вас большой навар будет...

– Ты о чем?! – сузила свои черные глаза Элла.

И не спеша, сам удивляясь своему хладнокровию, Димка выложил ей все. Элочка слушала его с кривой снисходительной усмешкой, а выслушав, с озабоченным видом потрогала Димкин лоб.

– Ты и вправду заболел, – сказала она. – И весь день к тому же сидел, читал... Случайно, не про Робинзона Крузо?

И все-таки, Ханин мог бы поклясться в этом, она чуть побледнела... этого ему было достаточно. Да, он все знал!

— Ложись спи, — участливо сказала она. — Ладно уж, я к тебе сегодня... приставать не буду! Впрочем, рядом лягу... на всякий случай...

Димка послушно прикрыл глаза, притворяясь спящим.

...«И если привести в движение цепь событий соответствующего ряда»... Бежать отсюда как можно быстрее, поднять людей! Лишь бы вырваться, а с уликами разберемся потом...

Невольно Ханин задремал. В полуза�оты он слышал, как Эллочка ходит по комнате, словно ищет что-то... Стукнула дверь.

Димка очнулся мгновенно, как и не спал вовсе. Пристойку отделяла от хозяйствского дома легкая дверь с матовыми стеклами. Теперь на ней как на экране Ханин видел две тени: горделивый точеный профиль Эллочки и круглый силуэт бабкиной головы, туго обтянутый платком. Большой крючковатый нос старухи прыгал над ее впалой верхней губой, и трясясь острый подбородок... она говорила что-то отрывисто и громко.

— Жаль, что я по-ихнему не понимаю! — подумал Ханин. И вдруг ему словно скжала виски чья-то невидимая рука, от резкой боли Димка чуть не потерял сознание... впрочем, это ощущение было коротким и пришло оно как бы изнутри...

Теперь он понимал чужую речь как свою родную.

...Неужели вы будете их кушать?! — спрашивала Эллочка, и в ее голосе слышалась явная брезгливость. — Они же будут как резина... Не разжуете!

— Разжую! — с коротким смешком отвечала старуха, и Димка увидел, как ее тень оскалила зубы. — Я вчера уже одну сварила... зачем же добру пропадать, коли такая грудастая баба попалась!..

Димкино сердце захолонуло и стало куда-то падать... падать. Но его на полпути подхватили те же самые невидимые руки, и Ханин понял: за его спиной стоит НЕКТО — по сравнению с ним, простым смертным, он необыкновенно могуч... Вдвоем они победят! — эта мысль пронзила Димку как молния... вселенская черная бездна на миг приоткрылась Ханину, и Димка заглянул в нее с жутким, ни с чем не сравнимым восторгом! Значит, вот оно каково, высшее причастие Добра!.. захватывает дух от падения стремглав в чашу Зла ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ...

— ...Вы сами виноваты! — срываюсь на фальцет, визжала Эллочка.

— Пошли Гитлера кормить, а по сторонам — нулями!

Димка тихо опустил левую ногу с дивана. Хорошо еще, что он одет... А вещи, паспорт?.. черт с ними!

Дверь с размаху открылась. Эллочка влетела в комнату и тут же бесшумно направилась к дивану.

— Ты что, с бабкой поцапалась? — сонно пробурчал Димка и перевернулся на бок. Мгновение Эллочка молчала, потом лениво, врас-тяжку ответила:

— Да ну ее! Все чем-то недовольна... Подвинься-ка!

И она прилегла рядом с ним. Не раздеваясь. Тихонько засопела, уткнувшись носиком в его плечо... Где-то на хозяйствской половине хлопнула дверь, и через минуту под окном раздалось глухое рычание Гитлера.

«Бабка спустила пса, — подумал Димка. — Значит, началось!..»

Он потихоньку слез с дивана... дико блеснули прикрытие пухлы-ми веками черные Эллочкины глаза. Она, привстав, вцепилась паль-цами, как когтями, в его спину... Коротким, точно рассчитанным дви-жением Димка ударили ее локтем в подбородок. Эллочка захрипела, но пальцы не разжала, ползла вслед за ним с дивана.

Стеклянная дверь распахнулась. На пороге — осклабясь — стояла старуха, и ее морщинистая костлявая рука крепко сжимала топори-ще... Димка рванулся к выходу, распахнул дверь и встретил налитый кровью взгляд Гитлера. Пес присел перед прыжком...

11. А поселок – спал

Из материалов уголовного дела: «Постояльцев обычно искала бабушка: одиноких, солидных. Не помню, кому пришла в голову мысль... Ну, в общем убивала я. Душила... Потом с бабушкой перетас-кивали тело на кухню, разделяли мелко. Мясо откладывали на про-дажу, остальное варили... потроха и лишнее – собаке. Сами ели редко. Мне не понравилось... Ханина я просто пожалела, он... симпатичный, а мяса... в нем мало... Если бы он не увидел, я отпустила бы его домой. Пусть живет».

...Димка бежал с горы к морю, падал, катился по камням. Гитлер все же два раза достал его, брюки Ханина превратились в окровав-ленные лохмотья.

А поселок – спал.

Выскочив к базарчику, Димка подхватил с земли половинку кир-пича и с размаху запустил ее в окно продмага. Взвыла сигнализация.

Милиция приехала через десять минут. Ханин, крепко ухватив-шись за сук, сидел на большом дереве. На приказ «слезть!» он не от-реагировал, и дюжему оперативнику пришлось карабкаться наверх, чтобы разжать его пальцы...

* * *

...Через месяц кто-то из местных жителей поджег ставший бесхозным дом Эллочки. С треском взметнулось в небо пламя, и люди с содроганием услышали: где-то далеко в горах завыла собака...

От сверхдержавы до резервации для нелюдей

Интервью со зверочеловеком
Жизнь в оккупационной зоне

От редакции. Да, мы знали, что эти чудовищные опыты давно проводятся в нашей стране. Не секретом для нас было и то, что в октябре с. г. во время эвакуирования из Центральной лаборатории в новоземельские спецпоселения бежала одна из экспериментальных особей – слухи и домыслы об этом феноменальном побеге взбудоражили население, породили множество легенд. Мало кто знал, что речь шла не об особо опасном рецидивисте, и вовсе не о сбежавшем так называемом "снежном человеке"... и тем не менее, кое-какой достоверной информацией мы обладали уже тогда, и об этом свидетельствовали некоторые наши публикации. Но действительность превзошла все ожидания, все предположения. Члены подпольной организации, отказавшиеся назвать ее или хотя бы намекнуть на ее политическую ориентацию, сами вышли на нас. Свыше трех месяцев, они укрывали беглеца от властей. Перед отправкой его в безопасное место за пределами СНГ, они решили устроить встречу с прессой. Разрешение было выдано лишь одному из нашей редакции, и эта мера предосторожности вполне понятна нам. Мы предоставляем слово корреспонденту.

Это была очень странная поездка с самого начала. Больше шести часов мне пришлось крутиться по Москве, прежде чем удалось отвя-

заться от трех или четырех "случайных прохожих", которые упорно шли по пятам. Билет до Архангельска был заготовлен заранее. Встречали меня в условленном месте. Слава Богу, дело обошлось без черных повязок, пуганного маршрута и прочей ерунды из детективных романчиков. Хотя, надо признаться, предупредили ясно и коротко: выдам адреса – будет плохо. В спешке и суете сборов мне не удалось подготовиться к встрече, полистать соответствующую литературу, прессу. Но может быть, это и к лучшему, потому что, как выяснилось позже, все, что я когда-либо слышал и читал об этих экспериментах довольно далеко от действительности.

Место встречи было выбрано заурядное (никаких подвалов, трущоб, чердаков, подполья, тайных злачных мест!) – меня привели в какой-то общарпанный местный клуб с перекошенными дверями и табуретками вместо кресел. Усадили. Встали по бокам и сзади. Потом вошли двое. Я сразу и не понял, что один из вошедших и есть то самое таинственное существо, о котором в Москве шептались в определенных кругах, поднося палец ко рту и оглядываясь, зная, что новые власти могут простить все, но вот этого не простят. Разочарование накатило через полминуты – и ради этого "мужика" стоило тащиться в такую даль! "Мужик" сел напротив. Ничего в нем необычного, звериного не было. Кое-какие черты можно было бы приписать воздействию эксперимента, а можно было принять и за природные – невероятно тяжелая, выдвинутая вперед челюсть, иссиня-черная шерстистая щетина чуть не до бровей, желтые немигающие глазки под тяжелыми, словно изуродованными какой-то болезнью надбровными дугами... и еще невероятная сутулость, голова просто пряталась в массивных плечах. Вместо удивления я почему-то испытал в те первые минуты страх – безотчетный и непонятный. Только профессиональная выдержка спасла меня и мы начали разговор, который я воспроизвожу по памяти (диктофон у меня изъяли при обыске вместе с газовым пистолетом, складным ножом, видеокамерой и металлической цепочкой от ключей). Первый мой вопрос был предельно бес tactен, хотя я постарался вложить в голос как можно больше иронических интонаций...

Kopp. Это не розыгрыш?

Зверочеловек. А вы сами поглядите!

(Голос у интервьюируемого был очень сиплый, еле слышный, казалось, он с трудом ворочает языком. Но все эти соображения сразу же ушли на задний план, когда я "поглядел" – из невероятно корявой грубой ручищи моего собеседника, точнее, из концов узловатых пальцев торчали не человеческие ногти, а самые натуральные звериные когти – черные, поблескивающие, местами изуродованные. Вид-

но, для пущей убедительности мой собеседник склонился к полу, впихнул два когтя в какую-то щелочку меж досками... и у меня на глазах выдрал эти доски, обломав их словно щепу. Стоящий позади него сопровождающий недовольно скривился, оглянулся. Мне стало совсем не по себе.)

Зверо человек. Ну как, убедились?

Kopp. Да, спасибо. Прошу прощения, я вас совсем не таким представлял. Еще раз извиняюсь, но по нашим данным зверолю... жертвы эксперимента теряют способность говорить, утрачивают интеллект...

3. Это все так, вас верно проинформировали. В настоящее время исследуется жизнеспособность трех основных групп так называемых зверолюдей. Первая, это изначально выращиваемые исследователями-генетиками из зародышей зверолюди. Вторая, это гибриды человека и как правило крупного сильного млекопитающего. Третья, обычные люди, которым путем ряда хирургических и иных вмешательств, придают качества, свойственные хищным животным и необходимые для их специфической "работы". Во всех трех группах субъекты – именно так их называют экспериментаторы – или изначально неспособны к воспроизведению человеческой речи или почти полностью ее утрачивают. Тем не менее они прекрасно понимают набор команд, приказов и простые предложения.

Kopp. Выходит, вы являетесь исключением?

3. Так точно. И именно по этой причине мне удалось бежать. Ни один из обычных субъектов не способен сделать этого. Вот полюбуйтесь-ка! (Он повернулся ко мне спиной, наклонил голову – на массивной бычьей шее, похожей на звериный загривок, багровел незаживший рубец, очень неприятный, уродливый). Я сам выдрал эту штуковину, видите?!

Kopp. Какую штуковину?

3. Вы совсем зелененький, оказывается. Я сам выдрал Д-приемник. Это было очень больно. Поверьте, очень! Но с этой штуковиной ни один субъект никогда, никуда и ни за что не убежит. Любая попытка невыполнения приказа, любая попытка сойти с "трассы" – и тут же как удар кнута, как гарпуном в загривок. Полная управляемость. За нами даже никто не следит, все на автоматике, все продумано и расчитано! Практически все субъекты лишены разума и воли, они даже не осознают, кто ими управляет, для чего, кто они сами – это скорее звери, чем люди!

Kopp. И все же вы вполне нормальный человек, на мой взгляд. Я ничего не понимаю. Объясните, пожалуйста.

3. Объяснение предельно простое. В моем ведении более двадцати лет находилась охрана одного из участков Центральной лаборатории

рии – сектор 23153-А семнадцатого минус-этажа. Сам я, разумеется, не силен в генетике, медицине... но за все эти годы кое-чего поднабрался, нагляделся, ведь на поверхности я провел в общей сложности за эти годы лишь семь месяцев, все остальное время там, внизу, под Лубянкой.

Kopp. Как вы сказали?!

3. Как сказал, так и есть. Надеюсь, вы слыхали, что там целый подземный "небоскреб", точнее, огромный, уходящий на двух километровую глубину спецгород?

Kopp. ???

3. Я еще вернулся к этому. Я, знаете ли, человек военный, привык по-порядку. Так вот, осечек у них не бывает: операция бывает только успешной. Или же – труп! Понятно? Я сам не разбираюсь в этой чертовщине, но во время дежурств приходилось говорить о том, о сем с персоналом, кое-чего выведывать. И потому когда было принято решение и меня взяли... на операцию, я уже знал, что надо делать, чтобы не превратиться полностью в животное. Не считите за чересчур самонадеянного – шансов было немного, но ведь вот он я, тут, значит, моя взяла! (Он ослабился в улыбке, и из-под верхней губы вдруг вылезли два желтоватых нечеловеческих клыка, от одного вида которых мороз по коже продирал). Простите!

Kopp. Скажите, зачем КГБ проводит эти эксперименты, какая цель?

3. А с чего вы взяли, что эксперименты проводят КГБ?

Kopp. Ну вы же сами говорили про Лубянку...

3. Не пытайтесь казаться более наивным, чем вы есть на самом деле. Знаю я вас, газетчиков! Да и в прессе уже чуть ли не впрямую пишут... а вы все одно заладили: КГБ, КГБ... Комитет – это лишь прикрытие, ведь младенцу ясно. Как само здание на Лубянке это лишь крохотная шляпка длинного гвоздя, уходящего вниз, так же и контора эта "кегеб" – лишь вывеска. Я за двадцать лет до конца разобраться не сумел. Поначалу думал, это какой-то филиал ЦРУ, американских спецслужб, а потом, позже, понял, не так-то все просто!

Kopp. Вы говорите загадками. Поясните вашу мысль.

3. Хорошо. Но очень коротко. На вашей памяти этот комитет "государственной безопасности" много для государства сделал и для его безопасности? Можете не отвечать. Ни черта! Даже когда это государство громили и резали на куски в последние годы, Комитет и пальцем не шевельнул, чтобы его защитить и сохранить! Я вам еще раз говорю – это вывеска, под которой работала и, уверяю вас, продолжает работать совершенно иная могущественная организация, все цели и задачи которой нам далеко неясны. Все эти генералы, полков-

ники, председатели – это для народа, для отвода глаз. Заправляют там совсем другие. В штатском. Инструкторы. Я поначалу сомневался, когда мне наши говорили. А потом по телевизору во время встречи ихнего президента углядел одного из инструкторов. И был он в форме, при полном параде, в чинах бригадного генерала. Вот после этого я начал раскручивать дело, за ниточку тянуть... чем это окончилось, вы сами видите – там никому не прощают излишнего любопытства!

Kopp. Если я вас правильно понял, деятельность наших спецслужб находится под контролем соответствующих западных, американских служб? Это нелепо, это не лезет, ни в какие ворота!

3. Не контролируется, а полностью управляет и координирует. Все наши подразделения, где бы они ни находились, есть периферийные отделения-филиалы сверхсекретной глобальной службы безопасности. И потому ни один шаг здесь не делается без прямого или косвенного приказа оттуда. В этом еще надо разбираться. Я докопался до прямых подчиненных связей с ЦРУ, частично с германскими и японскими спецслужбами. Но они в свою очередь подчинены не известному мне Центру...

Kopp. Но почему, скажем, об этом ни словом не обмолвились такие разоблачители "подпольной" деятельности КГБ как генерал Калугин, генерал Стерлигов и другие?

3. Тут два варианта. Или они, работая в фиктивно-поверхностных подразделениях, ничего не знали о подлинной работе механизма, или же они просто боятся – ведь расправа будет моментальной. Вспомните, сколько важных чиновников вдруг в последние годы повыпрыгивало из окна, застрелилось, погибло в автокатастрофах или просто сгинуло неизвестно где и как! Это мне терять нечего. Ведь я, как вы догадываетесь, смертник. Рано или поздно они выследят меня и в лучшем случае убьют. Не дай только Бог опять попасться в лапы экспериментаторов-врачей!

Kopp. Чем вы объясните, что о программах зомбирования, проводимых совместно КГБ и ЦРУ известно всем, а о выращивании новых пород людей почти полное молчание?!

3. Еще пять-семь лет назад это были две равноценные программы, два отделения, которые конкурировали друг с другом, выколачивая под свои исследования как можно больше средств. И это понятно – ведь цель у двух программ одна: создание поколения людей нового типа, полностью управляемых извне. И вот всего пару лет назад мне стало известно о создании сектора, который начал в буквальном смысле слова выплескивать во внешний мир информацию о зомбировании и в целом о программе "Код-зомби". Это не могло не навести на подозрения. Какая тут шла игра? Однозначно сказать нельзя, потому

что вместе с дезинфекцией наверх шли объективные данные. С какой стати вдруг понадобилось рассекречивать программу, на которую были истрачены миллиарды долларов и рублей, для которой в СССР транснациональными спецслужбами был создан идеальнейший испытательный полигон?! Разумеется, сейчас, когда у нас уже есть десятки тысяч зомбированных людей и результаты превосходят все ожидания, никто не станет сворачивать программы "Код-зомби" и "Зомби-2", тем более, что пси-генераторы установлены во всех узловых точках и их демонтаж обойдется не дешевле, чем демонтаж атомных пусковых установок. Псизомбипотенциал постоянно наращивается. Но другая программа дала настолько феноменальные результаты, что для обеспечения полнейшей секретности ее хода и результатов частично пожертвовали секретностью первой – это маневр, обманный ход. Программа ХТ или, как ее называют между собой инструкторы, "Хомоэнимал-дубль", это самый перспективный проект Центра, он нам обойдется в триллионы, а сколько будет загублено "пациентов", вообще не сосчитать. Сами понимаете, когда будет обеспечена полная управляемость населением (первоначально на территории нашей страны-полигона) полностью отпадет необходимость в создании поверхностно-фиктивных структур организационно-дезинформационного толка. А это значит, что высвободятся колоссальные средства, сотни тысяч исполнителей, упростятся инфраструктуры.

Kopp. Вы уже дважды упомянули о каких-то непонятных поверхностно-фиктивных структурах. Что вы имели ввиду?

3. Ну, например, тот же Комитет "госбезопасности", который под различными названиями – ЧК, НКВД, КГБ – создавал в той или иной форме иллюзию существования суверенного государства, которое якобы обеспечивало соблюдение интересов населения и гарантировало безопасность от внешнего и Внутреннего врага. Хотя фактически государства как такового не было, а структура административного управления полностью контролировалась извне.

Kopp. Невероятно! Но даже если поверить вам, то для чего же "управителям" понадобилось рушить нормально работавшую систему. Почему они допустили такое лавинообразное разоблачение подноготной деятельности своей же организации – КГБ?

3. Для того, чтобы понять происходящее, надо выйти из рамок тем, которые навязала народу бульварно-демократическая пресса с ее скучным и беззубым смакованием "преступлений КГБ", "преступлений КПСС". Это всего лишь часть механизма одурачивания народа. Да, для того, чтобы в нынешней обстановке сохранить абсолютную власть над страной, Центру пришлось пожертвовать такими поверх-

ностно-фиктивными структурами как КГБ, КПСС, ВЛКСМ и подобными. Как вы сами заметили, все ведущие функционеры этих лжеструктур были заранее переведены в новые "демократические" структуры – то есть, власть ни на один миг не уходила из рук Центра и западных спецслужб. Произошла смена вывесок, декораций. Но всем заправляют все те же инструкторы с сильным англо-американским акцентом. Единственно, что теперь инспекционные проверки проводятся чуть ли не в открытую – вспомните инспекционный объезд структурных филиалов господином Бейкером и другими чинами, включая и армейские.

Kopp. Мне трудно все это сразу систематизировать, логически обосновать. Я могу только соглашаться с отдельными моментами, или не соглашаться. Хотя, признаюсь, многое из того, что вы говорите, мне приходилось слышать...

3. Я вас понял. Для начального уяснения проблемы необходим краткий исторический экскурс. Я ненадолго задержу ваше внимание. Лишь самое главное! Первоосновы программы колонизации России были разработаны в самом начале века. Где находился тогда Центр никто не знает. Но основные базы были в США и Германии, именно там готовилась так называемая "революция". Надо было во чтобы то ни стало остановить взрывное развитие сверхмощного индустриального гиганта – сверхsuperдержавы России, которая за несколько лет опередила все прочие страны и объединения стран по всем показателям и грозила в ближайшие десятилетия поглотить их, превратив в свои приданки. Ни о каком военном, силовом подавлении сверхгиганта не могло быть и речи. Пресловутая русско-"японская" война доказала это – воевала вовсе не Россия с Японией. Против России воевал весь "цивилизованный" мир – японцы были лишь той самой маскировочной "бабой на самоваре". И вот этот "мир", обломав об Россию зубы, и "прикупив" себе за все про все лишь несколько островов, понял, что барабанным лбом гранитную стену не прошибешь, тем более, что и Россия сделала выводы и в считанные годы выстроила на своих верфях флот, какого не имела ни одна из стран. В авиации, артиллерии России не было равных. Про пехотные части и говорить не приходилось. Россию невозможно было завоевать! Ее можно было захватить только изнутри. Миллиарды долларов и марок были затрачены на первых стадиях, на корню была скрупленна пресса в России через подставных лиц еврейского происхождения, началась массированная обработка умов – это было подлинное первоначальное зомбирование многомиллионного народа. Результаты этого первозомбирования дало очень слабые – высочайший жизненный уровень, самый высокий в мире, сводил на нет любую пропаганду. Нужно было что-то дополнить

тельно. Именно для этого и была развязана так называемая "первая мировая война". Одновременно уже многие годы на базах готовились диверсионные группы. В предвоенной и военной сумятице спецслужбам удалось заполнить все эшелоны власти и управления своей агентурой – это была, надо сознаться, блестящая операция, точнее, ряд операций. В ход пошли доносы, наговоры, распространение дезинформации, ложные рапорты, саботаж по всем уровням... уже были утверждены масонскими ложами и спецслужбами списки членов "временного правительства" и исполнителей на местах. Но и этого было мало – из всевозможного "революционно-демократического" сброва и отрепья на базах готовился мощнейший "революционный" кулак. Сейчас ни для кого не секрет, что в подходящий момент, "революционная" агентура спецслужб была мгновенно по единому плану заброшена в Россию. Американские и германские спецслужбы не гнушались никем, даже такими своими функционерами как параноидальный сифилитик, маньяк-убийца Ульянов, шизофреник Бронштейн-Троцкий и им подобные диктаторы от имени якобы пролетариата. В октябре семнадцатого объединенные спецслужбы захватили власть в России. Но тогда во всех подразделениях преобладала германская агентура, германские инструктора. Даже если взять открытые источники, с которыми вы, возможно, знакомы, например, отчет сенатской комиссии США, – рабочим языком всех российских реввоенсоветов, и особенно центральных, был идиш, затем шел немецкий язык... на русском общались лишь тогда, когда была необходимость довести что-то до "аборигенов". Русская историческая власть проиграла по той причине, что никогда не уделяла внимания обезвреживанию "пятой колонны", не имела даже намека на профессиональную контрразведку, спецслужбы, которые могли бы предотвратить внедрение врага в госструктуры. Никакой "революции" не было и в помине. Наглость, нахрапистость, с которыми была захвачена власть, парализовали всех на местах – хотя были возможности, чтобы раздать жалкую банду агентов-узурпаторов. В свою очередь выдрессированная предельно циничная и неразборчивая в средствах агентура действовала молниеносно и жестоко. В первый же год было разрушено практически все. Абсолютная власть поверхностно-фиктивных структур была убийственно подавляющей...

Kopp. Но почему они не действовали открыто? Почему кучке агентов удалось захватить власть над сверхгигантом?

3. Тот день, в который агентура раскрыла бы себя, стал бы ее последним днем – народ просто смял бы эту "новую власть",бросил бы этих иноземных картавых вождешек. Нет, работали профессионалы – с самого начала в ход пошла изощреннейшая демагогия, обещались и

земля, и воля, и мир, и золотые горы. На деле же беспрерывно, днем и ночью, без остановки уничтожались все те, кто мог оказаться спецслужбам сопротивление – уничтожался народ. С этой целью вслед за спецагентами высшего разряда, в дополнение к подпольным структурам "пятой колонны" нероссийского происхождения (помните, пресловутые "пятерки", конспирацию и пр.?) в Россию были введены германские войска, армии так называемых "интернационалистов", которые и зверствовали во время так называемой "гражданской войны". Плюс искусственно организованный голод – раз, другой, третий. Короче, страна была оккупирована полностью – фактически пошел грабеж, геноцид. Но несмотря на массовые репрессии колониальной администрации, несмотря на тотальное и безостановочное уничтожение всех русских, необходимость в поверхностно-фактивных структурах была. Народу навязчиво внушалась мысль о единодушии в высших эшелонах власти, в РСДРП-КПСС. А фактически там, в недрах колониальной администрации шла постоянная борьба – несмотря на подчинение общему Центру, германское и американское отделения спецслужб постоянно соперничали. Во время Великой Отечественной войны и после нее главенство американских спецслужб стало бесспорным. Я пришел в органы, когда там почти не было слышно ни идиша, ни немецкого языка. У нас не было принято говорить об этом открыто, но все мы знали – кто наши настоящие хозяева, кому подчиняются наркомы, генсеки, президенты.

Korr. Выходит, и КПСС была фиктивным образованием, видимой частью айсберга? Но ведь миллионы людей состояли в этой партии, верили, платили взносы – какой бы она ни была, но она, КПСС, все-таки была! А по-вашему, это какая-то фикция!

3. Вот эта двойственность и страшна. Миллионы верили в то, чего фактически не было. Они верили в огромный мыльный пузырь. Их верой манипулировали главари. Да и дело вовсе не в вере. Дело в создании определенных иллюзий – и управлении многомиллионными массами. Вы поглядите, как ловко высокопоставленные партийные функционеры перешли в демократические структуры (не менее поверхностно-фактивные, чем КГБ и КПСС), а подставили тех, кого дурачили все десятилетия – простых рабочих, ветеранов, тех, кто поверил во все эти "идеалы" и по простоте душевной посчитал их за исконные, истинные, свои. Теперь этих несчастных пытаются выставить самой главной "угрозой демократии", "красно-коричневыми" и вообще чертом с рожами, хотя силы за ними – никакой. Но нужен враг, внутренний враг. Спецслужбы работают профессионально и беспощадно. Это вам не жалкая и беспомощная так называемая "царская охранка". Колониальная администрация действует по приказу

извне, в соответствии с духом времени. Вспомните, когда для разработки сырьевых месторождений, вырубки леса нужны были люди, местные, российские, КПСС и ВЛКСМ по указке инструкторов во всю воспевали "романтику освоения дальних краев" и плевали на участь обманутых ими "романтиков", лишь бы поток сырья на запад не уменьшался. Сейчас, после смены колониально-оккупационной политики, когда спецслужбами, Центром принято решение о прямом освоении всех месторождений и привлечениях к работам китайских, корейских рабочих, "романтика", кончилась, наших посадили на голодный паек – результат: смертность превысила рождаемость, то, что им и надо. Параллельно именно поверхности структуры, такие например, как ранее ханжеский ВЛКСМ, захватили все дискотеки и видеосалоны, начали внедрять психоделический рок. Случайность? Нет! Это задание. А цель предельно простая. Пропаганда насилия, злобы, цинизма, порнографии в наших теперешних условиях даст все, что требуется колониально-оккупационной администрации. В первую очередь, конечно, резкое повышение смертности и резкое снижение рождаемости – уже не надо никого расстреливать,топить в морях, реках, прорубях, сжигать, вешать, как это делалось в первые десятилетия привлечения оккупационных властей Во вторую очередь, выращивается поколение озлобленных, диких, необразованных людей, лишенных национальности, традиций, всего доброго – это готовый материал для зомбирования и генетической вивисекции. В третью очередь, это дает столь необходимый редчайший взлет преступности, планируемый колониальной администрацией. Для чего? Народ всегда удобнее содержать в лагерях, с их точки зрения. Нужен постоянный приток бесплатной и, самое главное, бесправной рабочей скотины для тех мест, куда отказываются идти работать рабочие-"интернационалисты", нужны миллионы молодых здоровых русских парней. И именно по этой причине власти не допустят стабилизации роста преступности, кривая эта будет стремительно взлетать вверх – по крайней мере, до полнейшей зомбификации всего населения России, когда можно будет просто все вокруг превратить в лагерь. Та же пропаганда порнографии и извращений, усиленно проводимая печатными органами колониальной администрации, какими бы молодежно-комсомольско-независимыми они себя ни называли, нужна и для выращивания больших контингентов проституток и педерастов, готовых обслуживать все прибывающую клиентуру с Запада – расширение "международных связей" и участие в "разделении труда" неминуемо привлечет в Россию сотни тысяч искателей приключений и легкой наживы – их надо обслуживать по мировым стандартам. Кроме того практически вся огромная армия выращиваемых проституток и педе-

растов имеет приработок – именно эти категории традиционно используются спецслужбами в качестве агентов-осведомителей. Таким образом колониальная администрация убивает сразу нескольких зайцев. И кстати, для работы с особо важной и высокопоставленной клиентурой используются зомбированные проститутки и гомосексуалисты, управляемые извне...

Kopp. Все это достаточно ясно, непонятно другое: если наша территория является по сути дела колониальным испытательным полигоном и сырьевой зоной, почему же время от времени возникали достаточно серьезные конфликты типа Карибского кризиса, Афгана, вьетнамской войны?..

3. Я не могу вам объяснить всего, потому что не ко всему имел доступ. То, что вы перечислили – это не конфликты, это лжеконфликты – точнее своеобразные не менее испытательные полигоны; время от времени надо устраивать где-то заварухи, чтобы испытать новую технику, проверить людей. Вы прекрасно знаете, что никакие Вьетнамы и Афганы ни нам, ни простым американцам не нужны. Вот вы же играете со своими коллегами в шахматы, шашки, карты? Точно так же играют и чины из спецслужб, функционеры Центра. Только партии у них длиннее и серьезнее. А про настоящие конфликты вы и не обмолвились, а они тоже были.

Kopp. ???

3. Все, конечно, я знать не могу. Но вот в конце сороковых, когда один из зазнавшихся и чересчур самонадеянных администраторов по фамилии Джугашвили, решил, что он мог бы и самостоятельно, без инструкций и приказов из Центра управлять колонией, ему дали время на размышление, а потом убрали руками его же коллег-агентов. Иногда приемы бывают иными. Помните, начало так называемой, инспирированной оттуда "перестройки", когда наш всеми горячо любимый и незабвенный Горби по какому-то изумившему всех наитию решил вдруг сделать опору на собственные силы, "интенсификацию" и пр., его не стали убирать, зная, что он обязательно исправится и будет скрупулезно исполнять все предписываемое. А просто для напоминания при помощи зомби-исполнителей шарахнули по колонии чернобыльской АЭС. Тут же вся внутренняя политика колониальной администрации была перевернута на сто восемьдесят градусов. Тут же почти молниеносное стремительное бегство из Европы, полное разоружение, разгром армии (которую держали на случай войны с Китаем, а вовсе не для отпора "империалистическим хищникам"), тут же искусственное расчленение страны на колониально-оккупационные зоны... Многое мы еще не понимаем, многое скрыто от нас. Но факты вещь злая. Разумеется, внутри колониальной администрации

идут свои распри – все мы живые люди – но что бы и в каких бы формах ни происходило, какая бы "политическая" борьба ни шла – суть остается прежней – абсолютная зависимость от Центра, роль территории-полигона, роль подопытных человеко-животных.

Kopp. Мрачновато у вас получается.

3. Возможно. Но впадать в эйфорию и радоваться, что, дескать, закончилось семидесятичетырехлетнее "коммунистическое иго", не следует. Ничего не изменилось, режим по-прежнему тот же, оккупационный. "Перестройка" не могла оказаться освобождением нации и установлением законной власти, потому как она планировалась в Центре, проводилась в жизнь таким важнейшим органом колониальной администрации как Политбюро. Дальнейшее может оказаться еще мрачнее. Мне это довелось испытать на себе. Большинству наших людей это еще только предстоит пережить. Людей-зомби пока не пытаются скрывать, они живут среди всех, их становится все больше, с ними все ясно. Но так называемых зверолюдей, "субъектов" тщательно прячут от глаз на зверофермах, в спецпоселениях, лабораториях. Мне представляется, что зверолюди выращиваются генетиками-хирургами с особой целью. На первых порах они, как сильные, безжалостные, управляемые исполнители, будут использоваться для устрашения инакомыслящих, разгона демонстраций и шествий во время народных праздников, подавления восстаний в взбунтовавшихся от голода, несправедливости деревнях, городках, поселках, подавления мятежей в отдельных частях бывшей армии, усмирения толп безработных. Но это на первых порах. В дальнейшем, когда программа "Зомби-2" будет близка к завершению и не менее восьмидесяти процентов населения резервационной зоны – России будет полностью зомбировано, зверолюдям придется исполнять обязанности надсмотрщиков, охранников. Возможно, именно зверолюдьми будут заменены людские контингенты поверхностных служб МВД, новых подразделений КГБ и т. д. А вообще, если говорить откровенно, уже долгие годы как инструкторами из США и Центра, так и колониальной администрацией, население России рассматривается как бесполезный, не имеющий будущего балласт – и, разумеется, делаются соответствующие выводы. Какую бы гуманитарную помошь ни присыпали сюда простые добрые люди из многих стран мира, спецслужбами, тесно связанными не только с администрацией, но и с мафийными кланами СНГ, все будет сводиться на нет, планируется еще больше увеличить процент смертности путем завоза эпидемий, СПИДа и т. д. Суть здесь такова – все мы занимаем "жизненно важное пространство", дано задание освободить его от нас. Это и делается, потихоньку, подспудно, чтобы не вызвать ненужной реакции в мире.

Kopp. Часто ли вам приходилось общаться со зверолюдьми?

З. Все годы, что осуществляется программа. Но одно дело видеть их на операционных столах, в вивисекториях, камерах, зверофермах. И совсем другое оказаться среди них без защиты. Уверяю вас, что для разгона десятитысячной демонстрации новым владельцам хватит десятка зверолюдей – это скорее даже не звери и не люди, а человекообразные роботы, наделенные исполинской силой, бесстрашием, злобой. Несколько испытаний прошли сверх ожиданий успешно.

Kopp. Были уже и испытания? Расскажите подробнее.

З. О деталях я не информирован. Знаю лишь, что многие "горячие точки" в СНГ были специально созданы с целью испытаний активного поведения "субъектов". Вы догадываетесь, о чем я говорю. Кроме того зверолюди подавляли вспышки недовольства среди так называемого русскоязычного населения суверенных государств. И так же успешно.

Kopp. Участвовали ли они в кровавых событиях 23 февраля?

З. Нет, пока спецслужбы не решаются использовать их в Москве. Здесь много репортерской братии со всего мира, может произойти утечка информации...

(В этот момент стоявший за моей спиной человек положил мне руку на плечо и предупредил, что время истекло).

Kopp. Последний вопрос! Все это время я мучительно раздумывал о чем еще спросить вас! Столько вопросов, что голова разрывается. Но я прошу ответить на главный: неужели все, о чем вы говорили, это правда! Прошу вас ответить мне искренне, ведь вы в таком положении, когда...

З. ...когда нет смысла врать? Так вы хотели сказать?

Kopp. Примерно так. Ответьте, пожалуйста. И еще скажите – кроме этих программ есть еще что-то? Страшно знать свое будущее, но не знать надвигающейся трагедии нельзя!

З. То, о чем я вам говорил, это правда. Со временем все откроется, поверьте. Что же касается новых разработок и программ? Конечно, они есть. Вы знаете, что мы сейчас летаем в самолетах разработки шестидесятых годов, пользуемся приборами, которые первоначально создавались в лабораториях восемь-девять лет назад. О том, что сейчас находится в стадии НИР и ОКР, да еще под сверхсекретными грифами, большинство узнает лет через двадцать-тридцать, если доживет до тех пор. Могу сказать одно, я не ученый, не научный сотрудник, я простой военный, бывший военный, но для меня очевидно – творящееся сейчас в секретных лабораториях выходит за грани повседневной реальности, это подлинная фантастика! Уже сейчас на подходе первые полноценные управляемые люди-кроты, для подзем-

ных и диверсионных работ, люди-рыбы, люди-змеи. За минувшие три-четыре года выращен на базе человеческих трансплантиров гигантский сверхмозг, обладающий собственной индивидуальностью. Но все же будущее сейчас на грани нормального и аномального. Первые туннели в иные энергетические объемы – это даже за гранью самой безумной сказки. Я не успел довести до конца розыски, но могу с большой долей достоверности сказать, что уже установлены контакты с обитателями другого измерения – цивилизацией немыслимого для нас, непонятно высокого, какого-то колдовского уровня, на котором доступно абсолютно все: личное бессмертие, перемещение на любое расстояние мгновенно, управление звездами и планетами, огнем, плазмой. Есть все основания говорить, что пси-генераторы, точнее, их основные блоки, доставлены к нам именно оттуда. Я верю, что в ближайшие два-три года будет информационный взрыв – спецслужбы не смогут уже удержать накопленных данных. Мы многое еще узнаем. Если, конечно, выживем.

(Он встал, снова ослабился, выставляя два клыка, и протянул мне огромную лапицу. Она была невероятно горячей, нечеловечески горячей. Потом он кивнул мне, глубоко заглянул в глаза – меня поразил затаенный внутренний огонь его глубокопосаженных глаз, парализовал, это был взгляд гипнотизера. Повернулся и вышел. Сразу, после того, как мне вернули мои вещи, я записал эту беседу.

Журнал "Приключения, фантастика" (по 200 – 380стр.)

Номера 1991 – 5000р. Комплект 1992 – 7000р.

Комплект 1993 – 7000р. Комплект 1994 – 18000р.

1,2,3 книги 1995 – по 4000р.

Библиотека прикл. и фантастики "Метагалактика":

Компл. книг 1993 – 6000р. (по 200 стр.)

Компл. книг 1994 – 18000р. (по 380 стр.).

1,2,3 книги 1995 – по 5000р.

Библиотека мистики и ужаса "Галактика":

Комплект книг 1993 г. – 5000р.

1,4,5 книги 1994 – по 4000р.

1,2,3 книги 1995 – по 5000р.

Тома серии "Приключения, фантастика":

Прокол. Бродяга. Бойня. Сатанинское зелье. Измена.

Западня. Чудовище – каждый по 5000р.

Для любителей аномальных явлений подборка ежемесячника "Голос Вселенной" – 10000р.

(инопланетяне, НЛО, зомби, колдуны, магия, экстрасенсы, вампиры, оборотни и пр.).

ТАЛИСМАН-ОБЕРЕГ от сглаза и порчи – 5000р.

(защищает от психоэнергетического вампирисма)

Классификатор иноплан. пришельцев – 3000р.

(200стр., подробное описание НЛО и инопланетян).

Прорицание о будущем в 2х.кн. – 2000р.

(все события до 2000-го года).

Мордоворот. Прикл. повесть о рэкетирах – 2000р.

Одержимые дьяволом. Ужасы – 2000 р.

Красный карлик. Эрот. повесть ужасов – 3000р.

(Детям до 16 лет не рекомендуется).

ПФ-измерение. Любовные приключения – 3000р.

Дорогами богов. Подлинная история Русского Народа.

Историческое исследование (250 стр.) – 5000 р.

Расширенные номера "Голос Вселенной": 7-8, 9-10,

11-12, 1,2,3,4,5,6. 95 – по 2500 р.

Для получения заказа необходимо выслать почтовый по

адресу: 111123, Москва, а/я 40 Петухову Ю.Д.



Суперфантастика Юрия Петухова
Собрание сочинений в 8 томах

Объем каждого тома 700 стр., черный твердый переплет
с золотым тиснением, суперобложки, иллюстрации.

Высылаются первые четыре тома + абонемент
– стоимость 40 тыс. руб.

(еще четыре тома выйдут до 1997 года –
подписчикам гарантируется получение).

Для получения подписки выслать почтовый перевод
по адресу: 111123, Москва, а/я 40, Петухову Ю.Д.
Изд-во "Метагалактика" гарантирует исполнение заказа.

qf

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФАНТАСТИКА

В номере:

Юрий Петухов

**"Вторжение из Ада. Свержение
извергов"**

Фантастический роман

